Марсель

ПРУСТ

В поисках утраченного времени

6



Беглянка

Марсель Пруст

Аннотация
Марсель Пруст. Беглянка. (В поисках утраченного времени – 6)
ПОСЛЕСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА
О ПЕРЕВОДЧИКЕ НИКОЛАЕ МИХАЙЛОВИЧЕ ЛЮБИМОВЕ

Аннотация

Шестой роман семитомной эпопеи М. Пруста (1871 – 1922) «В поисках утраченного времени».

Марсель Пруст
Беглянка
(В поисках утраченного времени – 6)



«Мадмуазель Альбертина уехала!» Насколько страдание психологически сильнее, чем сама психология! Только что, осмысливая свое душевное состояние, я думал, что разлука без последнего свидания — это как раз то, о чем я мечтаю, я сопоставлял небольшие удовольствия, какие доставляла мне Альбертина, с богатой палитрой влечений, которым она препятствовала, и сознание, что она живет у меня, мое угнетенное состояние дало им возможность выдвинуться в моей душе на первый план, но при первом же известии об ее отъезде они не выдержали соперничества — мгновенно улетучились, я переломился, я пришел к выводу, что не хочу больше ее видеть, что я ее разлюбил. Но слова: «Мадмуа-

зель Альбертина уехала» причинили мне жгучую боль, я чувствовал, что мне с ней не справиться, я должен был прекратить ее; испытывая такую же нежность к самому себе, какую испытывала моя мать к умирающей бабушке, я шептал себе слова утешения, какими успокаивают любимое существо: «Потерпи минутку — мы найдем тебе лекарство; не волнуйся — мы тебе поможем». Я смутно догадывался, что если прежде я относился к отъезду Альбертины безразлично, что он был мне далее приятен, то лишь потому, что я в него не верил; когда же это произошло, инстинкт самосохранения стал искать простейшего болеутоляющего средства для моей открытой раны: «Это все пустяки, я мигом ее верну. Я все взвешу, но в любом случае вечером она будет здесь. Значит, и волноваться нечего». «Все это пустяки», — так я сказал не только себе, но и постарался, скрывая свои мучения, убедить в этом Франсуазу: даже когда я любил Альбертину безумной любовью, я все-таки заботился о том, чтобы моя любовь казалась другим счастливой, взаимной, особенно — Франсуазе, не жаловавшей Альбертину и сомневавшейся в ее искренности.

Да, незадолго до прихода Франсуазы я был уверен, что разлюбил Альбертину, я был уверен, что

ничего не упустил из виду, я полагал, что изучил себя, как говорится, до тонкости. Но наш рассудок, каким бы ясным он ни был, не замечает частиц, из которых он состоит и о которых он даже не подозревает до тех пор, пока что-то их не разобщит и летучее состояние, в коем они, главным образом, пребывают, нечувствительно сменится застыванием. Я ошибочно полагал, что вижу себя насквозь. Однако внезапный приступ боли снабдил меня неумолимым, неопровержимым, необычным, как кристаллическая соль, знанием, которого мне не дал бы и самый тонкий ум. Я так привык к тому, что Альбертина тут, рядом, и вот, неожиданно — новая грань Привычного. До сих пор я видел в Альбертине разрушительную силу, подавляющую мою личность, подавляющую мое восприятие действительности; теперь же я видел в ней прочно прикованное ко мне странное божество с невыразительным лицом, до такой степени отчетливо отпечатавшимся в моем сердце, что, если это божество от меня отделится, если это божество, которое я едва различаю, от меня отвернется, то это причинит мне невыносимую муку, а значит, оно жестоко, как смерть.

Мне хотелось как можно скорей ее вернуть, и я тут же начал читать ее письмо. Мне казалось,

что это в моей власти: ведь будущее существует лишь в намерениях человека, и нам представляется, что их можно изменить in extremis[1] нашей воли. Но я не забывал и о влиянии других сил, с которыми, даже если бы в моем распоряжении было больше времени, я не мог бы ничего поделать. Что в том, что час еще не пробил, если мы бессильны что-либо изменить в грядущем? Когда Альбертина жила у меня, я решил сам пойти на разрыв с ней. И вот она уехала. Я распечатал конверт. Привожу ее письмо:

Друг мой! Простите, что я не осмелилась сказать Вам те несколько слов, которые Вы сейчас прочтете, но я такая трусиха, я всегда так перед Вами робела, что, как я себя ни заставляла, у меня все-таки не хватало решимости. Мне надо было бы сказать Вам вот что: наша совместная жизнь стала невозможной (кстати, на днях Ваша выходка показала, что в наших отношениях что-то изменилось). Что удалось нынче ночью уладить, то спустя несколько дней могло бы стать непоправимым. А потому, раз уж нам удалось помириться, давайте расстанемся добрыми друзьями; вот для чего, милый мой, я и

[1] Примечания: 1
Последним усилием (лат.).

пишу Вам эту записку: я прошу Вас не поминать меня лихом и простить меня, если я Вас огорчаю; поверьте: мне безумно жаль прошлого. Любимый мой! Я не хочу быть Вам в тягость, мне будет больно ощущать Ваше быстрое охлаждение: приняв окончательное решение, я, прежде чем передать Вам письмо, велю Франсуазе уложить мои вещи. Прощайте! Все лучшее, что есть во мне, я оставляю Вам.

Альбертина.

«Все это одни слова, — подумал я, — это даже лучше, чем я себе представлял, не обдумав хорошенько своего шага, она, очевидно, написала письмо с единственной целью — нанести мне сокрушительный удар, чтобы напугать меня. Надо как можно скорее найти способ вернуть Альбертину сегодня же. Противно, что Бонтаны так корыстолюбивы: пользуются племянницей, чтобы вымогать у меня деньги. Э, да не все ли равно! Если я ради того, чтобы немедленно вернуть Альбертину, отдам г-же Бонтан половину своего состояния, мы с Альбертиной все-таки проживем безбедно». Одновременно я соображал, успею ли я утром заказать яхту и роллс-ройс, о которых она мечтала; я ни секунды не колебался, мне в голову не приходила мысль, что дарить

их ей безрассудно. Даже если согласия г-жи Бонтан окажется недостаточно, если Альбертина не пожелает подчиниться тетушке и поставит условием своего возвращения полную свободу — что ж, каких бы страданий это мне ни стоило, я предоставлю ей свободу: она будет уходить одна, когда захочет; надо уметь идти на жертвы, как бы ни были они мучительны, ради того, что вам всего дороже, самое же для меня дорогое, в чем бы я себя утром ни уверял, приводя неопровержимые и вместе с тем бессмысленные доводы, это чтобы Альбертина жила здесь. Надо ли говорить, какая мука была для меня — предоставлять ей свободу? Если бы я стал это отрицать, я бы лгал. Мне уже не раз пришлось испытать, что боль при мысли, что я предоставляю ей свободу изменять мне, была, пожалуй, не так сильна, как уныние, охватывавшее меня от сознания, что ей со мной скучно. Понятно, разрешить ей куда-нибудь съездить, если б она стала отпрашиваться и если б я знал наверное, что там будет оргия, — мысль об этом была бы для меня невыносимой. Другое дело — сказать ей: «Садитесь на пароход или в поезд, поезжайте на месяц в неведомую мне страну, только чтобы я ничего не знал, что вы будете там делать», — и мне часто приятно было думать, что

вдали она отдала бы предпочтение жизни у меня и была бы счастлива по возвращении. Впрочем, она сама стремилась к тому же; она не требовала свободы, ограничений которой к тому же я сумел бы постепенно добиться, ежедневно предлагая ей все новые и новые развлечения. Альбертине хотелось только, чтобы я перестал ей надоедать, а главное, — как когда-то требовала от Свана Одетта, — чтобы я на ней женился. Выйдя замуж, она будет дорожить своей независимостью, мы останемся здесь вдвоем, мы будем так счастливы! Разумеется, это значило отказаться от Венеции. А насколько самые желанные города и в еще большей степени, чем Венеция, — герцогиня Германтская, театр, покажутся бесцветными, безразличными, мертвыми, когда мы соединены с другим сердцем узами столь болезненными, что они никуда нас не отпускают! К тому же Альбертина в своем стремлении к браку была совершенно права. Даже моей маме все эти промедления казались смехотворными. Жениться — вот на что мне давно следовало пойти, вот на что мне было необходимо решиться; именно моя нерешительность заставила Альбертину написать письмо, хотя она сама ни одному слову из этого письма не верила. Чтобы добиться брака,

она на несколько часов отказалась от исполнения и своего и моего желания: вернуться. Да, она хотела вернуться, для этого-то она и убежала, — говорил мне мой снисходительный разум, но когда я себя в этом убеждал, разум возвращался к иному предположению. Этому второму предположению не хватило смелости недвусмысленно сформулировать мысль, что Альбертина способна на связь с мадмуазель Вентейль и ее подругой. И все же, когда это ужасное предположение застало меня врасплох при входе в энкарвильский вокзал, подтвердилось именно оно. Я не мог себе представить, чтобы Альбертина сама решилась покинуть меня без предупреждения и не предоставив мне возможности удержать ее. И все-таки (после того, как жизнь только что заставила меня сделать новый огромный прыжок) реальность требовала признания, но она, эта реальность, была для меня так же непривычна, как та, перед лицом которой мы оказываемся в результате открытия физика, дознания судебного следователя, находок историка, исследующих преступление или же революцию, и, разумеется, эта реальность брала верх над моим худосочным вторым предположением и вместе с тем подтверждала его. Второе предположение особым остроумием

не отличалось, и панический страх, который охватил меня в тот вечер, когда Альбертина не поцеловала меня перед сном, и в ту ночь, когда я услышал стук оконной рамы, — этот страх был беспричинным. Однако на верность второго предположения указывало множество случаев, а дальнейшее явилось еще более мощным доказательством того, что разум — инструмент не самый тонкий, не самый сильный, не самый подходящий для постижения истины, из коей следует лишь вот что: начинать надо именно с разума, а не с интуиции, с подсознательного, а не с твердой веры в предчувствия. Именно жизнь мало-помалу, от случая к случаю убеждает нас, что самое важное для нашего сердца или ума мы постигаем не разумом, а при помощи других сил. И тогда разум, сознавая их превосходство, по зрелом размышлении, переходит на их сторону и соглашается стать их союзником, их слугой. Опыт веры. Непредвиденное несчастье, с которым я вступал в единоборство, тоже казалось мне (как и дружба Альбертины с двумя лесбиянками) уже знакомым, угаданным в стольких приметах, в которых (несмотря на противоположные доказательства моего разума, основанные на уверениях самой Альбертины) я различал утомление, страх,

который владел ею, когда она жила со мной, как рабыня. Мне уже столько раз мерещилось, будто я читаю эти приметы, написанные незримыми чернилами, в грустных и покорных ее глазах, во внезапно вспыхивавшем румянце у нее на щеках, непонятно от чего алевших, в стуке оконной рамы, которая вдруг распахнулась! У меня не хватило духу проникнуть в их смысл и как можно скорее объяснить себе причину ее внезапного отъезда. Успокоив себя тем, что Альбертина здесь, я остановился на мысли, что отъезд подготовлен мной, а день еще не назначен, то есть существует как бы в несуществующем времени; у меня создалось неверное представление об отъезде Альбертины, как у людей, воображающих, будто они не боятся смерти, когда они думают о смерти, будучи здоровыми, и, в сущности, вводящих тяжелую мысль в доброе здоровье, ухудшающееся по мере приближения смерти. Мысль о добровольном отъезде Альбертины могла бы уже тысячу раз вырисоваться перед моим умственным взором ясно и отчетливо, но вот чего я уж никак не мог себе представить: как ее отъезд отразится на мне, что я восприму его как необыкновенное, страшное, непознаваемое, совершенно новое зло. Если б я предвидел ее отъезд, я был бы способен

думать о нем беспрестанно в течение нескольких лет, и при сопоставлении оказалось бы, что мои мысли не имеют между собой ничего общего не только по силе, но и по сходству с тем невообразимым адом, краешек двери которого приотворила Франсуаза, возвестив: «Мадмуазель Альбертина уехала». Чтобы представить себе незнакомую ситуацию, воображение пользуется знакомыми элементами и именно потому не представляет ее себе. Но на чувственные ощущения, даже в физическом смысле этого понятия, ложится подлинный и долго неизглаживающийся, подобно впечатлению от молнийного зигзага, отпечаток нового впечатления. И я все не решался сказать себе, что, если б я предвидел отъезд Альбертины, я, вероятно, был бы не способен представить себе весь его ужас и предотвратить его; даже если бы Альбертина объявила мне, что уезжает, я бы угрожал ей, умолял бы ее. Мне расхотелось бы ехать в Венецию. Так было со мной гораздо раньше в Комбре: мне хотелось познакомиться с герцогиней Германтской, но вот наступал час, когда я мечтал только об одном: чтобы ко мне в комнату пришла мама. Все тревоги, испытанные мной с детства, по зову новой тоски поспешили усилить ее, сплавиться в однородную массу, от

которой мне становилось душно.

Разумеется, физического удара в сердце, который наносит такая разлука и который, в силу того, что тело обладает ужасной способностью сохранять рубец, наделяет страдание общей чертой всех мучительных мгновений нашей жизни, — я имею в виду удар, возможно, наносимый с умыслом (так мало нас трогает чужая боль!) той, кому хочется, чтобы причинил нам острейшую боль, — будь то женщина, делающая вид, что уезжает, для того, чтобы мы предоставили ей лучшие условия существования, будь то женщина, уезжающая навсегда — навсегда! — чтобы отомстить за себя или чтобы оставаться любимой, или (чтобы у нас сохранилась о ней светлая память) чтобы разом покончить со сплетением усталости и равнодушия, которые она ощутила, — такого удара мы даем себе слово избегать, мы говорим друг другу, что расстанемся друзьями. Но расстаться друзьями удается чрезвычайно редко, потому что если с кем-то тебе хорошо, то, значит, и незачем расставаться. И вот что еще: женщина, к которой ты выказываешь полнейшее безразличие, тем не менее, смутно угадывает, что, устав от нее, ты, опять-таки по привычке, все сильнее привязываешься к ней, и она думает, что одно из

важнейших условий расставания без ссоры — это уехать, предупредив. Но она боится, что если она предупредит, то отъезд не состоится. Женщина чувствует, что чем большую власть забирает она над мужчиной, то единственная возможность расстаться — убежать. Убежать — значит властвовать, это неоспоримо. Конечно, между скукой, которую мы только что испытывали в ее обществе, и, когда она уже уехала неодолимой потребностью увидеть ее вновь существует целая пропасть. Но для отъезда есть все основания, помимо тех, которые я уже приводил, и тех, о которых будет сказано дальше. Прежде всего часто уезжают именно когда равнодушие — действительное или мнимое — достигает крайних пределов, находится на крайней точке колеблющегося маятника. Женщина уверяет себя: «Нет, так дальше продолжаться не может», — уверяет именно потому, что мужчина говорит с ней только о разрыве или думает о нем; и она уходит. Тогда маятник достигает другой крайней точки — расстояние между двумя точками максимально. В течение одной секунды он возвращается на прежнее место; повторяю: вопреки всем доводам, это так естественно! Сердце колотится, а между тем уехавшая женщина — уже совсем не

та, что была здесь. Ее жизнь рядом с нами, такая привычная, вдруг видится нам рядом с другими, с которыми она неизбежно соединится, и, вероятно, она и покинула-то нас для того, чтобы с ними соединиться. Таким образом, новая жизнь ушедшей женщины обогащает ее и, возможно, ради нее она от нас и уходит. Известные нам душевные движения, появлявшиеся у нее за время ее жизни с нами, явное для нее наше изнывание от скуки, ревность (в результате мужчин бросали женщины почти во всех случаях из-за их особенностей, которые можно пересчитать по пальцам: из-за их характера, из-за сходства в изъявлении преданности, из-за того, отчего они простужаются), — эти загадочные для нас душевные движения уживаются с душевными движениями, о которых мы не подозревали. Может быть, она с кем-нибудь переписывалась или сообщалась устно, через посланцев, с мужчиной или с женщиной, поджидала знака, который, возможно, мы, сами того не подозревая, ей подали, сообщая: «Г-н Х. приходил вчера ко мне», если она заранее условилась с г-ном Х., что накануне встречи с ним он зайдет ко мне. Какое широкое поле для догадок! Я так искусно восстанавливал правду (но только в пределах возможности), что, вскрыв по ошибке

выдержанное в соответствующем стиле письмо к моей любовнице, в котором говорилось: «Непременно жди знака, чтобы поехать к маркизу Сен-Лу, предупреди его завтра по телефону», я представлял себе нечто вроде плана побега; имя маркиза Сен-Лу значило в письме что-то совсем другое, так как моя любовница была незнакома с Сен-Лу, она только слышала о нем от меня, и, кстати, это скорее напоминало прозвище, не имеющее отношения к письму. Итак, письмо было адресовано не непосредственно моей любовнице, а кому-то еще в доме, чью фамилию трудно было разобрать. Письмо не заключало в себе условных знаков — просто оно было написано на плохом французском языке. Оно было от одной американки — *подруги* Сен-Лу: так он ее назвал. Странная манера выражаться, в какой были написаны некоторые письма американки, навели меня на мысль о прозвище, хотя на самом деле там указывалось настоящее имя, только иностранное. Итак, в этот день все мои подозрения оказались ложными. Однако у интеллектуальной основы, связывавшей все эти придуманные факты, была такая правильная форма, она была так неопровержимо правдива! Когда, три месяца спустя, моя любовница (в то время собиравшаяся прожить со

мной всю жизнь) покинула меня, все произошло именно так, как я представил себе это впервые. Опять пришло письмо с теми же особенностями, которыми я ошибочно наделил первое письмо, но которые на сей раз имели смысл условного знака и т д.

Отъезд Альбертины был величайшим несчастьем моей жизни. И все же, несмотря ни на что, над душевною болью возобладало любопытство, мне не терпелось дознаться, что же вызвало побег: кого Альбертина предпочла, кого нашла. Но источники крупных событий подобны источникам больших рек: мы напрасно стали бы обозревать земную поверхность, мы бы их не нашли. Ведь Альбертина замыслила побег давно? Я умолчал о том (тогда я объяснял это ее кокетничаньем и дурным настроением, тем, что на языке Франсуазы называлось «дуться»), что с того вечера, когда Альбертина перестала меня целовать, на лице у нее появилось мрачное выражение, она стала держаться прямо, словно застыв, о самых простых вещах говорила с грустью, медленно двигалась, не улыбалась. Я не мог бы указать на ее связь с внешним миром. Сразу после побега Франсуаза рассказала, что, за день до ее отъезда войдя к ней в комнату, она никого

там не обнаружила, шторы были задернуты, но запах и шум свидетельствовали, что окно растворено. Альбертина вышла на балкон. Но Франсуазе было не видно, с кем Альбертина могла бы оттуда разговаривать. То, что на распахнутом окне шторы были задернуты, объяснялось легко: я боялся сквозняков, и пусть шторы не укрыли бы меня от них, зато они не дали бы Франсуазе разглядеть из коридора, отчего так рано открыты ставни. Нет, подтверждало то, что Альбертина знала накануне о своем побеге, только одно незначительное событие. Накануне ока вынесла из моей комнаты так, что я и не заметил, много оберточной бумаги и рогожи — в них она упаковывала всю ночь свои бесчисленные пеньюары и халаты, чтобы утром уехать. Это единственный факт, других не было. Я не придаю значения тому, что она почти насильно вернула мне вечером тысячу франков, которые она была мне должна, — тут ничего особенного нет: в денежных вопросах она была крайне щепетильна.

Да она взяла оберточную бумагу накануне, но об отъезде она знала раньше! Заставила ее уехать не тоска — она загрустила, приняв решение уехать, отказаться от жизни о которой она некогда мечтала. Печатана, холодна и надменна

была она вплоть до последнего вечера, когда вдруг, задержавшись у меня дольше, чем ей хотелось, — что удивило меня в ней, не менявшей своих привычек — она сказала, стоя на пороге: «Прощай, малыш, прощай, малыш!» Но в тот момент это меня не насторожило. Франсуаза сказала, что наутро, когда, объявив о своем отъезде, Альбертина была так грустна, вся она была еще более напряженная и застывшая (но ведь в конце концов это можно было объяснить и усталостью, так как она, не раздеваясь, всю ночь упаковывала вещи, кроме тех, которых не было у нее в спальне и туалетной комнате и которые по ее просьбе должна была принести Франсуаза), чем последние дни, и когда она сказала: «Прощай, Франсуаза!» — той показалось, что Альбертина сейчас упадет. Когда об этом узнаёшь, то начинаешь понимать, что за женщину, которая тебе нравилась значительно меньше тех, что встречаются на каждом шагу во время твоих самых обычных прогулок, и на которую ты сердишься за то, что приносишь их в жертву ради нее, ты все же отдал бы тысячу других. Дело в том, что отпадает различие между наслаждением, превратившимся, в силу привычки и, возможно, из-за бесчувственности объекта, почти в ничто,

и другими наслаждениями, соблазнительными, восхитительными, между этими наслаждениями и чем-то значительно более сильным возникает жалость.

Пообещав себе, что Альбертина нынче же вечером будет со мной, я принял самое скорое успокоительное решение — вырвать из сердца ту, с кем жил до сих пор. Но, хотя инстинкт самосохранения подействовал во мне быстро, я все-таки, когда Франсуаза объявила мне об отъезде Альбертины, на одно мгновение почувствовал себя беспомощным, и теперь меня успокаивала уверенность, что Альбертина вечером будет здесь; боль, какую я ощутил в тот миг, когда еще не приучил себя к мысли об ее возвращении (миг, наступивший вслед за словами: «Мадмуазель Альбертина попросила собрать ее вещи, мадмуазель Альбертина уехала»), — эту боль я ощутил вновь: она была похожа на ту, какую я испытывал прежде, как будто я еще не верил в возвращение Альбертины. Она должна была вернуться сама. В любом случае заставлять ее сделать этот шаг, умолять ее вернуться значило действовать наперекор себе. У меня уже не было сил отказаться от нее, как отказался я от Жильберты. Даже больше, чем снова увидеть Альбертину, я стремился

прекратить физическую боль моего изболевшегося сердца, — так не болело оно у меня никогда прежде, эту боль оно уже не могло выносить. И потом я так привык ничего не желать, будь то желание работать или еще какое-нибудь желание, что это поселило в моей душе робость. Но боль была сильнее по многим причинам, главной из которых являлась, вероятно, та, что я ни разу не испытал плотского наслаждения ни с герцогиней Германтской, ни с Жильбертой, а также то, что, не видя их ежедневно, ежечасно, не имея для этого возможности и, следовательно, потребности, я тем не менее чувствовал, что в моей любви к ним самое большое место занимает Привычка. Быть может, теперь, когда мое сердце не тянулось к страданию, не хотело страдать добровольно, оно находило единственно возможное решение: возвращение Альбертины любой ценой, решение противоположное (добровольный отказ, все усиливающееся смирение) показалось бы мне маловероятной развязкой романа, если бы я сам однажды не пришел к такому решению с Жильбертой. Значит, мне было известно, что это другое решение может быть принято тем же самым человеком: ведь в главном я оставался все тем же. Сыграло свою роль только время, соста-

рившее меня, то самое время, в течение которого Альбертина всегда находилась рядом со мной, пока жизнь шла обычным своим чередом. Но, не порывая с Альбертиной, я хотел сохранить то, что у меня оставалось, когда я порывал с Жильбертой: самолюбие, нежелание, умоляя Альбертину вернуться, быть в ее руках пешкой; мне хотелось, чтобы она возвратилась, не предполагая, что я этого хочу. Чтобы не терять времени, я попытался встать с постели, но меня удержала боль: впервые я вставал с постели после ее отъезда. И все-таки мне нужно было поскорее одеться, чтобы пойти справиться об Альбертине у ее консьержки.

Боль от удара, полученного извне, стремится изменить форму; мы надеемся рассеять мрак, строя планы, наводя справки; мы добиваемся того, чтобы благодаря многочисленным метаморфозам она преобразовалась, — это требует от нас меньше мужества, чем если бы страдание не менялось; ложе, которое мы разделяем со своей скорбью, кажется таким узким, таким жестким, таким холодным!

Итак, я встал; я передвигался по комнате крайне осторожно, я вставал так, чтобы не замечать ни стула Альбертины, ни фортепьяно, педали которого она нажимала своими золотыми ту-

фельками, ни одного из тех предметов, которые были ей нужны и которые, говоря на особом языке моих воспоминаний, казалось, хотели перевести на особый язык ее отъезд, создать другой его вариант. Но и не глядя на них, я их видел; силы оставили меня, я рухнул в голубое атласное кресло, — отлив этого атласа час назад в полумраке комнаты, озаряемом единственным лучом света, навевал мне страстные мечты, столь далекие от меня сейчас, Я не садился в кресла до этой минуты, то есть пока Альбертина была еще здесь. Я не усидел — я встал; так ежеминутно возникало какое-нибудь из бесчисленных маленьких «я», из которых мы состоим, — «я», еще не знавших об отъезде Альбертины и ждавших уведомления о нем; мне предстояло, — и это было куда больнее, если б это были чужие «я» и не обладали бы моей привычкой к страданиям, — объявить о только что случившемся несчастье всем этим существам, всем этим «я», еще не знавшим о нем; надо было, чтобы каждое существо услышало впервые эти слова: «Альбертина попросила вынести ее чемоданы» (я видел, как грузили эти чемоданы, своей формой напоминавшие гроба, в Бальбеке, вместе с чемоданами моей матери), «Альбертина уехала». Каждое существо я должен был обучить

своей восприимчивости, причем она вовсе не является пессимистическим выводом, сделанным просто из рокового стечения обстоятельств, но неточным и невольным восстановлением особого впечатления, которое мы получили извне и не по нашему выбору. Были среди моих «я» такие, которых я не видел очень давно. Например (я не подумал, что нынче день стрижки), то «я», каким я был, когда ходил подстригать волосы. Я забыл об этом «я», при его появлении я разрыдался, как рыдают на похоронах при появлении старого уволенного слуги, который знал умершую. Потом вдруг вспомнил, что уже целую неделю на меня временами нападал панический страх, но только я себе в этом не признавался. Я рассуждал так: «Ведь правда же, странно предполагать, что она уехала внезапно? Это было бы нелепо. Если бы я поручил ее заботам человека рассудительного, умного (я бы, если б не ревность, так бы и поступил), он наверняка сказал бы мне: «Да вы с ума сошли! Этого не может быть. (И правда: мы ни разу не поссорились.) Обычно уезжают, потому что для этого есть повод, и поводе вас извещают. Вам предоставляют право возразить. Ведь не уезжают же вот так. Нет, это чепуха.

Это единственное, но безрассудное предполо-

жение». Но я видел ее здесь каждое утро; стоило мне позвонить, и у меня вырывался глубокий вздох облегчения. Когда же Франсуаза передала мне письмо Альбертины, я уверил себя, что речь в письме идет о чем-то таком, чего не может быть, об отъезде, отчасти предугаданном мной за несколько дней, несмотря на доводы логики, успокаивавшей меня. Я был почти доволен своей проницательностью отчаяния — так убийца хоть и уверен, что его не смогут уличить, а все-таки боится, и вдруг видит имя своей жертвы на обложке досье у следователя, который его вызвал…

Я надеялся только на то, что Альбертина уехала в Турень к тетке, — там она, под присмотром, ничего особенного натворить не может, а потом я ее увезу. Больше всего я боялся, что она из Парижа поедет в Амстердам, в Монжувен, куда угодно, — я думал лишь о таких местах, куда она, вернее всего, могла бы уехать; когда же консьержка сказала, что Альбертина уехала в Турень, в место, о котором я мог только мечтать, оно показалось мне самым страшным, потому что это было реальное место, и тут впервые, мучимый определенностью настоящего и зыбкостью будущего, я представил себе Альбертину, начавшую жить той жизнью, какая ее пленя-

ла, разлучившуюся со мной, вероятно, надолго, скорей всего, навсегда, жизнью, когда ей представится возможность осуществить то неведомое мне, которое прежде так часто меня волновало, несмотря на то, что я имел счастье ласкать ее внешнюю оболочку, ласкать ее нежное лицо с непроницаемым выражением, лицо, которое я залучил к себе[2]. Это неизвестное служило фоном моей любви. А сама Альбертина жила во мне своим именем, за исключением редких передышек во сне не исчезавшем из моего сознания. Стоило мне вспомнить ее имя, и я повторял его без конца, моя речь стала бы столь же монотонна, так же однообразна, как если бы я превратился в птицу, вроде птицы из басни, птицу, повторяющую имя той, которую герой басни любил. Мы повторяем имя, а когда умолкаем, то кажется, будто записываем его в себе, будто оно оставляет в мозгу след, будто мозг в конце концов превращается в стену,

---

[2] Примечания: 2

Около двери Альбертины я увидел маленькую бедную девочку, смотревшую на меня огромными глазами; она была так мила, что я спросил, не хочет ли она пойти ко мне — так я позвал бы собаку с преданными глазами. Девочка обрадовалась. В комнате я покачал ее на коленях, но вскоре ее присутствие, подчеркивавшее отсутствие Альбертины, стало для меня невыносимым. Я дал ей пять франков и попросил уйти. Но немного погодя мысль, чтоздесь будет жить другая девочка, что я не останусь один, без помощи невинного существа, превратилась в единственную мою мечту, и вот эта мечта помогла мне пережить разлуку с Альбертиной.

которую кто-то шутя всю исписал именем нашей возлюбленной. Мы все время пишем это имя в своих мыслях, пока мы счастливы, и еще чаще, когда мы несчастны. И, повторяя это имя, больше не сообщающее того, что нам уже известно, мы испытываем беспрестанно возрождающуюся потребность, от которой в конце концов устаем. Я не думал о чувственном наслаждении; перед моим умственным взором даже не возникал образ Альбертины из-за потрясения всего моего существа, я не видел перед собой ее тела; если бы я захотел отделить идею, — идея присутствует во всем, — от моего страдания, то это было бы — поочередно — размышление, в каком настроении она уехала, вместе с мыслью, — а иной раз и без нее, — о ее возвращении, и размышление о том, как именно она вернется. Быть может, есть что-то символическое и соответствующее действительности в том, что сама женщина, из-за которой мы волнуемся, занимает, так мало места в наших волнениях. Даже ее личность не имеет большого значения; на первом месте — эмоциональные процессы, огорчения, какие она доставила нам, и какие привычки связаны с ней. Убедительное тому доказательство (еще более убедительное, чем скука, охватывающая нас, когда мы счастли-

вы) заключается в том, что видеть или не видеть эту женщину, быть ею ценимым или нет, владеть ею или не владеть, — все это покажется нам чем-то совершенно безразличным; нам уже не нужно будет ставить перед собой эту проблему (до такой степени ненужную, что нам просто не к чему будет перед собой ее ставить), мы забудем о чувствах и переживаниях, связанных с ней, потому что вызвала их другая. Прежде, когда мы страдали из-за нее, мы полагали, что наше счастье зависит от ее личности, но оно зависело от усмирения нашей тревоги. Таким образом, наше подсознание было прозорливее нас, ибо благодаря ему лицо любимой женщины становилось для нас незначительным, быть может, мы о нем даже просто забывали, мы плохо его знали и находили заурядным — и это в те страшные мгновенья, когда наша жизнь зависела от того, найдем мы ее или не найдем, ждать нам ее или уже не ждать. Женское личико — это логичное и необходимое средство развития любви, явственно видимый символ субъективной ее природы.

Хитроумие, какое проявила Альбертина при отъезде, напоминало хитроумие народов, которые, чтобы обеспечить успех своему войску, прибегают к искусству дипломатии. По-видимо-

му, Альбертина уехала только для того, чтобы добиться от меня лучших условий существования, большей свободы, большей роскоши. В этом случае победил бы я, если б у меня хватило сил выждать, дождаться того момента, когда, видя, что ничего не добьется, она вернулась бы сама. Но если в планах военных действий, — на войне важно одно: одолеть врага, — можно хитрить, то в любви и в ревности, не говоря уже о страдании, условия совсем иные. Если для того, чтобы промучить Альбертину, ради того, чтобы «довести ее до томления», я позволил бы ей оставаться вдали от меня несколько дней, а то и недель, я поставил бы крест на том, к чему я стремился больше года: не оставлять ее свободной ни единого часа. Все принятые мною меры предосторожности оказались бы бесполезными, если бы я дал ей время, если бы я предоставил ей возможность обманывать меня, сколько ей заблагорассудится, и если бы в конце концов она сдалась, я не мог бы забыть время, когда она была одна, и, даже победив ее, все-таки в прошлом, то есть непоправимо, побежденным был бы я.

Что касается способов возвращения Альбертины, то у них было настолько же больше шансов на успех, насколько предположение, что она

уехала бы в надежде, что ее позовут, предлагая лучшие условия, показалось бы более правдоподобным. Люди, не верившие в искренность Альбертины, — вне всякого сомнения, Франсуаза, — так именно и предполагали. Но моему разуму, для которого единственное объяснение дурного расположения духа Альбертины, ее поведения заключалось в том, — это еще до того, как я что-то узнал, — что она составила план отъезда, было трудно поверить, что теперь, когда она уже уехала, это всего лишь притворство. Я говорю от имени своего разума, а не от себя. Мысль о притворстве становилась для меня тем более необходимой, чем менее была она вероятной, и выигрывала в силе, проигрывая в правдоподобии. Когда стоишь на самом краю пропасти и кажется, что Бог от тебя отступился, то уже не ждешь от Него чуда[3].

Едва мне удалось убедить себя, что, как бы я ни поступил, Альбертина вечером вернется,

---

[3] Примечания: 3

Я признаю, что в этом деле я был самым бездеятельным, хотя и наиболее сильно переживающим полицейским. Бегство Альбертины не прибавило мне качеств, которых меня лишила привычка следить за ней. Я думал об одном: поручить поиски кому-нибудь другому. Быть этим другим согласился Сен-Лу. Я столько дней не находил себе места, а теперь переложил все заботы на другого, взыграл духом и захлопотал, уверенный в успехе, руки у меня опять стали сухими, а не влажными, как при звуках голоса Франсуазы: «Мадмуазель Альбертина уехала».

мне стало не так больно, как в ту минуту, когда Франсуаза сказала, что Альбертина уехала (тогда это было для меня полной неожиданностью, и я решил, что Альбертина уехала от меня навсегда). Некоторое время спустя боль, отпустив, вновь дала о себе знать; она была столь же мучительна, так как возникла раньше, чем утешительное обещание, которое я сам себе дал, вернуть Альбертину. Утешений я не находил. Единственный способ вернуть ее в очередной раз никогда не был особенно плодотворным; просто с тех пор, как я полюбил Альбертину, я неизменно уверял себя, что я ее не люблю, не страдаю от ее отъезда, я ей лгал. Чтобы вернуть ее, я мог бы действовать решительно, делая вид, что сам от нее отказался. Я надумал написать Альбертине прощальное письмо, в котором буду писать об ее отъезде как об отъезде окончательном, а тем временем пошлю Сен-Лу к г-же Бонтан с целью оказания на нее, якобы без моего ведома, самого грубого давления, чтобы Альбертина елико возможно скорее вернулась. Я уже испытал с Жильбертой опасность, какую таят в себе письма, написанные поначалу с притворным равнодушием, в конце концов переходившим в неподдельное. Этот опыт должен был бы помешать мне писать

Альбертине такие же письма, как Жильберте. Но опыт есть не что иное, как открытие для нас самих одной из черт нашего характера, которая проступает непроизвольно и тем резче, что однажды мы уже проявили ее для себя таким образом, что непроизвольное побуждение, которому мы повиновались впервые, еще усиливается благодаря советам памяти. Плагиат, которому труднее всего противостоять, для отдельных индивидуумов (и даже для целых народов, упорствующих в своих заблуждениях и продолжающих усугублять их), — это самоплагиат.

Я знал, что Сен-Лу сейчас в Париже; он тут же примчался ко мне, расторопный и услужливый, как когда-то в Донсьере, и согласился незамедлительно отправиться в Турень. Я предложил ему такой план: он должен выйти в Шательро, спросить, где проживает г-жа Бонтан, и дождаться, когда Альбертина выйдет из дома на улицу — ведь она могла узнать его. «Стало быть, меня эта девушка знает?» — спросил Сен-Лу. Я ответил, что, по-моему, нет. Обдумав это предприятие, я возликовал. Однако оно находилось в кричащем противоречии с тем, на что я решился в самом начале: все устроить так, чтобы нельзя было заподозрить, будто я разыскиваю Альбертину, а

ведь это неминуемо бросилось бы в глаза. Но у нее перед тем, что «должно было бы произойти», было огромное преимущество: она предоставляла мне возможность предполагать, что мой посланец может ее вернуть. И если бы я мог читать в своем сердце, то именно это скрытое во мраке решение, которое я считал недостойным, но которое я мог предвидеть с самого начала, взяло бы верх над решением терпеть, — ведь я же принял его из-за отсутствия воли. Сен-Лу был и так уже несколько удивлен, что какая-то девушка прожила у меня всю зиму, я же ни одним намеком не дал ему это понять, зато он часто рассказывал мне о девушке из Бальбека, а я ни разу не сказал: «Да она живет у меня», и он мог быть задет моей неоткровенностью. Правда, г-жа Бонтан, быть может, расскажет ему о Бальбеке. Но я с таким нетерпением ждал его отъезда, что мне было не до размышлений о возможных последствиях этого путешествия. А насчет того, что он узнает Альбертину (на которую он, кстати сказать, систематически избегал смотреть, когда встречался с ней в Донсьере), то, по общему мнению, она так изменилась и располнела, что это было маловероятно. Он спросил, нет ли у меня портрета Альбертины. Я сначала сказал, что нет,

чтобы он не мог по моей фотографии, сделанной приблизительно во времена Бальбека, узнать Альбертину, которую он мельком видел в вагоне. Но я тут же себе возразил, что на последней фотографии она ничуть не похожа на Альбертину из Бальбека, как и на Альбертину теперешнюю, живую, и что он не узнает ее и на фотографии, и при встрече. Пока я искал в альбоме фотографическую карточку, он ласково гладил меня по лбу — как бы утешая. Меня тронуло его сочувствие. Ему не нужно было расставаться с Рахилью. То, что он тогда испытал, было еще сравнительно недавно, так что он не мог не проникнуться ко мне симпатией, не почувствовать особой жалости к подобного рода страданиям, так же как вы ощущаете особую близость к человеку, у которого та же болезнь, что и у вас. Да и потом он так меня любил, что самая мысль о моих мучениях была ему невыносима. И он испытывал к той, что мне их причинила, злобу, смешанную с восхищением. Он воображал, что я — существо высшего порядка, и раз я подчиняюсь другому существу, значит, это существо тоже совершенно необыкновенное. Я был уверен, что Альбертина на фотографии ему понравится, но так как я все же был далек от мысли, что она произведет на него такое же

впечатление, как Елена на троянских старцев, то, продолжая докапываться до истины, с небрежным видом говорил: «Понимаешь, ты ничего особенного не жди. Снимок плохой, да и в ней самой нет ничего поразительного, она не Бог весть какая красавица, просто очень мила!» — «Да нет же, она наверно обворожительна! — сказал он с искренним и наивным воодушевлением, пытаясь представить себе существо, которое могло довести меня до отчаяния и так меня взволновать. — Я на нее злюсь за то, что она сделала тебе больно. Но ведь можно предположить, что такая, до кончиков ногтей, художественная натура, как ты, во всем любящая красоту, да еще такой любовью, как ты, — ты был самой судьбой предназначен для более сильных страданий, чем кто-либо другой, при встрече с красотою в женщине». Наконец я нашел фотографию. «Она бесспорно обворожительна», — сказал Робер, не видя, что я протягиваю ему карточку. Потом он ее разглядел, подержал в руках. Его лицо выражало тупое изумление. «Вот эту девушку ты любишь?» — проговорил он в конце концов таким тоном, в котором удивление было смягчено боязнью меня рассердить. Он не сделал никакого замечания, он принял задумчивый, настороженный вид, отча-

сти снисходительный, какой принимают, входя к больному, пусть бы до этого он был человеком замечательным и близким вашим другом, но теперь он ни то, ни другое — он стал буйным помешанным, и он рассказывает вам о явившемся ему небожителе, продолжающем ему являться там, где вы, человек здоровый, не видите ничего, кроме круглого столика на одной ножке. Я сразу понял удивление Робера и то, что я точно так же изумился, когда увидел его возлюбленную, с тою лишь разницей, что узнал в ней женщину, с которой прежде был знаком, тогда как он полагал, что никогда не видел Альбертину. Но, конечно, мы смотрели на одну и ту же девушку совершенно по-разному. Давно миновало то время, когда в Бальбеке я начал постепенно прибавлять при взгляде на Альбертину ощущения вкуса, запаха, осязания. С той поры к прежним ощущениям прибавились ощущения более глубокие, более нежные, трудно поддающиеся определению, а потом и болезненные. Короче говоря, Альбертина являлась подобно камню, вокруг которого намело снегу, беспрестанно воспроизводящим центром сооружения, все возвышавшегося по замыслу моего сердца. Робер не различал этого напластования ощущений — он улавливал лишь

осадок, который Альбертина, напротив, скрывала от меня. Когда Робер увидел фотографию Альбертины, его вывело из равновесия не внезапное потрясение троянских старцев, воскликнувших при виде проходившей Елены:

Целителен единый взгляд ее[4],

а совсем иное чувство, говорившее: «Как! Из-за нее он мог так портить себе кровь, так страдать, наделать столько глупостей». Надо сознаться, что такое впечатление от лица, из-за которого вынесено столько мук, которое перевернуло человеку жизнь, а иногда даже является причиной смерти любимого существа, наблюдается неизмеримо чаще, чем впечатление, которое встреча произвела на троянских старцев, словом, более обыкновенное. Происходит это не только оттого, что любовь индивидуальна, и не потому, что когда мы ее не испытываем, смотреть на нее как на неизбежность и философствовать о сумасшествии других вполне естественно. Нет, дело в том, что если безумная любовь причиняет боль, то сцепление ощущений, порождаемых обликом женщины в глазах влюбленного, — этот

[4] Примечания: 4

Ронсар, вторая книга «Сонетов Елене». Здесь и далее перевод стихов Ю.М. Денисова.

огромный болезненный шар, обволакивающий лицо и скрывающий его так же, как снежный покров скрывает фонтан, — удаляется от точки, на которой останавливаются взгляды влюбленного и где сходятся его наслаждения и страдания, хотя бы она была уже так далека от точки, где это же самое видно другим, подобно тому как солнце удалено от того места, где сгусток света делает его для нас заметным в небе. А кроме того, под хризалидой страдания и ласки, застилающей для влюбленного худшие превращения любимого лица, лицо успевает состариться и измениться. Таким образом, если лицо, которое влюбленный видел впервые, очень не похоже на то, какое он видит с тех пор, как любит и страдает, значит, он находится так же далеко от лица, которое может видеть равнодушный зритель. (Что было бы, если бы вместо фотографии девушки Робер увидел фотографию старухи?) Чтобы прийти в изумление, нам даже не нужно видеть впервые ту, что явилась причиной стольких крушений. Зачастую мы ее знаем не лучше, чем мой двоюродный дед Адольф знал Одетту. В этом случае различие точек зрения распространяется не только на внешний вид, но и на характер, но и на значительность личности. В жизни часто бывает,

что женщина, из-за которой страдает тот, кто ее любит, неизменно добра с тем, кто не обращает на нее внимания: так Одетта, жестоко обходившаяся со Сваном, была предупредительной «дамой в розовом» с моим двоюродным дедом Адольфом. Или же существо, каждый поступок которого продуман заранее, и которое внушает такой же страх, с каким ждут решение божества, тому, кто его любит, может показаться лицом заурядным, слишком счастливым, оттого что, как думает человек, который эту женщину не любит, она вольна делать все, что ей заблагорассудится, — так я относился к любовнице Сен-Лу, которую воспринимал только как: «Если господин захочет Рахиль», и которую мне столько раз предлагали. Я вспоминал, как впервые увидел ее с Сен-Лу, вспоминал свое изумление при мысли, что можно мучиться из-за незнания, чем такая женщина была занята в тот или иной вечер, не шепнула ли она кому-нибудь что-нибудь на ушко, почему она решила порвать отношения. Я сознавал, что все мое прошлое и Альбертина, к которой я мучительно стремился всеми фибрами души, всем своим существом, должны казаться Сен-Лу в такой же степени незначительными; быть может, и мне Альбертина однажды станет так же без-

различна; быть может, я мало-помалу перейду, проникшись мыслью о незначительности или же, напротив, важности прошлого Альбертины, от того состояния духа, в каком я пребывал, к тому, в каком находился Сен-Лу, — ведь я же не создавал себе иллюзий по поводу того, что мог думать Сен-Лу, все, кто угодно, кроме возлюбленного Альбертины. И я не очень от этого страдал. Оставим хорошеньких женщин в удел мужчинам без воображения. Я вспоминал трагическую попытку понять столько жизней, каковой является гениальный, но не похожий портрет Одетты, написанный Эльстиром, — он представляет собой не столько портрет возлюбленной, сколько искаженное изображение любви. В нем только один недостаток, и это недостаток стольких других портретов: он принадлежит кисти великого художника и в то же время влюбленного (поговаривали, будто Эльстир был любовником Одетты). Несходство оправдывает вся жизнь влюбленного, влюбленного, безумство которого никто не понимает, вся жизнь, скажем, Свана. Но когда возлюбленный становится еще и художником, как Эльстир, то вот вам и разгадка: у вас перед глазами губы, на которые человек обыкновенный никогда не обращал внимания,

нос, о котором никто ничего не мог бы сказать, походка, которую никто не замечал. Портрет говорил: «Я любил, я страдал, я всем этим без конца любовался». Ретроспективно пытаясь приписать Рахили все, что прежде приписывал ей Сен-Лу, я старался освободиться от того, что сердцем и разумом привносил в образ Альбертины, и представить ее себе такой, какой она должна была казаться Сен-Лу, а мне — Рахиль. Впрочем, все это не имеет значения. Сами-то мы верим ли в эти различия, даже когда мы их замечаем? Если раньше, в Бальбеке, Альбертина ждала меня под аркадами Энкарвиля, а затем прыгала ко мне в авто, она тогда еще не только не «расплылась», но вследствие чрезмерных упражнений истончилась; она похудела, отвратительная шляпа уродовала ее, из-под шляпы выглядывал только кончик безобразного носа, белые щеки в профиль напоминали белых червей; от прежней Альбертины почти ничего не осталось, однако на большее я и не претендовал: в то мгновение, когда она прыгала в авто, я чувствовал, что это она, что она не опоздала на свидание и не пошла куда-нибудь еще, а больше мне ничего и не надо было; то, что любят, слишком крепко связано с прошлым, слишком много заключается во

времени, потерянном вместе, чтобы мужчине нужна была вся женщина: мужчина хочет быть уверен в одном — что это она, не обознаться, а это гораздо важнее, чем красота для любящих; щеки могут впасть, тело — похудеть, даже на взгляд тех, кто вначале кичился своей властью над красотой этой мордашки, над этой неизменной, отличительной чертой женщины, ее личности, ее алгебраическим корнем, ее константой — этого довольно, чтобы у мужчины, которого ждут большие дела, но который влюбился, не оставалось ни одного свободного вечера, потому что он проводил время, причесывая любимую женщину и портя ей прическу вплоть до той минуты, когда пора ложиться в постель, или же остается у нее, лишь бы побыть с ней, или же чтобы она была с ним, или просто-напросто — чтобы она не была с другим.

«Ты уверен, — спросил Сен-Лу, — что я мог бы предложить этой женщине, за здорово живешь, тридцать тысяч франков для комиссии, от которой зависит, пройдет кандидатура ее мужа или не пройдет? Неужели она до такой степени бесчестна? Ну, тогда, значит, ты не ошибешься, если скажешь, что трех тысяч франков довольно». — «Нет, прошу тебя: не экономь на том, что

так дорого твоему сердцу. Ты должен сказать вот что, и в конце концов, в этом есть доля истины: «Мой друг попросил тридцать тысяч франков у родственника для избирательной комиссии, от которой зависит, пройдет или не пройдет кандидатура дяди его невесты. Только ради помолвки эти деньги ему и дали. Чтобы Альбертина об этом не знала, передать их тебе попросили меня. Да к тому же, как слышно, Альбертина с тобой порывает. Он ума не приложит, что ему делать. Не женись он на Альбертине, ему придется вернуть тридцать тысяч франков. А в случае женитьбы ей, хотя бы для проформы, надо немедленно возвращаться, потому что если побег продлится, то это произведет на всех крайне невыгодное впечатление». Ну как, ловко придумано?» — «Да нет», — отвечал мне Сен-Лу по своей доброте, по своей душевной мягкости, а еще вот почему: Сен-Лу не знал, что обстоятельства часто бывают гораздо более странными, чем принято думать.

В конце концов в этой истории с тридцатью тысячами франков не было ничего невероятного: как я и говорил Сен-Лу, здесь скрывалась большая доля истины. Подобного рода история представлялась возможной, но все в ней было не так, и эта доля истины была как раз ложь. И все же мы

друг другу продолжали лгать, Робер и я, как во время любого разговора, когда один приятель искренне хочет помочь другому, находящемуся во власти безнадежной любви. Друг советует, поддерживает, утешает, он способен пожалеть несчастного, но он не способен почувствовать несчастье, и чем ближе друг, тем больше он лжет. А другой признается, в какой помощи он нуждается, но и только, тщательно скрывая все остальное. Однако счастлив все же тот, кто берет на себя все тяготы, кто разъезжает, кто выполняет поручение, но не страдает. Я был сейчас тем, кем Робер был в Донсьере и думал, что Рахиль его бросила. «Ну, уж как хочешь. Если меня публично оскорбят, я готов вынести это ради тебя. И потом, хотя в этой шитой белыми нитками сделке есть, по-моему, что-то глупое, но ведь я же отлично знаю, что в нашем мире существуют герцогини, да к тому же еще святоши из святош, которые ради тридцати тысяч франков пойдут на нечто худшее, чем сказать племяннице, чтобы она не задерживалась в Турени. Словом, я вдвойне рад оказать тебе услугу, потому что мне необходимо с тобой встречаться. Если я женюсь, — добавил он, — разве мы не будем видеться еще чаще, разве мой дом не станет отчасти твоим?..» Он осекся,

очевидно подумав, что если я и женюсь, то Альбертина не сможет стать для его жены близкой подругой. И тут я вспомнил, что говорили мне Говожо о его предполагаемой женитьбе на дочери герцога Германтского.

Заглянув в справочник, Сен-Лу убедился, что может выехать только вечером. Франсуаза спросила меня: «Кровать мадмуазель Альбертины из рабочего кабинета вынести?» — «Напротив, надо ее застелить», — ответил я. Я надеялся, что Альбертина не сегодня-завтра вернется. Мне не хотелось, чтобы у Франсуазы возникла по этому поводу хотя бы тень сомнения. Отъезд Альбертины должен был восприниматься как нечто между нами двумя обговоренное, не допускавшее мысли, что она меня разлюбила. Но во взгляде Франсуазы я прочел если и не недоумение, то уж, во всяком случае, сомнение. У нее были две догадки. Ноздри у нее раздувались, она вынюхивала размолвку — должно быть, она давно уже ее зачуяла. Если она и не была в ней твердо уверена, то, может быть, только потому, что, как и я, боялась окончательно убедиться в том, что доставило бы ей слишком большое удовольствие.

Сен-Лу, должно быть, только успел сесть в вагон, как я столкнулся у себя в передней с Блоком;

я не слыхал его звонка, так что мне пришлось ненадолго его принять. Недавно он встретил меня с Альбертиной (он знал ее по Бальбеку) в тот день, когда она была не в духе. «Я ужинал с Бонтаном, — сообщил Блок, — и так как я имею на него некоторое влияние, то сказал ему, что меня огорчает охлаждение к тебе его племянницы и что ему следует с ней об этом поговорить». Я задыхался от злобы: просьба и жалобы Блока сводили на нет все усилия Сен-Лу и унижали меня в глазах Альбертины. В довершение всего Франсуаза в прихожей подслушала наш разговор от слова до слова. Я сказал Блоку, что подобных поручений ему не давал, а что насчет Альбертины он глубоко ошибается. Блок все время улыбался — не столько от радости, сколько от смущения тем, что навредил мне. Он со смехом выразит изумление, что навлек на себя мой гнев. Возможно, он это говорил, чтобы преуменьшить в моих глазах важность его нескромного поступка, быть может, потому, что он был труслив и вел веселую и праздную жизнь, купаясь во лжи, как медуза на водной поверхности, а быть может, потому, что он принадлежал к породе людей, не умеющих стать на чью-нибудь другую точку зрения, к породе людей, не сознающих всей важности

зла, которое они случайной обмолвкой способны нам причинить. Я только что успел выпроводить его, так и не найдя повода загладить его бестактность, но тут снова раздался звонок, и Франсуаза передала мне повестку из полиции. Родители девочки, которую я приводил к себе, подали на меня жалобу — они обвинили меня в растлении малолетней. Бывают в жизни такие минуты, когда подобие прекрасного рождается из множества осаждающих нас неприятностей, переплетающихся, словно мотивы Вагнера, а также из ясного для нас образа, когда события не располагаются все вместе, как отражения в зеркальце, которое ставит перед образом ум и которое образ называет будущим, а существуют вовне и надвигаются неожиданно, как человек, явившийся захватить вас с поличным. Предоставленное самому себе, событие трансформируется: то ли увеличивает его размеры в наших глазах неудача, то ли, напротив, преуменьшает его полученное нами удовлетворение. Но событие редко происходит одно. Чувства, по-разному возбужденные каждым из них, противоречивы, и, идя в полицию, я именно эту противоречивость и испытал: я воспользовался скорее отвлекающим средством, действующим в течение непродолжительного

времени, но зато довольно сильным, рассеивающим не страх, а печаль.

В полиции я застал родителей девочки. Они меня оскорбили — сказали: «Мы не нищие» — и с этими словами вернули мне пятьсот франков. Я не брал их. Полицейский чин, являвший собою образец того, с какой находчивостью надлежит производить дознание, выуживал из каждой моей фразы по слову, которым он потом воспользовался, чтобы умно возразить мне и уличить. В моей виновности никто не сомневался — об этом никто не задумывался ни на одну минуту. Но предъявить мне обвинение было все же не так-то просто, и я отделывался всего-навсего нагоняем, — впрочем, довольно лихим, — до тех пор, пока не ушли родители. Но как только за ними затворилась дверь, полицейский чин, любитель девочек, изменил тон и начал по-приятельски меня журить: «В другой раз нужно быть половчей. Ну, подумайте сами! Так, вдруг, подцеплять нет смысла — сорвется. Вы можете где угодно найти девочек получше и гораздо дешевле. С вас заломили неслыханную сумму». Я чувствовал, что если б я попытался открыть ему всю правду, он бы меня не понял, и поэтому молча воспользовался позволением удалиться. По дороге домой

я принимал прохожих за ищеек, следящих за каждым моим шагом. Однако эта мания преследования, как и злость на Блока, скоро уступила место мыслям об отъезде Альбертины. Навязчивая идея возникла вновь, но с тех пор, как Сен-Лу уехал, в ней возобладала жизнерадостность. Как только Сен-Лу согласился поехать к г-же Бонтан, тяжесть этого посещения больше уже не давила на мой переутомленный рассудок — теперь эта тяжесть давила на Сен-Лу. В момент его отъезда я возликовал, сказав себе: «Я ответил ударом на удар». И у меня отлегло от сердца. Мне казалось, что это следствие моей активности, — я, правда, так думал, потому что ведь никогда не знаешь, что таится в глубине твоей души. Возникшее там ощущение, что я счастлив, родилось, как мне казалось, вовсе не оттого, что я снял с себя бремя, переложив свою нерешительность на Сен-Лу. И в конечном счете нисколько не заблуждался: специфическое средство от тяжелого события (а три четверти событий именно таковыми и являются) — принятие решения, ибо его цель — путем неожиданного внесения путаницы в наши мысли остановить поток мыслей, которые являются следствием происшедшего события, а также продолжающееся их взвихрение, смыть их

потоком мыслей противоположных, исходящих извне, из будущего. Эти новые мысли оказывают на нас благотворное действие (именно такое действие оказывали на меня те, что в первый момент мне досаждали), когда из глубины будущего они несут нам надежду. В глубине души я был счастлив благодаря затаенной уверенности, что, — так как миссия Сен-Лу не могла кончиться крахом, — Альбертина не может не вернуться. Я это понял. В первый день я не получил ответа от Сен-Лу, и мне опять стало тяжело на душе. Мое решение, то, что я передал Сен-Лу все полномочия, не было, значит, причиной моего веселого настроения, иначе око продолжалось бы, — причиной было то, что, когда я говорил себе: «Будь что будет», я думал: «Удача бесспорна». Запоздалая мысль, что на самом деле все может кончиться неудачно, была для меня совершенно невыносима, и моя жизнерадостность улетучилась. Именно наше предвидение, наша надежда на благоприятный исход событий полнит нас счастьем, причины для которого мы ищем совсем не там и которое мы перестаем испытывать, которое сменяется тоской, как только мы перестаем быть уверены, что желаемое осуществится. Именно незримая вера всегда поддерживает здание мира наших

чувств; лишенное веры, око начинает шататься. Мы убедились на опыте, что вера повышает в наших глазах вес того или иного человека или же, напротив, обесценивает, что благодаря вере эти люди приводили нас в упоение или же, напротив, нагоняли скуку. Точно так же вера помогает нам перебороть тоску, кажущуюся нам слабой только благодаря тому, что мы убеждены: скоро ей настанет конец, или же, напротив, мы не можем найти себе место от тоски, и тогда чье-либо присутствие мы ценим не меньше, а то и больше, чем свою жизнь.

От одного обстоятельства острая боль в моем сердце наконец утихла, такая же острая, как в первую минуту, и, надо признаться, такой остроты она больше не достигала. Это произошло после того, как я перечитал одну фразу из письма Альбертины. Как бы мы ни любили человека, но когда в одиночестве мы сталкиваемся с душевной болью лицом к лицу и наш рассудок придает ей по возможности желаемую форму, то эту боль можно вытерпеть, она свойственна человеческой природе, она до известной степени присуща нам, она отличается от непредвиденной и необычной, от подобной несчастному случаю в мире чувств и в жизни сердца, случаю, поводом для

которого служат не столько сами люди, сколько их способ довести до нашего сведения, что мы их больше не увидим. Об Альбертине я мог думать, проливая тихие слезы, готовя себя к тому, что не увижу ее нынче вечером, как не видел и вчера; однако перечитать: «мое решение бесповоротно» — это совсем другое дело, это все равно что принять сильное средство, которое может вызвать сердечный припадок с летальным исходом. Есть в вещах, в событиях, в письмах, имеющих отношение к разрыву, особая опасность, преувеличивающая и искажающая даже ту боль, какую могут причинить нам живые существа. Однако эта боль длится недолго. Несмотря ни на что, я был так уверен в находчивости Сен-Лу, что возвращение Альбертины представлялось мне несомненным, и я даже задал себе вопрос: а стоило ли так страстно этого желать? И то, что я задавал себе этот вопрос, меня радовало. К несчастью, я был уверен, что мое дело в полиции кончено, но Франсуаза сообщила, что приходил инспектор и узнавал, не принимал ли я у себя девочек, а консьерж, полагая, что речь идет об Альбертине, ответил утвердительно, и с этого времени за притоном разврата было установлено наблюдение. Теперь я уже не мог привести к себе

девочку, чтобы она утешила меня, иначе я был бы в ее глазах опозорен, когда нагрянул бы инспектор и она приняла бы меня за злоумышленника. Тогда же я понял, что, сами того не подозревая, мы живем ради мечты, ибо, как мне показалось, то, что я навеки утратил возможность убаюкать на руках девочку, обессмыслило мою жизнь, но вместе с тем мне стало понятно, почему люди легко отказываются от состояния и рискуют жизнью, между тем как существует мнение, что интерес к смерти и страх перед ней являются двигателями жизни. Если бы я предположил, что даже незнакомая девочка из-за прихода полицейского может подумать обо мне дурно, я предпочел бы покончить с собой. Эти источники душевной боли несравнимы. Люди всегда далеки от мысли, что те, кому они предлагают деньги, грозят смертью, могут иметь любовницу или приятеля, чьим уважением они дорожат больше, чем самоуважением. Но тут я, незаметно для себя, запутался (я не подумал, что, будучи совершеннолетней, Альбертина имеет право жить у меня и даже быть моей любовницей). Я вообразил, что совращение малолетних может иметь касательство и к Альбертине. Я решил, что я, как зверь, обложен со всех сторон. И, подумав, что я был близок с

Альбертиной, я нащупал связь между моими отношениями с ней и тем, что я баюкал незнакомую девочку, связь, существующую во всех наказаниях и свидетельствующую о том, что почти никогда не бывает ни справедливого приговора, ни юридической ошибки, а существует нечто вроде гармонии между ложным представлением, какое сложилось у судьи о безобидном поступке, и преступлениями, о которых он не имел понятия. Но при мысли, что возвращение Альбертины повлечет за собой позорный приговор, который унизит меня в ее глазах и, возможно, повредит и ей, чего она мне не простила бы, я перестал желать ее возвращения — теперь я думал о нем с ужасом. Я решил немедленно телеграфировать ей, чтобы она не возвращалась. Но сейчас же, поглотив все, меня охватило страстное желание, чтобы она вернулась. Представив себе на миг, что я попросил бы ее не возвращаться и стал бы жить без нее, я вдруг почувствовал, что готов пожертвовать какими угодно путешествиями, какими угодно удовольствиями, каким угодно занятием, лишь бы она вернулась! До чего же мое чувство к Альбертине, дальнейшее развитие которого, хотя я и был уверен, что способен предвидеть его, основываясь на том, как у меня

складывались отношения с Жильбертой, было непохоже на чувство к Жильберте! Сколько раз я испытывал неодолимую потребность видеться с Альбертиной! И в каждом отдельном случае, пусть даже ничем не примечательном, но возникавшем в атмосфере счастья, которую неизменно создавало для меня присутствие Альбертины, мне нужно было все с той же душевной мукой сызнова учиться расставанию. Лишь по прошествии некоторого времени житейские заботы заглушали эту боль. Ожидая встречи Сен-Лу с г-жой Бонтан, я представлял себе Венецию ранней весной, прелестных незнакомок, — судьба дарила мне несколько мгновений отрадного отдохновения. Как только я себя на этом поймал, я пришел в ужас. Сладостный покой явился первым признаком мощной, то возникавшей, то исчезавшей силы, которая будет во мне бороться с тоской, с любовью, и которая в конце концов победит. То, что я предчувствовал, то, что было для меня предзнаменованием, длилось всего лишь несколько мгновений, но впоследствии оно будет моим неизменным душевным состоянием, моей новой жизнью, и меня уже не хватит на то, чтобы страдать из-за Альбертины, чтобы любить ее. И тут моя любовь, у которой до сих пор был

один-единственный враг, способный ее одолеть: забвение, задрожала, как запертый в клетке лев, вдруг заметивший питона, который вот-вот его проглотит. Я все время думал об Альбертине, а Франсуаза, входя ко мне, не спешила унять мою тревогу, сказав мне: «Писем нет». Однако время от времени мне удавалось, пропустив сквозь мою печаль какую-нибудь постороннюю мысль, обновить, немного проветрить затхлый воздух моего внутреннего мира. Но вечером, если мне удавалось заснуть, снотворное заменяла мне мысль об Альбертине; когда же действие его прекращалось, я просыпался. Я и во сне думал об Альбертине. Это был особый сон, принадлежавший ей, и если бы даже я нашел иную пищу для размышлений, все равно я был бы так же не свободен, как наяву. Сон, память — мы спим благодаря взаимодействию этих двух субстанций. Когда я просыпался, моя душевная боль, вместо того чтобы утихнуть, все усиливалась. Забвение делало свое дело, но вместе с тем оно идеализировало образ, о котором я тосковал, оно способствовало освоению изначального моего страдания и других аналогичных, усиливавших его. С утратой самого этого образа еще как-то можно было свыкнуться. Но если я мысленно возвращался к ней в комнату

с кроватью, на которой никто не лежал, если я вспоминал об ее музыкальном инструменте, об ее автомобиле, силы мгновенно покидали меня, глаза закрывались, голову клонило набок, как у тех, кто вот сейчас упадет в обморок. Хлопанье дверей причиняло мне почти такую же острую боль, потому что отворяла их не Альбертина. Я уже не решался спросить, есть ли телеграмма от Сен-Лу. Наконец телеграмма пришла, но то, что в ней сообщалось, только отсрочивало встречу: «Дамы уехали на три дня».

Я вытерпел четыре дня, прошедшие с тех пор, как Альбертина уехала, только благодаря тому, что я себя убеждал: «Это вопрос времени, к концу недели она будет здесь». И все же этот довод не облегчал моему сердцу, моему телу решение задачи: как жизнь без нее, как возвращаться в пустой дом, проходить мимо ее комнаты (отворять дверь я еще не смел), зная, что ее там нет, как ложиться спать, не пожелав ей спокойной ночи, — не облегчал борьбы с ужасающей совокупностью лишений, не приучал жить так, словно я и не должен вновь встретиться с Альбертиной. Но то, что я уже четыре раза со всем этим справился, доказывало, что справлюсь и в дальнейшем, И, быть может, вскоре при поддержке разума,

до сих пор помогавшего мне вести такой образ жизни, я перестану ощущать необходимость в возвращении Альбертины (я сказал бы себе: «Она не вернется» — и все-таки продолжал бы жить, как жил последние четыре дня) — так раненый, снова научившийся ходить, может обойтись без костылей. Конечно, вечером, вернувшись домой, я задыхался от пустоты и от одиночества и углублялся в воспоминания, образовывавшие нескончаемую цепь, — в воспоминания о вечерах, когда Альбертина меня ждала. Но я уже углублялся и в мысли о вечере последующем, о вечере, следовавшем за ним, и еще о двух вечерах, то есть в воспоминания о четырех вечерах, истекших со времени отъезда Альбертины, вечерах, которые я проводил один, без нее, — и, однако, остался жив, — вечерах, уже составлявших целую нить, и хотя нить эта была пока еще коротка по сравнению с другой, но каждый новый прожитый день будет удлинять ее. Я не стану рассказывать ни о письме, в котором самая обворожительная из всех парижанок, племянница герцогини Германтской, давала согласие быть моей женой, ни об игре, какую вел со мной герцог Германтский, получив на то благословение ее родителей, смирившихся ради счастья дочери с явным меза-

льянсом. Подобные происшествия — всегда укол для самолюбия, но человеку влюбленному они наносят ранение тяжелое. Человеку хотелось бы поделиться этими новостями с той, которая к нему недостаточно благосклонна, но он не может себе этого позволить, потому что это бестактно, хотя, если б она узнала, что другие относятся к этому человеку по-иному, то мнения своего все же не изменила бы. Письмо племянницы герцога могло бы расстроить Альбертину, но не больше.

В то мгновение, когда я проснулся, меня вновь охватила тоска, теснившая мне сердце перед сном, тоска, похожая на книгу, которую мы закрываем только на время, и теперь она не покинет меня до самого вечера, покинет при условии, если я узнаю что-нибудь новое об Альбертине, все ощущения, независимо от того, явились они извне или возникли внутри меня, касались ее. Послышался звонок: письмо от Альбертины, а может быть, она сама! Когда я чувствовал себя хорошо, когда я не был таким несчастным, то меня не мучила ревность, Альбертина не вызывала во мне неприязни, мне хотелось как можно скорее увидеть ее, поцеловать, мне хотелось весело прожить с ней жизнь. Телеграфировать ей: «Приезжайте скорее» — казалось мне делом

обычным, тогда как новое мое настроение произвело перемену в моей внутренней жизни, и весь окружающий мир утратил для меня всякий интерес. Если я был в мрачном настроении, то вся моя злоба против Альбертины оживала мне уже не хотелось ее целовать, я уверял себя, что не буду с ней счастлив, я хотел причинять ей только боль и мешать принадлежать другим. Но итог этих разных настроений был одинаков: я мечтал о том, чтобы она как можно скорее вернулась. И все же я чувствовал, что, как бы я ей ни обрадовался, те же самые трудности возникнут потом вновь. Поиски счастья в удовлетворении желания были так же наивны, как несбыточна надежда дойти прямым путем до горизонта. Истинное обладание тем дальше от нас, чем сильнее наше желание. Если счастье, или, по крайней мере, жизнь без страданий и может быть достигнута, то не благодаря удовлетворению желания, а благодаря постепенному его уменьшению, благодаря предельному его сужению, — вот к чему нужно стремиться. Человеку хочется увидеть то, что он любит, а лучше бы не видеть, ибо только забвение ведет к угасанию желания. Если бы писатель, развивающий в своей книге такие истины, посвятил эту книгу женщине, с которой мечтал бы таким

путем сблизиться: «Эта книга — тебе», он солгал бы в своем посвящении. Связи между кем-либо и нами существуют только в нашем воображении. Память, слабея, теряет их и, несмотря на сознательный самообман, с помощью которого мы, по велению любви, дружбы, из вежливости, из уважения, из чувства долга, обманываем других, в конце концов мы остаемся одни. Человек — существо, которое не может отрешиться от себя, которое знает других людей только преломленными сквозь него; если же он утверждает нечто противоположное, то он, попросту говоря, лжет. Я был бы очень огорчен, если бы кто-нибудь лишил меня потребности в общении с Альбертиной, вынудил меня разлюбить ее, и я убеждал себя, что не могу без нее жить. Если б я заставил себя равнодушно выслушивать, как произносят названия станций, мимо которых проходит туреньский поезд, я воспринял бы это, как мое нравственное падение: это означало бы, что Альбертина становится мне безразличной. Как было мне хорошо, когда, поминутно задавая себе вопросы: чем она сейчас занята, о чем думает, чего ей хочется, не намерена ли она, не собирается ли она вернуться, я держал распахнутой дверь, проделанную во мне любовью, и чувствовал, как жизнь другого

человека наполняет через открытые шлюзы водохранилище, в котором вода не желает быть застойной!

Когда молчание Сен-Лу затянулось, второстепенная забота — ожидание телеграммы или телефонного звонка от Сен-Лу — отодвинула главную: над тревогой из-за того, каков же конечный результат его поездки, возобладала жажда знать, вернется ли Альбертина. Прислушиваться к малейшему шороху в ожидании телеграммы — это стало для меня просто невыносимо; я уже начал думать, что, о чем бы ни говорилось в телеграмме, я перестал бы терзаться. Но когда я, наконец, получил телеграмму от Робера, в которой он меня извещал, что виделся с г-жой Бонтан, но что, несмотря на все предосторожности, его видела Альбертина и что это все и погубило, я рвал и метал от бешенства и отчаяния: ведь мне именно этого и хотелось прежде всего избежать. Узнав о поездке Сен-Лу, Альбертина поняла, как она мне дорога, и это могло только удержать ее. Мой ужас при мысли об этом, кстати сказать, не уступал в силе той гордости, которая жила в моей любви к Жильберте и которую моя любовь утратила. Я проклинал Робера, потом сказал себе, что раз этот способ не удался, то я найду другой. Если на

человека влияет внешний мир, то почему же я с помощью хитрости, ума, заинтересованности, пристрастия не сумею перебороть страшную боль от отсутствия Альбертины? Существует мнение, что мы можем по своей прихоти изменить внешний мир. Думают так потому, что не видят другого выхода. И не помышляют о таком выходе, который открывается перед нами чаще всего и который тоже вполне для нас благоприятен. Нам не удается изменить внешний мир по нашему благоусмотрению, но мало-помалу меняется само наше решение. Положение, которое мы надеялись изменить, потому что оно представлялось нам нестерпимым, становится для нас безразличным. Мы не смогли преодолеть препятствие, но жизнь повернула его к нам другой стороной, заставила нас перешагнуть через него, и только тогда, окидывая взглядом далекое прошлое, мы можем его разглядеть, да и то вряд ли — так оно теперь трудно различимо.

Этажом выше соседка наигрывала арии из «Манон». Я переносил известные мне слова арий на Альбертину и на себя, и скоро это довело меня до слез. Слова были такие:

Возненавидев плен, отчаясь, ночью птица

Рванулась из окна и вот

Колотится в стекло,

Чтоб в клетку возвратиться.

И еще о смерти Манон:

Манон, единственная страсть моей души!

Знай, лишь теперь мне доброта твоя открылась.

Так как Манон вернулась к Де Грие, то мне казалось, что я — единственная привязанность Альбертины. Увы! Вероятно, если бы она в тот момент услыхала эту же арию, то ласкала бы человека под именем Де Грие, а не меня, мысль же обо мне не доставила бы ей удовольствия, а между тем эта музыка очень подходила к нашему случаю, но только она была возвышеннее и утонченнее, она была написана в стиле той, которую любила Альбертина.

Я не мог предаться отрадным воспоминаниям о том, что прежде Альбертина называла меня «своей единственной любовью», я сознавал, что она ненавидела себя за то, что «находилась в рабстве». Я знал, что нельзя читать роман, не придавая героине черты той, которую ты лю-

бишь. Но, несмотря на то, что конец книги может быть счастливым, наша любовь не усилилась бы ничуть; когда же мы закрываем книгу, та, которую мы любим и которая наконец приходит к нам в романе, в жизни любит нас не больше, чем прежде.

Вне себя от ярости, я в телеграмме велел Сен-Лу как можно скорее возвращаться в Париж, чтобы, по крайней мере, не проявлять тягостной настойчивости в деле, которое мне так хотелось скрыть! Но еще до его возвращения я получил телеграмму от Альбертины:

«Друг мой! Вы послали своего приятеля Сен-Лу к моей тетушке, но это же бессмысленно. Дорогой друг! Если я была Вам нужна, то почему Вы прямо не обратились ко мне? Я бы с радостью вернулась. Не возобновляйте эти бессмысленные попытки».

«Я бы с радостью вернулась»! Раз она так выразилась, значит, она жалела, что уехала, и только искала предлог, чтобы вернуться. Значит, мне нужно было сделать то, о чем она мне телеграфировала. Написать, что она мне нужна, и тогда она бы вернулась. И я ждал ее, Альбертину времен Бальбека (после ее отъезда она снова стала для меня той Альбертиной; это как раковина, на

которую мы не обращаем внимания, пока она лежит на комоде, но стоит нам отдать ее или потерять, как начинаешь о ней думать; мысль об Альбертине приводила мне на память ликующую красоту приморских скал.) И не только сама Альбертина превратилась в существо воображаемое, иначе говоря — желанное, но и жизнь с ней стала жизнью воображаемой, то есть свободной от каких бы то ни было затруднений, и я говорил себе: «Как мы будем счастливы!» С той минуты, как у меня появилась уверенность, что Альбертина вернется, мне не к чему было торопить ее, — напротив, мне нужно было изгладить неприятное впечатление от действий Сен-Лу; я мог бы потом при случае отмежеваться от нею, отговориться тем, что он действовал на свой страх и риск, так как всегда был сторонником этого брака.

Ее письмо разочаровало меня тем, как мало в нем было от нее. Конечно, буквы выражают нашу мысль, как выражают ее черты лица. Мы всегда находимся в подчинении у какой-нибудь мысли. И все же мысль проявляется в человеке только после того, как она опылила венчик лица, расцветшего, подобно нимфе. Это оказывает на нее сильное действие. И в этом, быть может, одна из причин разочарований, от века

постигающих нас в любви: вместо ожидаемого любимого, идеального существа каждое свидание являет нашему взору реального человека, в котором так мало остается от нашей мечты! И когда мы чего-нибудь требуем от этого человека, мы получаем в ответ письмо, в котором от того, каким мы его себе вообразили, остается столько же, сколько в алгебраических формулах остается арифметических величин, которые ничего не говорят нам о качестве плодов или цветов. Слова «любовь», «любимое существо», его письма — это, может быть, как раз выражения (пусть и несовершенные с точки зрения любящего человека) реальности, потому что письмо не удовлетворяет нас только пока мы его читаем, но мы смертельно тоскуем без него, когда его нет, и оно же усмиряет нашу тревогу, даже если его черненькие значки не исполняют нашего желания, ибо мы чувствуем, что хотя они — не произносимое слово, не улыбка, не поцелуй, а все-таки есть в них нечто равнозначащее.

Я написал Альбертине:

«Друг мой! Я как раз собирался Вам написать. Спасибо Вам за Ваши слова о том, что если Вы мне будете нужны, то сейчас же приедете. Какая это благородная черта — верность старому дру-

гу! Я стал еще больше Вас уважать. Но только я не просил Вас приехать и не попрошу. Если бы мы с Вами увиделись, хотя бы даже не скоро, то Вам это не было бы очень тяжело, бесчувственная Вы девушка. А вот для меня, хотя Вы порой склонны были обвинять меня в равнодушии, это было бы тяжким испытанием. Жизнь разлучила нас. Вы приняли решение, которое я считаю мудрым, и приняли как раз вовремя, обнаружив изумительную чуткость: Вы уехали на другой день после того, как я получил от моей матери разрешение на брак с Вами. Я бы сказал Вам об этом, как только, проснувшись, получил от нее письмо (одновременно с Вашим!). Но, быть может, Вы бы тогда подумали, что Ваш отъезд будет для меня большим горем. И, быть может, мы связали бы наши жизни, и — кто знает? — это было бы для нас обоих несчастьем. Если мое предположение правильно, то да воздаст Вам Господь за Вашу мудрость! При встрече мы утратили бы достигнутое. Для меня это было бы новым искушением. А я не могу похвалиться стойкостью в борьбе с искушениями. Вы знаете, какое я непостоянное существо и как скоро я все забываю. Я не стою того, чтобы меня жалели. Вы же сами часто мне об этом твердили. Прежде всего я — человек

привычек. Те привычки, что образовались у меня после Вашего отъезда, еще не очень сильны. Те, которые были у меня при Вас и которые Ваш отъезд поколебал, пока более устойчивы. Но скоро они эту свою устойчивость утратят. Я даже подумал, не воспользоваться ли мне несколькими днями, когда наша встреча еще не причинила мне того, что причинит через неделю, а может быть, и раньше, — простите за откровенность: причинит беспокойство; я подумал, не воспользоваться ли мне этими днями прежде, чем наступит полное забвение, чтобы разрешить с Вами кое-какие пустяковые финансовые вопросы, при разрешении которых Вы, мой добрый и милый друг, могли бы оказать услугу человеку, который считал себя без пяти минут Вашим женихом. В согласии матери я не сомневался, но мне хотелось, чтобы мы оба пользовались свободой, которую Вы с присущей Вам любезностью и душевной щедростью принесли мне в жертву: что можно было допустить в совместной жизни, длившейся несколько недель, то было бы невыносимо и Вам, и мне, если бы нам предстояло прожить вместе всю жизнь. (Я содрогаюсь от одной мысли, что этого едва не случилось: ведь еще несколько секунд — и все было бы кончено.) Я подумал о том, как сделать

нашу жизнь совершенно свободной, и прежде всего решил, что у Вас должна быть яхта: Вы бы совершали на ней путешествия, а я, сгорая от нетерпения, ждал бы Вас в гавани. Я написал Эльстиру и попросил у него совета — я знаю, что Вы одобряете его вкус. А еще мне хотелось, чтобы у Вас был свой автомобиль, свой собственный, в котором Вы разъезжали бы куда Вам заблагорассудится. Яхта почти готова; называется она, согласно выраженному Вами в Бальбеке желанию, «Лебедь». Вспомнив, что Вы предпочитаете роллсы, я заказал автомобиль именно этой марки. Но раз мы больше не увидимся, то я полагаю, что мне не удастся уговорить Вас принять от меня в подарок яхту и автомобиль, — у Вас надобность в них отпала, а мне они тоже ни к чему. Вот я и подумал (я заказывал их через посредника, но на Ваше имя), что, может быть, Вы отмените заказ и, таким образом, избавите меня от не нужных мне яхты и автомобиля. Об этом, как и о *многом другом, нам следовало бы поговорить при свидании. Но так как я снова могу полюбить Вас, хотя и не надолго, то с моей стороны было бы безумием из-за парусного суденышка и роллс-ройса добиваться встречи с Вами и мешать Вашему счастью, раз Вы уверены, что*

можете быть счастливы только вдали от меня. Нет, лучше отказаться от роллса и даже от яхты. Я же никогда не буду ими пользоваться, и они обречены на вечную стоянку: яхта — в гавани, на якоре, без оснастки, автомобиль — в гараже. Я только прикажу выгравировать на яхте... (Боже, как мне страшно ошибиться в названии! Вы пришли бы в ужас от подобного кощунства) стихи Малларме, которые Вы когда-то любили... Помните его стихотворение, начинающееся так:

Неумирающий, прекрасный и безгрешный!

Увы! Сегодня нет уже ни безгрешности, ни красоты. Те же, кто как я, знают, что они очень скоро превратят красоту в нечто посредственное, совершенно невыносимы. А к роллсу скорей подошли бы другие стихи того же самого поэта, о которых Вы говорили, что они недоступны Вашему пониманию.

В колесах яхонты горят.

Я видеть несказанно рад

Огонь, что твердь прожечь стремится.

Пылают горних царств куски.

Умру от предночной тоски
На одинокой колеснице.

Прощай навсегда, моя милая Альбертина! Еще раз спасибо за очаровательную прогулку накануне нашей разлуки. У меня осталось о ней прекрасное воспоминание.

P.S. Я ничего не пишу Вам о сногсшибательных предложениях Сен-Лу (кстати, я понятия не имел о том, что он в Турени), которые, как Вы утверждаете в своем письме, он сделал Вашей тетушке. Это в духе Шерлока Холмса. Что же Вы могли обо мне подумать?»

Разумеется, так же, как я раньше говорил Альбертине: «Я вас не люблю» — для того, чтобы она меня любила; «Я забываю тех, кого я не вижу» — для того, чтобы она как можно чаще на меня взглядывала; «Я решил с Вами расстаться» — для того, чтобы у нее не возникала даже мысль о разлуке — теперь мне очень хотелось, чтобы она вернулась через неделю, и потому я писал: «Видеться с Вами для меня опасно». Жить в разлуке с ней было для меня хуже смерти, — вот почему я писал ей: «Вы правы: совместная жизнь была бы для нас обоих несчастьем». Но, прежде чем написать это неискреннее письмо, убеждая себя,

будто она мне не дорога (только этим я и тешил свое самолюбие в моем былом чувстве к Жильберте, в моем чувстве к Альбертине), а также ради удовольствия высказать то, что волновало меня, но не ее, я должен был бы предусмотреть, что, по всей вероятности, она как раз и ждет от меня отрицательного ответа, то есть подтверждающего мое истинное намерение; по всей вероятности, именно так Альбертина и поняла бы мое письмо, потому что, даже если бы она была глупее, чем на самом деле, все же она ни на минуту не усомнилась бы, что все, о чем я пишу, — ложь. Если даже не принимать во внимание мои тайные намерения, которые она могла уловить в моем письме, то одного факта, что я ей написал, — даже если бы мое письмо не последовало за действиями Сен-Лу, — было достаточно для того, чтобы она поняла, что я хочу ее возвращения, и чтобы ей еще легче было поддеть меня на удочку. Затем, после того, как я предугадал бы возможность отрицательного ответа, мне следовало бы предвидеть, что своей неожиданностью ответ Альбертины всколыхнет в моей душе чувство к ней. И мне следовало, опять-таки прежде чем отправлять письмо, спросить себя: сумею ли я, в случае, если Альбертина ответит мне в том же

духе и не захочет возвращаться, заглушить свою душевную боль, хватит ли у меня сил принудить себя к молчанию, не телеграфировать ей: «Вернитесь» и не отправлять к ней еще какого-нибудь посланца, а это, — после того, как я написал ей, что мы больше не увидимся, — она восприняла бы как неопровержимое доказательство, что я не могу без нее жить, и привело бы к тому, что она еще решительнее стала бы отказываться, я же, не переборов тоски, поехал бы к ней, и — кто знает? — может быть, меня бы не приняли. Да, конечно, так бы оно и было после трех чудовищных оплошностей, после худшей из всех, из-за которой мне осталось бы только покончить с собой у двери ее дома. Но так уж необъяснимо устроен психопатологический мир: неловкий поступок, поступок, которого во что бы то ни стало следует избежать, на поверку оказывается умиротворяющим, поддерживающим в нас — до тех пор, пока мы не узнаем, чего мы достигли, — надежду, мгновенно успокаивает отчаянную боль, которую вызвал отказ.

Словом, если боль невыносима, мы делаем один ложный шаг за другим: пишем письма, обращаемся с просьбой через третьих лиц, являемся сами и доказываем нашей любимой, что не

можем без нее жить.

Но ничего этого я не предузнавал. Мне казалось, что результат моего письма будет совсем другой, то есть письмо заставит Альбертину вернуться елико возможно скорее. Вот почему, предполагая такой результат, я, пока писал письмо, испытывал чувство глубокой нежности. И, однако, пока я писал, я все время плакал. Теперешнее мое состояние отчасти напоминало то, в каком я находился, когда изображал нашу притворную разлуку; мои слова выражали ту же мысль, хотя преследовали другую цель, слова были фальшивые (я из гордости не сознавался в том, что люблю Альбертину) и они были тоже печальны, так как в глубине души я сознавал, что я прав.

Я был как будто бы уверен в том, какое действие возымеет мое письмо, — вот почему я пожалел, что отправил его. Когда я представил себе возвращение Альбертины, несмотря ни на что столь желанное, то неожиданно все голоса, прежде говорившие во мне против бракосочетания с Альбертиной, заговорили с прежней силой. Я надеялся, что она откажется вернуться. Я полагал, что моя свобода, вся моя будущая жизнь зависят от ее отказа; что писать к ней — это было с моей стороны безумием; что мне надо было бы взять

письмо — увы, теперь уже отправленное! — обратно, когда Франсуаза, передавая газету, которую она только что принесла мне наверх, вернула его: она не знала, сколько марок требуется на него наклеить. Но во мне тотчас же произошла перемена: я по-прежнему хотел, чтобы Альбертина не возвращалась, но только чтобы это решение исходило от нее — тогда мое волнение утихло бы, и я вернул письмо Франсуазе. Я развернул газету. В ней сообщалось о кончине Берма. Тут я вспомнил, как я дважды по-разному смотрел «Федру», а теперь в третий раз — и опять иначе — как бы присутствовал при сцене объяснения. Мне казалось, что то, что я слышал в театре и потом так часто мысленно повторял, могло бы составить свод законов, действие которых мне было бы полезно проверить на себе. В нашей душе есть нечто такое, чем мы, не отдавая себе в этом отчета, очень дорожим. Если же у нас этого нет, то лишь потому, что мы откладываем приобретение со дня на день, боясь потерпеть неудачу или почувствовать боль. Именно это и случилось со мной, когда я воображал, что отказался от Жильберты. А все дело вот в чем: в ту минуту, когда мы расстаемся с тем, что для нас дорого, в ту минуту, которая настает, когда мы,

допустим, еще привязаны к девушке, а девушка выходит замуж, мы безумствуем, жизнь, еще так недавно казавшаяся нам безмятежно спокойной, становится для нас невыносимой. Если же мы владеем тем, что нам дорого, мы воображаем, что оно тяготит нас, что мы охотно отделались бы от него. Именно такое отношение было у меня к Альбертине. Однако стоит отнять у нас существо, к которому мы относимся безразлично, — предположим, оно уехало, — и жизнь нам не мила. Ну так что же, «аргумент», почерпнутый из «Федры», не объединял ли оба эти случая? Ипполит собирается уезжать. Федра до сих пор изо всех сил старается разжечь в себе ненависть к нему, но ее мучают угрызения совести, — так говорит она (или, вернее, так ее устами говорит поэт), — а, быть может, она не предвидит последствий и, кроме того, чувствует, что ее любовь не взаимна, — как бы то ни было, она не в силах долее сдерживаться. Она приходит к Ипполиту, чтобы объясниться ему в любви, и это именно та сцена, которую я так часто мысленно повторял:

> *«Поспешный ваш отъезд сулит нам отдаленье».*

Отъезд Ипполита — причина как будто бы не

столь важная, как смерть Тезея. Об этом несколькими стихами ниже говорит Федра, когда ей кажется, что ее не поняли. Можно подумать, что это оттого, что Ипполит отверг ее признание:

> *«Царица, я решусь напомнить, наконец,*
> *Что вам Тезей – супруг, а мне – родной отец».*

Однако, если бы Ипполит не позволил себе этой дерзости и счастье было бы достигнуто, Федра, возможно, не оценила бы его. Но как только она убеждается, что не достигла своей цели, как только Ипполит, вообразив, что он не так ее понял, приносит извинения, то, подобно мне, отдавшему Франсуазе письмо, у нее возникает желание, чтобы отказ исходил от него, она хочет до конца испытать судьбу:

> *«Меня ты понял даже слишком, о жестокий!»*

Мне рассказывали, что Сван временами бывал почти груб с Одеттой — вот так же случалось и со мной по отношению к Альбертине; грубость эта объяснялась тем, что на смену прежней любви пришло сочетание жалости, нежности, потребности сорвать на ком-нибудь зло и видоизменило

первоначальное чувство. Изображается это сочетание в следующей сцене:

> *«Чем ненавистней я, тем ты дороже мне.*
>
> *Из бедствий новое ты вынес обаянье».*

Доказательством того, что «забота о славе» — далеко не самое дорогое для Федры, служит то, что она простила бы Ипполиту и пренебрегла бы наставлениями Энона, если бы она в этот момент не узнала, что Ипполит любит Арисию. Ревность, равносильная утрате счастья, ощутимее утраты доброго имени. Вот когда Федра дает возможность Энону (который представляет собой не что иное, как худшую часть ее души) оклеветать Ипполита, освобождая себя от «заботы его защищать», и таким образом отдает того, кто ею пренебрегает, на волю судьбы, превратности которой для нее, однако, отнюдь не утешительны, ибо за смертью Ипполита следует ее самоубийство. Именно вследствие того, что Расин преуменьшил все эти «янсенистские», как сказал бы Бергот, угрызения совести, которыми Расин наделил Федру, чтобы она считала себя менее виноватой, мне и представлялась эта сцена чем-то вроде предсказания любовных перипетий

моей жизни. Впрочем, эти размышления ничего не изменили в моем решении, и я отдал письмо Франсуазе, чтобы она отнесла его на почту, таким образом предприняв по отношению к Альбертине еще одну попытку, представлявшуюся мне необходимой с той минуты, когда я узнал, что первую попытку осуществить не удалось. И, конечно, мы не правы, полагая, что исполнение нашего желания мало что значит: ведь как только у нас появляется мысль, что оно может не осуществиться, так сейчас же оно вновь овладевает нами, и мы уже не думаем, что не стоит прилагать усилий для того, чтобы его исполнить, как думали, когда были уверены, что стоит нам только захотеть — и оно исполнится. Но и в этом есть свой смысл. Ведь если исполнение желания, если счастье кажутся нам незначительными лишь благодаря уверенности в их достижении, тем не менее они изменчивы, и от них можно ждать огорчений. И огорчения будут тем болезненнее, чем более полно будет осуществлено наше желание; их будет тем труднее вытерпеть, чем счастье окажется, вопреки закону природы, продолжительнее, привычнее. С другой стороны, в обоих этих устремлениях, в особенности — в том, повинуясь которому я хотел, чтобы мое

письмо было отправлено, когда же я считал, что оно отправлено, то жалел об этом, — есть своя логика. Что касается первого из них, то нетрудно понять, что мы бежим вслед за своим счастьем — или несчастьем — и что в то же время нам хочется между собой и этим новым действием, последствия которого вот-вот скажутся, поставить преграду — ожидание, не позволяющее нам впасть в полное отчаяние; словом, мы пытаемся придать нашему устремлению другую форму, которая, по нашему мнению, должна ослабить мучительную боль. Однако другое устремление не менее важно: порожденное уверенностью в успехе нашего предприятия, оно являет собою преждевременное начало разочарования, которое мы испытали бы при удовлетворении желания, начало сожаления о том, что для нас, в ущерб другим, отвергнутым формам, утвердилась именно эта форма счастья.

Я отдал письмо Франсуазе и велел поскорей отнести его на почту. Как только письмо от меня ушло, возвращение Альбертины вновь начало казаться мне неминуемым. Оно не давало проникнуть в мое сознание прелестным картинкам, которые, излучая радость, до некоторой степени уменьшали боязнь опасностей, сопряженных в

моем представлении с возвращением Альбертины. Давно утраченная радость видеть Альбертину рядом с собой опьяняла меня.

Проходит время, и мало-помалу все, что было сказано лживого, становится правдой — я так часто убеждался в этом, экспериментируя на отношениях с Жильбертой! Равнодушие, которое я на себя напускал в то самое время, когда я рыдал беспрестанно, в конце концов обернулось для меня реальностью; постепенно жизнь, о которой я давал Жильберте ложное представление, стала именно такой, какой я рисовал ее, — жизнь развела нас. Вспоминая об этом, я себе говорил: «Если Альбертина упустит несколько месяцев, моя ложь обернется правдой. А теперь, когда самое тяжелое позади, может быть, мне надо желать, чтобы эти месяцы как можно скорей пролетели? Если Альбертина вернется, я буду вынужден отказаться от жизни, основанной на правде, от жизни, которую я еще не в состоянии по достоинству оценить, но которая может постепенно очаровать меня, тогда как мысль об Альбертине

начнет угасать»[5].

После отъезда Альбертины, когда я не боялся, что кто-нибудь за мной подсматривает, я часто плакал, потом вызывал Франсуазу и говорил: «Надо проверить, не забыла ли чего-нибудь мадмуазель Альбертина. И уберите ее комнату — когда она вернется, там должен быть полный порядок». Или: «Я точно помню, что третьего дня, — да, да, накануне отъезда, — мадмуазель Альбертина говорила...» Мне хотелось отравить Франсуазе бесившее меня удовольствие, которое доставлял ей отъезд Альбертины, — отравить внушением, что Альбертина уехала ненадолго; я хотел дать почувствовать Франсуазе, что мне не тяжело говорить об отъезде Альбертины, я хотел, чтобы у Франсуазы создалось впечатление, — так некоторые полководцы изображают вынужденное отступление как заранее предусмотренный

[5] Примечания: 5

Я ведь не утверждаю, что забвение уже не начало своей работы. Но одним из следствий забвения явилось то, что многое неприятное для меня в Альбертине, — скучные часы, какие я провел в ее обществе, — не всплывало более в моей памяти, перестало быть причиной моего желания, чтобы ее больше не было рядом со мной, чего мне хотелось, когда она еще была здесь, а также то, что у меня теперь появилось о ней представление общее, прикрашенное всеми ощущениями, какие вызывали во мне другие женщины. Такаялюбовь, как будто бы делавшая все возможное, чтобы приучить мое сердце к разлуке, но рисовавшая Альбертину нежнее, привлекательнее, чем на самом деле, заставляла меня еще более страстно желать ее возвращения.

стратегический маневр, — что отъезд Альбертины — в моих интересах, что это всего лишь эпизод, цель которого я временно скрываю, а вовсе не разрыв с ней. Без конца называя ее по имени, я хотел впустить хоть немного воздуху, нечто только ей принадлежащее в ее комнату, где после ее отъезда образовалась пустота и где мне теперь нечем было дышать. А кроме того, человеку свойственно облегчать свое страдание, упоминая о нем между прочим, вставляя его в разговор о заказе нового костюма и в распоряжения насчет ужина.

Прибирая в комнате Альбертины, любопытная Франсуаза открыла ящик столика розового дерева, куда моя подружка складывала на ночь разные вещички: «Ох, сударь! Мадмуазель Альбертина забыла кольца — они так и остались в ящике». У меня чуть было не вырвалось: «Надо переслать». Но это можно было истолковать так, что я не убежден, вернется ли Альбертина. «Вот что: ведь она скоро должна приехать — какой же смысл с этим возиться? — помолчав, сказал я. — Дайте-ка их сюда». Франсуаза с недоверчивым видом отдала кольца. Она ненавидела Альбертину, но, судя по себе, думала, что, к примеру, письмо, адресованное моей подружке, переда-

вать мне нельзя, а то я его распечатаю. Я взял кольца. «Осторожней, не потеряйте, — сказана Франсуаза, — они такие красивые! Уж и не знаю, кто их подарил: господин какой или кто другой, но если господин, то, верно, богатый, и со вкусом!» — «Это не я, — ответил я Франсуазе. — Кстати, одно кольцо подарила ей тетушка, а другое она купила». — «Кольца не от одного человека! — вскричала Франсуаза. — Да вы что, шутите? Ведь кольца-то совсем одинаковые, только на одном рубин, а так и орел один и тот же на обоих, и те же инициалы внутри...» Не знаю, понимала ли Франсуаза, что причиняет мне боль, но ее губы раздвинула улыбка, которую она так потом и не смахнула в течение всего нашего разговора. «То есть как один и тот же орел? Вы с ума сошли! На кольце без рубина, правда, есть орел, а на другом выгравировано нечто вроде мужской головы». — «Мужской головы? Где это она вам примерещилась? Я — в очках, и то вмиг разглядела, что это крыло орла. Возьмите лупу — внутри увидите другое крыло, а посредине — голову и клюв. Каждое перышко можно различить. До чего же тонкая работа!» Сейчас сильнее всего была во мне жажда знать, солгала ли Альбертина, и я забыл, что мне нельзя ронять перед Франсуазой

свое достоинство и что мне необходимо отказать ей в жестоком удовольствии, которое она получала, может быть, и не оттого, что мучила меня, — во всяком случае, она была рада, что ей удалось насолить моей подружке. Пока Франсуаза ходила за лупой, у меня спирало дыхание. Взяв лупу, я попросил Франсуазу показать мне орла на кольце с рубином. Ей ничего не стоило помочь мне рассмотреть крылья, такие же, как и на другом кольце, каждое перышко, голову. Она обратила мое внимание на то, что надписи — одинаковые. Правда, на кольце с рубином были и еще надписи, но внутри обоих — инициалы Альбертины. «И как это вы, сударь, сразу не заметили, что кольца — одинаковые! — сказала Франсуаза. — Их не надо рассматривать вблизи — сразу чувствуется, что их делала одна рука, один ювелир, по одному и тому же рисунку. Это можно мигом определить — как хорошую кухню». У Франсуазы к любопытству служанки, пылавшей ненавистью и привыкшей с ужасающей точностью запоминать все подробности, сейчас, при этом расследовании, пришел на помощь ее врожденный вкус, который проявлялся у нее в кухне и который, быть может, сказывался, — что я заметил при отъезде в Бальбек, — в ее манере

одеваться, оживляя в ней кокетство женщины, в молодости — хорошенькой и обращавшей внимание на драгоценности и туалеты. Должно быть, накануне я перепутал коробочки с лекарствами и, выпив слишком много чаю, принял вместо веронала столько таблеток кофеина, что у меня бешено колотилось сердце. Я попросил Франсуазу оставить меня одного. Мне не терпелось увидеться с Альбертиной. До сих пор я был в ужасе от ее лжи, изнывал от ревности к неизвестному, а теперь вдобавок мне стало больно при мысли, что она легко принимает подарки. Я тоже делал ей подарки, это верно, но на женщину, которую мы содержим, мы не смотрим как на содержанку, пока не узнаем, что ее содержит кто-то еще. А раз я не перестал тратить на нее столько денег, значит, я принял ее со всей ее безнравственностью, более того: я не боролся, может быть, даже усилил, а может быть, и породил ее безнравственность. Мы обладаем даром сочинять сказки, чтобы убаюкать свою боль: умирая с голоду, мы убеждаем себя, что какой-нибудь неизвестный оставит нам стомиллионное состояние, — вот так и я представил себе, что Альбертина передо мной чиста, и сейчас она вкратце объяснит мне, что из-за сходства-то она и купила второе

кольцо и приказала выгравировать на нем свои инициалы. Но ее объяснение было еще хрупким, оно не успело пустить в моем разуме свои благодатные корни, и моя боль не могла так скоро утихнуть. Мне вспомнились мужчины: уверяя, что у них очень милые любовницы, они терпят такие же муки. Они обманывают и себя и других. Это не грубая ложь: они проводят со своими возлюбленными поистине упоительные часы, но счастье, которым, как представляется друзьям по их рассказам, одаряют их возлюбленные и которым они гордятся, и счастье, которым женщины наслаждаются наедине с ними и за которое они благословляют своих возлюбленных, перечеркиваются никому кроме этих мужчин, неведомыми часами, когда они страдают, подозревая возлюбленных в неверности, — перечеркиваются теми часами, какие уходят у них на бесплодные поиски истины! Без страданий нет сладости любви, нет радости из-за мелочей, относящихся к женщине, радости из-за сущих пустяков, — в чем мы прекрасно отдаем себе отчет, — пустяков, напоенных, однако, ее ароматом. Сейчас воспоминания об Альбертине меня уже не радовали. Держа оба кольца, я ошеломленно разглядывал безжалостного орла, клюв которого вонзился

мне в сердце, крылья которого с отделявшимися одно от другого перышками унесли мое доверие к подружке и из когтей которого мой помертвевший разум не мог вырваться ни на мгновение, беспрестанно задаваясь вопросами насчет незнакомца, чей орел символизировал, вне всякого сомнения, имя, которое мне никак не удавалось разгадать, — имя человека, которого Альбертина любила, конечно, еще раньше и с которым она наверняка опять недавно встретилась, потому что в один из безветренных, погожих дней, когда мы с ней гуляли в Булонском лесу, я впервые увидел у нее это второе кольцо, то самое, на котором орел словно окунает клюв в алую рубиновую кровь.

Если я с утра до вечера не мучился из-за отъезда Альбертины, то это вовсе не значит, что я о ней не думал. Ее очарование все глубже пропитывало внешний мир, и пусть какая-то часть внешнего мира в конце концов уплывала от меня в даль, все же она будила во мне прежнее волнение, и, если что-нибудь наводило меня на мысль об Энкарвиле, или о Вердюренах, или о новой роли Леа, я не знал, куда мне деваться от тоски. То, что я называл мыслями об Альбертине, на самом деле были мыслями о том, как ее догнать, вернуть, узнать, чем она занята. Если бы в течение этих

нескончаемых часов самоистязания можно было иллюстрировать его, то на иллюстрациях запечатлелись бы вокзал Орсе, банковские билеты, вручаемые г-же Бонтан, Сен-Лу, отправляющий мне телеграмму, но только не Альбертина. На протяжении всей нашей жизни наш эгоцентризм все время видит перед собой цель, к которой направляется наше *я,* но не смотрит на само это *я,* которое не устает эту цель изучать, — вот так и воля, управляющая нашими поступками, опускается до них, но не поднимается до себя, либо, будучи чересчур практичной, требует немедленного проявления себя в действии и пренебрегает знанием, либо устремляется к будущему, пытаясь вознаградить себя за разочарование в настоящем, либо трезвый ум толкает ее не на крутой подъем самоанализа, а на протоптанную дорожку вообра-

жения[6]. В решительные часы, когда мы готовы поставить на карту свою жизнь, нам становится еще нагляднее то огромное место, какое существо, от которого она зависит, занимает в нашей душе, не оставляя в целом мире ничего, что не было бы им перевернуто вверх дном, между тем как образ этого существа уменьшается до размеров микроскопических. Благодаря волнению, которое мы испытываем, мы всюду находим следы его присутствия, а вот его самого — причину волнения — мы не обнаруживаем нигде. В эти дни я был не способен представить себе Альбертину, я был даже близок к тому, чтобы поверить, что не люблю ее, — так моя мать в минуты отчаяния, оттого что она не в состоянии вообразить себя моей бабушкой (за исключением одного случая,

[6] Примечания: 6

Я собирался приобрести одновременно с автомобилем самую красивую по тем временам яхту. Стоила она баснословно дорого, и покупателей на нее не находилось. Кстати: положим, я бы ее купил, так вот, даже если предположить, что мы путешествовали бы не более четырех месяцев в год, содержание яхты обходилось бы мне более чем в двести тысяч франков ежегодно. Это означало бы, что в год мы проживали бы больше полумиллиона. Мог ли я содержать Альбертину долее семи-восьми лет? Но я перед этим не останавливался: когда у меня осталось бы не более пятидесяти тысяч франков ренты, я оставил бы их Альбертине и покончил с собой. Альбертина вынудила меня задуматься над своим я. Поскольку это я живет, вечно о чем-то помышляя, то оно тоже является мыслью — мыслью о том, что его занимает; когда же все прочее случайно выпадет из поля зрения, то оно погружается в думы о себе и видит всего лишь холостой механизм, нечто незнакомое, к чему, для того, чтобы хоть как-то оживить его, оно присоединяет

воспоминание о чьем-нибудь лице, которое оно видело в зеркале. Эта странная улыбка, эти неровно подстриженные усы — все это, без сомнения, исчезнет с лица земли. Когда я, через пять лет, покончил бы с собой, я уже не мог бы думать обо всем, что происходило перед моим умственным взором. Я исчез бы с лица земли и никогда не вернулся бы на землю, моя мысль замерла бы навеки. Мое я показалось бы мне еще ничтожнее, если б я представил себе, что оно не существует. Разве трудно посвятить той, к кому постоянно стремится наша мысль (той, которую мы любим), другое существо, о котором мы не думаем никогда: нас самих? Мысль о смерти, как познание моего я, показалась мне необычной, но ничего неприятного для меня в ней не было. И вдруг от нее повеяло ужасной тоской: ведь если у меня не окажется большей суммы, то только потому, что будут еще живы мои родители, и тут я вспомнил о матери. Мысль о том, что моя смерть будет для нее горем, была для меня невыносимо тяжела.

во время встречи во сне, который был ей до того отраден, что, не пробуждаясь, она попыталась изо всех остававшихся у нее сил продлить его), могла бы винить себя, — да и винила, — в том, что не жалела мать, смерть которой была ей бесконечно тяжела, но черты которой ускользали из ее памяти.

Почему я должен был верить тому, что Альбертина не любит женщин? Потому что она говорила, — в последнее время особенно часто, — что не любит их. Но разве наша совместная жизнь не была сплошным обманом? Альбертина ни разу меня не спросила: «Почему я не могу выходить из дому, когда захочу? Почему вы спрашиваете у других, чем я занята?» Но ведь наша жизнь была действительно настолько необычна, что Альбертина, — раз она не догадывалась, почему, — вправе была задать мне такие вопросы. А моему умолчанию о причинах заточения разве не соответствовало то, что Альбертина так упорно скрывала от меня свои вечные желания, бесконечные воспоминания, непреходящие мечты и надежды? У Франсуазы был такой вид, словно она понимала, что я лгу, намекая на скорое возвращение Альбертины. Ее убеждение было основано на чем-то большем, чем понимание, коим обычно

отличалась наша служанка, полагавшая, что господа не желают быть униженными в глазах своих слуг и посвящают их лишь в то, что всецело не освобождает слуг от соблюдения правил льстивой почтительности. На сей раз ее убеждение как будто зиждилось на чем-то ином, как если бы она пробудила и поддержала в Альбертине мнительность, раскалила в ней злобу, — короче говоря, довела ее до того, что могла бы безошибочно предсказать неизбежность отъезда моей подружки. Если это было так, то придуманная мною версия временного отъезда могла вызвать у Франсуазы только недоумение. Однако мысль, что она теперь зависима от Альбертины, а также преувеличение «выгоды», которую в представлении ненавидевшей Альбертину Франсуазы Альбертина старалась из меня извлечь, могли отчасти поколебать ее уверенность. И когда я намекал, как на вещь вполне естественную, на скорое возвращение Альбертины, Франсуаза смотрела на меня (вот так же инстинктивно и жадно смотрела она на главного повара, который, чтобы ее позлить, читал ей, меняя слова, газету о новой политике, о которой она не знала, достоверно это или нет, например, о закрытии храмов и высылки духовенства, — смотрела, находясь

на другом конце кухни и не имея возможности заглянуть в газету), как будто она могла увидеть, вправду это написано на моем лице или я это придумал.

Когда же Франсуаза заметила, что, написав длинное письмо, я начал искать точный адрес г-жи Бонтан, то ее до сих пор смутное опасение, что Альбертина вернется, окрепло. Но она была буквально потрясена, когда на другое утро передала мне письмо и на конверте узнала почерк Альбертины. Она задавала себе вопрос: не был ли отъезд Альбертины просто-напросто комедией? Это предположение огорчало ее вдвойне: во-первых, оно окончательно подтверждало, что Альбертина будет жить у нас, во-вторых, оно унижало меня, хозяина Франсуазы, а стало быть, и ее, тем, что Альбертина сумела так меня провести. Мне не терпелось прочитать письмо, и все-таки я не удержался и посмотрел Франсуазе прямо в глаза: все надежды из них улетучились, что доказывало неизбежность возвращения Альбертины — так любитель зимних видов спорта, глядя на то, как улетают ласточки, с радостью заключает, что скоро завернут холода. Наконец Франсуаза ушла, и, убедившись, что она затворила за собой дверь, я неслышно, чтобы не выдать своего волнения,

распечатал письмо:

«Друг мой!. Благодарю Вас за все Ваши ласковые слова, я готова исполнить Ваше распоряжение и отменить заказ на роллс, — если только Вы уверены, что у меня есть на это право, — я с Вами согласна. Вы только сообщите мне фамилию Вашего посредника. Вы бы только попались на удочку людям, которым важно одно: продать. Что бы Вы стали делать с автомобилем? Ведь Вы же никуда не выходите. Я глубоко тронута тем, что у Вас осталось приятное воспоминание о нашей последней прогулке. Поверьте, что и я никогда не забуду об этой, вдвойне мрачной прогулке (вдвойне, потому что темнело и потому что мы собирались расстаться) и что она изгладится из моей памяти лишь с наступлением полной темноты».

Я не сомневался, что эта последняя фраза — всего лишь фраза и что Альбертина не могла хранить до смерти столь приятное воспоминание о прогулке, которая безусловно не доставляла ей ни малейшего удовольствия, — ведь ей же не терпелось со мной расстаться. Но я не мог не восхититься талантливостью бальбекской велосипедистки, гольфистки, до знакомства со

мной ничего, кроме «Есфири», не читавшей, и не убедиться в том, как я был прав, полагая, что, живя у меня, она стала развитее. Таким образом, в словах, какие я сказал ей в Бальбеке: «Я думаю, что дружба со мной будет вам полезной, потому что я как раз тот человек, который мог бы дать вам то, чего вам не хватает», в надписи на фотографии: «С уверенностью в том, что я ниспослан Вам Провидением», — в этих словах, которые я, сам в них не веря, говорил единственно ради того, чтобы она нашла во встречах со мной пользу для себя и не изнывала от скуки, которой на нее веяло бы от них, — в этих словах тоже заключалась истина. В сущности, я преследовал ту же цель, когда объявлял ей, что не хочу ее видеть из боязни влюбиться: ведь мне казалось, что при частых встречах мое чувство ослабевает, а разлука воспламеняет его; в действительности же частые встречи вызвали у меня тягу к ней неизмеримо более сильную, чем первое время в Бальбеке, так что и эти мои слова тоже оправдались.

Но, собственно говоря, письмо Альбертины ничего не меняло. Она просила меня сообщить фамилию посредника. Надо было выходить из этого положения, ускорить события, и тут мне в голову пришла одна мысль. Я велел немед-

ленно отнести Андре письмо, в котором ставил ее в известность, что Альбертина у тетки, что мне одиноко, что она доставит мне огромное удовольствие, если поживет у меня несколько дней, что я не намерен ничего скрывать и прошу известить об этом Альбертину. Одновременно я написал Альбертине так, словно еще не получал ее письма:

«Друг мой! Простите мне то, что Вы так хорошо поймете; я терпеть не могу утаек и хочу, чтобы Вы были извещены и ею, и мной. Я был счастлив, что Вы рядом со мной, и у меня, образовалась дурная привычка не быть одному. Так как мы решили, что Вы не вернетесь, я подумал, что женщина, которая лучше, чем кто-либо, Вас заменит, потому что не сочтет нужным настаивать, чтобы я изменился, и будет напоминать мне о Вас, это — Андре, и я попросил ее приехать. Не желая требовать от нее поспешного решения, я попросил ее приехать только на несколько дней, однако, между нами говоря, я надеюсь, что это — навсегда. Как по-вашему: я прав? Вы знаете, что ваша бальбекская стайка всегда представляла собой клеточку общественного организма; она оказывала на меня огромное влияние, и я с большим удовольствием однажды

к ней присоединился. Вне всякого сомнения, под этим влиянием я нахожусь до сих пор. Коль скоро в силу рокового несходства наших характеров и житейской невзгоды моя милая Альбертина не стала моей женой, я все-таки не теряю надежды, что жена у меня будет — не такая очаровательная, как она, но зато обладающая душевными качествами, благодаря которым, может статься, ее ожидает более счастливая жизнь со мной: это Андре».

Но только я отправил письмо, как ко мне в душу закралось подозрение, когда я прочел строки Альбертины: «Я бы с радостью вернулась, если бы Вы написали мне прямо». Что, если она высказала мне это потому, что я действительно не написал ей прямо? А что, если бы я это сделал, она все равно не вернулась бы, так как была бы довольна, узнав, что Андре — у меня и я женюсь на Андре, лишь бы она, Альбертина, была свободна? Ведь теперь она может вот уже целую неделю предаваться своим порокам, не связанная мерами предосторожности, какие я ежеминутно принимал на протяжении полугода в Париже и в каких теперь не было никакой необходимости, а ведь в течение этой недели она безусловно поступала так, как поступала, преодолевая мои

постоянные препятствия. Я говорил себе, что она там, вероятно, злоупотребляет своей свободой, и, конечно, эта мысль не доставляла мне удовольствия, но жизнь Альбертины рисовалась мне в общем виде, без каких-либо особых случаев, с бесчисленным множеством подружек, о существовании которых я мог только догадываться, не останавливая своего умственного взора ни на одной из них и требуя от моего разума чего-то вроде непрерывного движения, отчасти болезненного, и все же то была, — пока я не представил себе точно, кто эта девушка, — боль терпимая. Но она стала мучительной, как только приехал Сен-Лу.

Прежде чем пояснить, отчего его отчет подействовал на меня удручающе, я должен рассказать, что произошло перед самым его приходом и взволновало меня до такой степени, что если и не ослабило болезненного впечатления, произведенного на меня разговором с Сен-Лу, то, по крайней мере, ослабило его значение. А произошло вот что. Сгорая от нетерпения увидеть Сен-Лу, я его поджидал на лестнице (чего не мог бы себе позволить при матери: больше всего на свете она ненавидела именно стояние на лестнице, «переговоров через окно»), как вдруг до меня донеслись слова: «Что? Вы затрудняетесь

выставить неприятного вам субъекта? Да это же легче легкого! Стоит, к примеру, спрятать вещи, которые он должен принести; господа торопятся, зовут его, он ничего не находит, теряет голову; разгневанная тетя скажет: «Да что это с ним?» Когда же он явится с опозданием, все на него накинутся, а у него не будет того, что нужно. Можете быть уверены, что на четвертый или пятый раз его уволят, и уж непременно уволят, если вы испачкаете то, что он должен принести чистым; таких подвохов существует великое множество». Я был до того растерян, что потерял дар речи, оттого что эти жестокие макиавеллиевы слова произнес голос Сен-Лу. А я-то всегда считал его таким добрым, таким отзывчивым к горестям ближних, — вот почему его слова произвели на меня такое же впечатление, как если бы он репетировал роль сатаны; но нет, он говорил от своего имени. «Да ведь каждому нужно заработать себе на жизнь», — сказал его собеседник, — по его голосу я узнал одного из выездных лакеев герцогини Германтской. «Плевать вам на него, если только вы останетесь в выигрыше! — с раздражением возразил Сен-Лу. — Кроме того, вам будет доставлять удовольствие смотреть на козла отпущения. Вы можете опрокидывать чернильницы

на его ливрею перед самым его выходом во время званого обеда, не давать ему ни минуты покоя, и в конце концов он сообразит, что самое лучшее — подобру-поздорову убраться. Да вам и я помогу, скажу тете, что я вами восхищаюсь: как это у вас хватает терпения служить вместе с таким олухом и неряхой?» Тут показался я, Сен-Лу ко мне подошел, но мое доверие к нему было поколеблено, едва я услышал его слова, не вязавшиеся с моим давно сложившимся представлением о нем. И я спрашивал себя, не сыграл ли тот, кто способен так жестоко поступить с несчастным, роль предателя по отношению ко мне, исполняя поручение к г-же Бонтан? И тогда я перестал смотреть на его неудачу как на доказательство того, что не могу надеяться на успех, если Сен-Лу меня оставит. Но пока он был тут, рядом, я все-таки думал о прежнем Сен-Лу, главным образом — как о моем друге, недавно расставшемся с г-жой Бонтан. Прежде всего он мне сказал: «Ты считаешь, что мне надо было звонить тебе чаще, но мне всякий раз отвечали, что ты занят». Моя душевная мука стала невыносимой, когда он сказал: «Начну с того, на чем я остановился в последней телеграмме. Пройдя что-то вроде гаража, я вошел в дом, прошел длинный коридор, а потом меня ввели в гости-

ную». Когда я услышал слова: «гараж», «коридор», «гостиная», и даже еще до того, как Сен-Лу их произнес, мое сердце сжалось сильнее, чем если б меня ударило током, потому что сила, делающая гораздо больше витков в секунду вокруг земли, — не электрический ток, а душевная боль. Сколько раз по уходе Сен-Лу я повторил впившиеся в мой слух слова: «гараж», «коридор», «гостиная»! В гараже можно уединиться с подружкой. А кто знает, чем занимается Альбертина, когда тетки нет дома, в гостиной? Мог ли я теперь вообразить дом, где живет Альбертина, без гаража и без гостиной? Нет, я вообще его себе не представлял, а если и представлял, то крайне расплывчато. Впервые я ощутил боль, когда географически определилось местонахождение Альбертины, когда я узнал, что она пребывает не в двух-трех наиболее вероятных местах, а в Турени; это сообщение ее консьержки отметило у меня в сердце, словно на карте, больное место. Когда же я свыкся с мыслью, что Альбертина — в Турени, то дома я себе не представлял; прежде мое воображение не задерживалось на этой ужасной гостиной, гараже, коридоре, зато теперь глазами видевшего их Сен-Лу я видел ясно комнаты, где Альбертина ходит взад и вперед, где она живет, именно эти

комнаты, а не бесконечное количество комнат предполагаемых, рушившихся одна за другой. Услышав слова: «гараж», «коридор», «гостиная», я решил, что с моей стороны было бы величайшим безумием оставлять Альбертину на целую неделю в этом проклятом месте, истинное, а не призрачное существование которого только что мне открылось. Увы! Когда Сен-Лу мне еще сказал, что в гостиной он слышал, как в соседней комнате громко пела, Альбертина, я с отчаянием в душе понял, что Альбертина, наконец отделавшись от меня, счастлива! Она вновь обрела свободу. А я-то надеялся, что она придет занять место Андре! Мое страдание вылилось в чувство ненависти к Сен-Лу: «Я же просил тебя скрыть от нее твой приход!» — «А ты думаешь, это так просто? Меня уверили, что ее нет дома. Я отлично понимаю, что ты мной недоволен, — это чувствовалось в твоих телеграммах. Но ты ко мне несправедлив: я сделал все, что мог». Альбертина, выпущенная из клетки, в которой она жила у меня в доме, где она по целым дням не имела права заходить ко мне в комнату, теперь вновь обрела для меня всю свою прелесть, она снова стала той, за которой гонится весь свет, она стала чудесной пташкой первых дней.

«Итак, подведем итоги. Что касается денежного вопроса — не знаю, что тебе и сказать; я разговаривал с дамой, которая показалась мне до того деликатной, что я боялся ее покоробить. Когда я заговорил о деньгах, она не сделала: «Уф!» Немного погодя она мне даже сказала, что была тронута, видя, как мы с ней прекрасно понимаем друг друга. Однако все, что она мне сказала потом, было столь деликатно, столь возвышенно — я просто не мог себе представить, что она имеет в виду деньги, которые я ей предлагал: «Мы с вами так прекрасно друг друга понимаем…», сказать по совести, я был форменным ослом. — «Но она, может быть, не поняла, может быть, не слышала, тебе надо было повторить — ведь именно в этом заключался успех всего предприятия». — «По-твоему, она могла не слышать? Я же с ней говорил, вот как сейчас с тобой, она не глухая, не сумасшедшая». — «И она не высказала никаких соображений?» — «Никаких». — «Тебе надо было повторить». — «Да как же я, по-твоему, заговорил бы об этом скова? Только я вошел и увидел ее, я тут же сказал себе, что ты и сам ошибся, и меня заставляешь допустить огромную ошибку, мне было ужасно трудно предлагать ей деньги. И все-таки, чтобы исполнить твою волю, я их ей

предложил, хотя был убежден, что она покажет мне на дверь». — «Да ведь не показала же! Значит, либо она не расслышала и тебе следовало ей повторить, либо вам нужно было продолжить разговор». — «Ты утверждаешь: «Она не расслышала», — потому что ты находишься здесь, а я говорю тебе еще раз: если б ты присутствовал при нашей беседе, ты убедился бы, что не было ни малейшего шума, говорил я громко, она не могла не понять меня». — «Но убеждена ли она по-прежнему, что я всегда хотел жениться на ее племяннице?» — «Нет. Если ты желаешь знать мое мнение, она вообще не верила, что ты намерен жениться. Она мне сказала, что ты сам говорил ее племяннице, что хочешь с ней расстаться. Я даже не знаю, убеждена ли она и сейчас в том, что ты хочешь на ней жениться».

Это меня отчасти успокаивало: значит, я не так уж унижен, значит, меня еще могут любить, значит, я волен сделать решительный шаг. Но я был измучен. «Я огорчен — я вижу, что ты недоволен». — «Да нет же, я тронут, признателен, ты был очень любезен, но мне кажется, что ты мог бы…» — «Я сделал все, что было в моих силах. Никто другой больше бы не сделал, даже не сделал бы столько, сколько я. Обратись к кому-нибудь

еще». — «Да нет, конечно, если б я не был в тебе уверен, я бы тебя не посылал, но твоя неудача лишает меня возможности предпринять еще одну попытку». Я упрекал Сен-Лу в том, что он взялся оказать мне услугу — и сплоховал. Уходя от Альбертины, Сен-Лу столкнулся с входившими девицами. Я уже давно подозревал, что в Турени у Альбертины есть знакомые девушки, но тут впервые это причинило мне острую боль. По-видимому, природа действительно наделила наш разум способностью вырабатывать естественное противоядие, уничтожающее наши бесконечные, хотя и безвредные, предположения, но от девиц, с которыми встретился Сен-Лу, у меня защиты не было. Однако не эти ли именно мелочи жизни Альбертины мне хотелось знать? Не я ли, ради того, чтобы все выведать, попросил Сен-Лу, которого вызывал к себе полковник, во что бы то ни стало заехать ко мне? Не я ли жаждал подробностей, или, вернее, мое возжаждавшее страдание, стремившееся усилиться и питаться ими? Еще Сен-Лу мне сказал, что там его ждал потрясающий сюрприз: поблизости он встретил единственное знакомое лицо, напомнившее ему о былом, — бывшую подругу Рахили, миловидную актрисульку, жившую неподалеку на даче.

И при одном имени актрисульки я себе сказал: «Возможно, именно она»; этого было достаточно, чтобы я представил себе, как в объятиях незнакомой мне женщины Альбертина улыбается и краснеет от удовольствия. Да если вдуматься, почему бы этого не могло быть? Разве я гнал от себя мысли о женщинах с тех пор, как познакомился с Альбертиной? В тот вечер, когда я впервые оказался у принцессы Германтской, когда я к ней вошел, то разве я не думал о девице, о которой говорил мне Сен-Лу и которая захаживала в дома терпимости и к камеристке баронессы Пютбю? Не из-за этого ли я вернулся в Бальбек? Совсем недавно мне захотелось съездить в Венецию, так почему бы Альбертине не поехать в Турень? Но в глубине души я чувствовал, что не расстанусь с Альбертиной, не поеду в Венецию. И даже в глубине души, твердя себе: «Скоро я ее покину», я чувствовал, что не расстанусь с ней, так же, как сознавал, что писать я больше не буду, что вести нормальный образ жизни не смогу, словом, что я не стану делать все, что я ежедневно давал себе клятву сделать, откладывая дело на завтра. Но, что бы я в глубине души ни чувствовал, я полагал, что лучше всего, если Альбертина будет всегда находиться под угрозой разлуки. И, конечно, бла-

годаря моей проклятой хитрости, мне удавалось уверить Альбертину, что эта угроза над ней висит. Во всяком случае, так дальше продолжаться не могло, мне было слишком тяжело оставлять ее в Турени, с этими девицами, с этой актрисулькой; мне была невыносима мысль об ускользающей от меня жизни. Я буду ждать ответа на мое письмо: если Альбертина предавалась пороку, то, увы! днем больше, днем меньше — это уже не имело значения. (Быть может, я говорил это себе потому, что не привык отдавать себе отчет в каждом мгновении ее жизни, — а единственная ничем не занятая ее минута привела бы меня в состояние, близкое к умопомешательству, — и у моей ревности тоже не существовало временных делений.) Но как только я получу от Альбертины ответ и если она не вернется, я поеду за ней; по ее доброй воле или же силой я вырву ее из рук подружек. Кстати, раз я убедился, что Сен-Лу — человек недоброжелательный, то не лучше ли мне теперь же отправиться туда самому? Кто его знает, не возглавляет ли он заговор, цель которого — разлучить меня с Альбертиной?

Неужели из-за того, что я изменился, неужели из-за того, что я не мог тогда предположить, что естественный ход событий однажды приведет

меня к необычайному стечению обстоятельств, я солгал бы ей теперь, если бы написал, как говорил ей в Париже, что желаю, чтобы с ней не произошло несчастного случая? Ах! Если бы с ней произошел несчастный случай, то моя жизнь не была бы отравлена навсегда неутолимой ревностью, я тотчас же вновь обрел бы если и не блаженство, то, по крайней мере, спокойствие благодаря тому, что иссяк бы источник страдания!

Иссяк источник страдания? Да мог ли я в это поверить, поверить, что смерть вычеркивает окружающую действительность, а все прочее оставляет в прежнем состоянии, что она утишает душевную боль у человека, для которого жизнь другого — только причина терзаний, что она утишает боль, хотя ничего не дает взамен? Иссякание страданий! Просматривая в газетах отдел происшествий, я жалел, что мне не хватает смелости сформулировать пожелание, какое сформулировал Сван. Если бы Альбертина стала жертвой несчастного случая, то, останься она жива, у меня был бы предлог поспешить к ней; будь она мертва, я вновь обрел бы, по выражению Свана, свободу жить. Но разве я так думал? Так думал он, этот утонченный ум, полагавший,

что прекрасно знает себя. А как плохо мы знаем свои душевные движения! Позднее, если б он был жив, я мог бы ему объяснить, что его пожелание столь же преступно, сколь и нелепо, что гибель любимой женщины ни от чего не освобождает!

…Презрев самолюбие, я послал Альбертине отчаянную телеграмму, в которой просил ее вернуться на любых условиях, приманивая ее тем, что она может делать все, что хочет, и только просил позволения целовать ее три раза в неделю перед сном. А если бы она ответила: «только один раз», я согласился бы и на это.

Альбертина так и не вернулась. Только успел я телеграфировать ей, как подучил тоже телеграмму. Это была телеграмма от г-жи Бонтан. Мир не создан раз навсегда для каждого из нас. Он дополняется на протяжении нашей жизни событиями, о которых мы даже не подозреваем. Впечатление, какое произвели на меня первые две строчки полученной телеграммы, иссякание страданий не назовешь: «Мой бедный друг! Нашей милой Альбертины не стало. Простите меня за ужасное известие, но ведь Вы так ее любили! Она ударилась о дерево, упав с лошади во время прогулки. Все наши попытки оживить ее оказались тщетными. Почему умерла она, а не я!»

Нет, не иссякание страдания, а страдание, доселе не ведомое, боль от того, что она не вернется. Но разве я не твердил себе, что она, по всей вероятности, не вернется? Я действительно внушал себе это, но теперь убедился, что ни одной минуты этому не верил. Так как мне необходимо было ее присутствие, ее поцелуи, чтобы переносить боль от подозрений, я со времен Бальбека взял себе за правило всегда быть с ней. Даже когда ей случалось уходить, когда я оставался один, я все еще мысленно целовал ее. И я продолжал мысленно целовать ее, когда она уехала в Турень. Мне не так нужна была ее верность, как ее возвращение. И если мой разум мог беспрепятственно поставить под сомнение возможность ее приезда, зато воображение ни на миг не переставало рисовать мне эту картину. После отъезда Альбертины я, представляя себе, как она меня целует, инстинктивно дотрагивался до горла, до губ, которым теперь не суждено уже ощутить прикосновение губ Альбертины; я проводил по своим губам рукой, как это делала моя мама после кончины бабушки, приговаривая: «Бедный малыш! Бабушка так тебя любила! Она никогда больше тебя не поцелует». Все мое будущее было вырвано из сердца. Мое будущее? А разве мне не случалось подумать иной

раз о том, чтобы в будущем жить без Альбертины? Да нет! Значит, я уже давно посвятил ей всю мою жизнь до единого мгновения? Ну конечно! Нерасторжимость моего будущего с ней я так и не научился замечать, и вот только теперь, когда мое будущее было перевернуто вверх дном, я почувствовал, что место, которое оно занимало в моем сердце, пустует. Ко мне вошла Франсуаза — она еще ничего не знала; я злобно крикнул: «В чем дело?» Иной раз произносятся слова как раз о том, что в данную минуту поглощает все наши помыслы, но от них у нас голова идет кругом: «Да что же вы сердитесь? Вам радость. Вот два письма от мадмуазель Альбертины».

Потом я представил себе, что у меня, наверное, были глаза, как у человека, у которого мутится разум. В ту минуту я даже не почувствовал ни радости, ни недоверия. Я был человеком, который видит часть своей комнаты, занятой диваном и гротом. Реальнее этого он ничего не может себе вообразить, и он падает в обморок. Оба письма Альбертины были, вероятно, написаны незадолго до прогулки, во время которой она погибла. Привожу первое:

«Друг мой! Благодарю Вас за доверие, которое Вы мне оказываете, сообщая о своем намерении

пригласить к себе Андре. Я убеждена, что она с радостью примет Ваше предложение и надеюсь, что для нее это будет большое счастье. Она — девушка способная, и она сумеет извлечь пользу из жизни с таким человеком, как Вы, и пожать плоды благотворного влияния, какое Вы оказываете на людей. Я считаю, что Вам пришла в голову прекрасная мысль. Этот шаг может иметь положительное значение и для нее, и для Вас; если же у Вас возникнут какие-нибудь шероховатости (а я уверена, что не возникнут), то телеграфируйте мне — я Вам помогу».

Второе письмо было датировано следующим днем. На самом деле Альбертина, должно быть, написала их одно за другим, и первое датировано неверно. Все то время, которое я, доходя до абсурда, провел, пытаясь угадать ее намерения, я представлял себе, как ее тянет ко мне, и все-таки человек незаинтересованный, человек без воображения, ведущий переговоры о заключении мира, торговец, оценивающий выгоду сделки, могли бы распознать их лучше меня. В письме было всего несколько строк:

«Не поздно ли мне к Вам возвращаться? Если Вы еще не написали Андре, согласились ли бы Вы

пустить меня к себе? Я безропотно приму Ваше решение. Умоляю Вас незамедлительно дать мне о нем знать. Можете себе представить, с каким нетерпением я его ожидаю! Если Вы меня позовете, я сейчас же сяду в вагон. Искренне Ваша Альбертина».

Чтобы смерть Альбертины прекратила мои мучения, Альбертине надлежало разбиться не только в Турени, но и во мне. Чтобы войти в нас, другое существо должно изменить форму, подчиниться требованиям времени; непременно являясь нам в следующие мгновения, оно должно предстать перед нами только в одном каком-нибудь виде, подарить нам только одно какое-нибудь свое изображение. Несомненно, большая слабость живого существа — являть собою простой набор мгновений, но в то же время и огромная сила; такой набор освобождает от груза памяти, воспоминание о мгновении не осведомлено обо всем, что произошло с тех пор; мгновение, отмеченное памятью, еще длится, еще живет, а вместе с мгновением живет и существо, которое на нем запечатлелось. Такое дробление не только оживляет усопшую — оно ее множит. Чтобы утешиться, мне надо было забыть не одну, а бесчисленное множество Альбертин. Когда мне

удалось, утратив ее, развеять свою печаль, мне пришлось проделывать ту же самую внутреннюю работу с другой, с сотней других Альбертин. И тогда моя жизнь совершенно изменилась. Что украшало ее, и не благодаря Альбертине, а при ее жизни, когда я был в одиночестве, это именно воспоминание об определенных мгновениях, постоянное их возрождение. Шум дождя возвращал мне запах сирени в Комбре; игра солнечных лучей на балконе — голубей на Елисейских полях; оглушительный грохот ранним утром — вкус только-только созревших вишен; желание побывать в Бретани или в Венеции — завывание ветра и приближение Пасхи. Наступало лето, дни становились длинными, было жарко. В это время ученики и учителя идут в городские сады, под деревья, готовиться к последним экзаменам, чтобы испить последние капли свежести, которые еще роняет небо, не такое палящее, как днем, но уже безоблачно чистое. Обладая силой воссоздания, равной той, которой я обладал прежде, но которая теперь только мучила меня, я из своей темной комнаты видел, как на улице, в спертом воздухе, заходящее солнце роняет на тянущиеся вверх дома и на церкви рыжевато-молочные блики. И если Франсуаза, вернувшись, нечаянно

перемещала складки больших занавесок, я делал усилие, чтобы не крикнуть от боли, причиненной мне прежним солнечным лучом, показавшим красоту нового фасада Бриквиль л'Оргейез, — еще тогда Альбертина сказала: «Он отреставрирован». Не умея объяснить Франсуазе, отчего я вздыхаю, я простонал: «Мне так хочется пить!» Франсуаза выходила, возвращалась, но я отворачивался, придавленный мучительной тяжестью одного из множества незримых воспоминаний, которые поминутно вспыхивали вокруг меня в темноте. Я видел, что Франсуаза принесла сидр и вишни, тот же сидр и те же вишни, которые мальчишка с фермы принес нам в автомобиль в Бальбеке, — тело и кровь Христову, которых я с радостью причастился бы, — принес вместе с полукружием столовых, темных в жаркие дни. Тогда я впервые подумал о ферме Экортов и сказал себе, что в те дни, когда Альбертина говорила мне в Бальбеке, что она занята или должна пойти куда-то с тетей, она могла быть с подружкой на ферме, где, по ее сведениям, я не имел обыкновения появляться и где, если я случайно задерживался у Марии-Антуанетты, я слышал: «Мы сегодня не видели Альбертину», она говорила подружке то же, что и мне, когда мы с ней гуляли вдвоем: «Ему не

придет в голову искать нас здесь, нам никто не помешает». Чтобы не видеть больше солнечного луча, я просил Франсуазу как следует задернуть занавески. Но луч, столь же разрушительный, по-прежнему пробивался в мои воспоминания. «Здание мне не нравится, оно отреставрировано, пойдем завтра в Сен-Мартен Одетый, а послезавтра в…» А завтра, послезавтра — это будущее совместной жизни, возможно, до конца наших дней, оно начинается, моя душа устремляется к нему, и вот его уже нет: Альбертина мертва.

Я спрашивал Франсуазу, который час. Шесть часов. Наконец-то, слава Богу, скоро должна спадать удушливая жара, которую, хоть я и жаловался на нее Альбертине, мы оба так любили! День вечерел. Но какой мне был от этого прок? Становилось по-прежнему свежо; когда мы, всегда вместе, останавливались в Бальбеке, то на возвратном пути мне была видна вдалеке, за последней деревней, как будто бы недосягаемая станция, а теперь надо было мгновенно остановиться у края пропасти: Альбертина умерла. Теперь было недостаточно задернуть занавески; я пытался закрыть глаза и заткнуть уши моим воспоминаниям, чтобы вновь и вновь не увидеть изжелта-оранжевую полосу заходящего солнца,

чтобы не слышать невидимых птиц, перекликавшихся на деревьях вокруг меня — меня, которого так нежно целовала та, что теперь мертва! Я старался избежать ощущения росистой вечерней листвы, ощущения подъема и спуска верхом на осле. Но меня снова охватывали эти ощущения и уводили довольно далеко от настоящего времени, чтобы дать мне возможность отступить, взять разбег и с новой силой ударить меня мыслью о том, что Альбертина умерла. Нет, мне уже не пойти в лес, не погулять среди деревьев. Но разве были бы для меня менее мучительны бескрайние равнины? Сколько раз, отправляясь на поиски Альбертины, я шел по большой Криквильской равнине, сколько раз возвращался с ней то в тумане, когда туман напоминал нам огромное облако, то ясным вечером, когда от лунного света земля утрачивала свою внешность и уже в двух шагах от нас казалась потусторонней, — какой днем она представляется только издали, — когда лунный свет воздвигал над полями и лесами небосвод, и деревья, днем — словно агатовые, затопляла небесная лазурь!

Смерть Альбертины должна была бы обрадовать Франсуазу, и, надо отдать ей справедливость, у нее хватило благовоспитанности и тактич-

ности не притворяться опечаленной. Однако неписаные законы ее античного кодекса и средневековые традиции крестьянки, плачущей, как в эпической песне, были более древними, чем ее ненависть к Альбертине и даже к Евлалии. И однажды, в конце обеда, когда я не, успел скрыть свое тяжелое душевное состояние, она заметила, что я плачу, — заметила благодаря инстинкту бывшей крестьянской девушки, которая ловила и мучила животных, не испытывая ничего, кроме удовольствия, душила цыплят, варила живьем омаров, а когда я болел, наблюдала, словно за ранами, которые она наносила бы сове, за моим кислым выражением лица, о чем она потом объявляла замогильным голосом, как о предзнаменовании беды. Но ее комбрейские правила поведения не позволяли ей легко воспринимать слезы, печаль, все, что она считала таким же вредным, как снять свою фуфайку или есть насильно. «Сударь! Не плачьте, вы заболеете!» Чтобы унять мои слезы, она напускала на себя такой встревоженный вид, будто у меня текла кровь. К несчастью для нее, я был с ней холоден, и это сразу положило конец ее излияниям, на которые она питала надежду и которые, пожалуй, были бы искренними. К Альбертине Франсуаза,

вероятно, относилась, как к Евлалии, и теперь, когда моя подружка больше не могла извлечь из меня никакой выгоды, она перестала ненавидеть ее. Тем не менее она упорно показывала мне, что от нее не укрылись мои слезы и что, только следуя дурному примеру своих родных, я старался не «подать виду», что плачу. «Не плачьте, сударь», — на сей раз более спокойным тоном и скорее для того, чтобы я убедился в ее проницательности, чем желая показать, что она мне сочувствует, сказала она и прибавила: «Так должно было случиться, она была уж чересчур счастлива, бедняжка, и не ценила своего счастья».

Как медленно угасает день из-за долгих летних вечеров! Бледный призрак дома напротив без конца писал акварелью в небе свою упорную белизну. Наконец в квартире становилось темно, я натыкался на мебель в прихожей, но в выходившей на лестницу двери, в темноте, которая сначала казалась мне непроглядной, застекленная часть просвечивала и синела: то была синева цветка, крылышка насекомого, которая могла бы показаться мне прекрасной, если бы я не чувствовал, что это последний отблеск, разящий, как сталь, самым сильным ударом, который в своей неутолимой жестокости снова наносил

мне день.

В конце концов наступала кромешная тьма, но тогда довольно было одной-единственной звездочке засиять во дворе, около дерева, чтобы пробудить во мне воспоминания о наших вечерних поездках в автомобиле в леса Шантепи, словно окутанные покрывалом из лунного света. И даже на улицах мне случалось отделить, отграничить естественную чистоту лунного луча от искусственных огней Парижа, Парижа, над которым луч торжествовал, превращая на миг в моем воображении город в природу с ненарушимой тишиною полей, с болезненным воспоминанием о наших прогулках с Альбертиной. Ах, скорее бы проходила ночь! Но стоило повеять утренней прохладой, как я начинал дрожать, — она мне возвращала ласковость лета, когда из Бальбека в Энкарвиль, из Энкарвиля в Бальбек мы столько раз провожали друг друга до рассвета! У меня была только одна надежда на будущее, гораздо более болезненная, чем страх, — надежда забыть Альбертину. Я знал, что рано или поздно забуду ее, как забыл Жильберту, герцогиню Германтскую, как забыл свою бабушку И это самое справедливое и самое жестокое наказание — полное забвение, тихое, как забвение кладбищенское,

наказание разобщением с теми, кого мы любили больше всех на свете, наказание предвидением этого забвения, как неизбежного, забвения тех, кого мы все еще любим. По правде говоря, мы знаем, что это состояние не болезненное, что это состояние равнодушия. Но, не в силах думать одновременно о том, чем я был, и о том, чем я стану, я в отчаянии перебирал в уме всю эту низку ласк, поцелуев, приятных снов, которую мне следовало как можно скорее сорвать с себя навсегда. Взметы радостных воспоминаний, рассыпавшихся при одной мысли, что Альбертина умерла, угнетали меня столкновением встречных потоков, и я не мог усидеть на одном месте, я вскакивал и внезапно в ужасе замирал: тот же рассвет, который я видел при расставании с Альбертиной еще лучезарным и жарким от ее поцелуев, теперь протягивал над занавесками свой страшный кинжал, и его холодная белизна, твердая и неумолимая, пронзала мне сердце.

Вскоре с улицы начинал доноситься шум, позволявший судить по его нарастающей звонкости о все усиливающейся жаре. Но в жаре, которая несколько часов спустя пропитается запахом вишен (я считал их средством замены одного другим, средством превращения из эйфорического,

возбуждающего состояния в состояние, вызывающее депрессию), — в жаре было не вожделение, а тоска по уехавшей Альбертине. Кстати сказать, воспоминание о всех моих желаниях было тоже болезненно и тоже полно ею, как и воспоминания о наслаждениях. Прежде мне казалось, что присутствие Альбертины в Венеции меня бы стесняло (без сомнения, потому, что у меня было неясное предощущение, что ее присутствие будет мне необходимо), теперь же, когда Альбертины не было больше на свете, мне расхотелось туда ехать. Альбертина представлялась мне помехой между мной и всем остальным, потому что она заключала в себе для меня все, из нее, как из сосуда, я мог бы черпать все, что угодно. Теперь, когда сосуд был разбит, я больше не чувствовал в себе решимости все объять, не было ничего такого, от чего я в подавленном состоянии не отвернулся бы, предпочитая вовсе ни до чего не дотрагиваться. Таким образом, моя разлука с Альбертиной ни в коей мере не открывала передо мной поле наслаждений, которое я считал для себя закрытым из-за ее присутствия. Кстати, помеха, каковой она в самом деле, быть может, являлась для меня в путешествиях, в наслаждениях жизнью, лишь скрывала от меня, как это

всегда случается, другие помехи, которые возникали теперь неустраненными, теперь, когда исчезла та. Именно поэтому, когда приятный визит мешал мне работать, то на другой день, если я оставался один, я уже больше не работал. Пусть болезнь, дуэль, понесшая лошадь заставят нас посмотреть смерти в лицо — мы все-таки будем вволю наслаждаться жизнью, любострастием, неизведанными странами, которых мы оказались бы вдруг лишены. А стоит опасности миновать — и мы возвращаемся к прежней скудной жизни, лишенной всех этих наслаждений.

Конечно, короткие ночи длятся недолго. Зима в конце концов вернется, и мне уже не надо будет бояться воспоминаний о прогулках с Альбертиной до зари. Однако разве первые заморозки не принесут мне с собой, сохранив его в холоде, зародыш моих первых желаний, то время, когда я посылал за ней в полночь, когда время для меня так томительно тянулось до ее звонка, до ее звонка, которого теперь я могу ждать напрасно целую вечность? Не принесут ли мне заморозки зародыш моих первых тревог, то время, когда мне два раза казалось, что Альбертина не вернется? Тогда я виделся с ней изредка. Но даже эти промежутки времени между ее приходами,

когда Альбертина неожиданно появлялась месяца через полтора из глубины неведомой мне жизни, куда я и не пытался заглядывать, я сохранял спокойствие, пресекавшее робкие попытки возмущения, которым моя ревность ни за что не давала объединиться, создать в моем сердце могучую противоборствующую силу. Насколько эти промежутки времени могли бы быть утешительными в те времена, настолько потом, при мысли о них, они насквозь пропитались для меня страданием с тех пор, как Альбертина стала пропадать, с тех пор, как она перестала быть мне безразличной, и особенно теперь, когда она уже больше не придет; таким образом, январские вечера, когда она появлялась, — отчего они и были мне так дороги, — начали бы теперь своим резким ветром навевать на меня прежде мной не испытанную тревогу и приносили бы, ныне — гибельный, сохранившийся в холоде первый зародыш моей любви. И при мысли, что любовь возродится в холодную пору, которая еще со времен Жильберты и моих игр на Елисейских полях казалась мне безотрадной; когда я представлял себе, что вернутся ночи, похожие на нынешнюю, завьюженную ночь, в течении которой я тщетно ждал Альбертину, я, как больной, ложащийся

так, чтобы груди его было свободно дышать, больше всего опасался для моей измученной души возвращения сильных холодов, и я говорил себе, что, пожалуй, тяжелее всего будет пережить именно зиму.

Воспоминание об Альбертине было слишком тесно связано у меня со всеми временами года, так что утратить его я не мог, — тогда мне пришлось бы позабыть обо всех временах года, а потом снова их узнавать — так старый паралитик снова учится читать; мне пришлось бы отказаться от целого мира. Только моя смерть, — говорил я себе, — была бы способна облегчить боль от ее утраты. Я не считал, что чья бы то ни было смерть невозможна, невероятна; смерть настает без нашего ведома, в крайнем случае — вопреки нашей воле, в любой день. И я страдал бы от повторения любых дней, которые не только природа, но и обстоятельства искусственные вводят в то или иное время года. Скоро снова придет день, когда я прошлым летом поехал в Бальбек, где моей любви, еще не отделимой от ревности и не тревожившейся о том, чем Альбертина занималась весь день, суждено было претерпеть столько видоизменений, прежде чем стать той, до такой степени не похожей на прежние, которая владе-

ла мной в последнее время; этот последний год, когда начала меняться и завершилась судьба Альбертины, казался мне наполненным событиями, многоликим и долгим, как столетие. Это будет воспоминание о более поздних днях, но о днях в предыдущие годы, о воскресных ненастных днях, когда, однако, все люди выходили в послеобеденную пустоту, когда шум дождя и ветра предлагал мне посидеть дома, изображая «философа под крышей»; с каким нетерпением я ждал приближения того часа, когда Альбертина, обещавшая прийти не наверное, все-таки пришла и впервые приласкала меня, прекратив ласки только из-за Франсуазы, которая принесла лампу, приближения этого мертвого времени, когда Альбертина проявляла ко мне любопытство, когда у моего чувства к ней были все основания для надежды! Но даже в более раннее время года эти славные вечера, когда агентства, пансионаты, приотворенные, как часовни, купающиеся в золотой пыли, венчают улицы полубогинями, которые переговаривались в двух шагах, и мы дрожали от нетерпения проникнуть в их мифологическую сущность, напоминали мне о ревнивом чувстве Альбертины, не дававшей к ним приблизиться.

К воспоминанию о часах, как о единицах

времени, неотвязчиво прилипало душевное состояние, превращавшее их в нечто уникальное. Когда я позже, в первый погожий, почти итальянский, денек заслышу рожок пастуха козьего стада, этот день постепенно сольется с тревогой, вызванной во мне вестью, что Альбертина — в Трокадеро, может быть с Леа и еще с двумя девушками, потом сольется с привычной и покорной нежностью, почти как к супруге, хотя тогда я смотрел на Альбертину как на помеху, а приведет ее ко мне Франсуаза. Мне казалось, что от телефонного звонка Франсуазы, сообщившей мне о почтительной покорности Альбертины, возвращавшейся вместе с ней, во мне растет самомнение. Я ошибался. Если я действительно испытывал душевный подъем, то только оттого, что благодаря звонку Франсуазы я почувствовал, что моя любимая принадлежит мне, живет только мною, даже на расстоянии, следовательно, у меня нет необходимости размышлять, считает ли она меня своим супругом и хозяином, раз она возвращается по первому моему зову. Таким образом, телефонный звонок обратился для меня в частицу нежности, исходившей издалека, из квартала Трокадеро, где, как оказалось, находилось средоточие счастья, направлявшее ко мне

успокоительные молекулы, успокоительный бальзам, предоставляя мне, наконец, целебную свободу мысли, которой прежде у меня не было, не ставя каких-либо преград между мной и музыкой Вагнера, и я ждал назначенного приезда Альбертины без всякого волнения, без малейшего нетерпения, в котором я не сумел разглядеть счастье. А источником счастья, нахлынувшего на меня при мысли, что она подчиняется мне, что она принадлежит мне, — этим источником была любовь, а не самомнение. Теперь мне было бы совершенно безразлично, если бы в моем подчинении находилось полсотни женщин, возвращающихся по первому моему зову, и даже не из Трокадеро, а хотя бы из Индии. Но в тот день, чувствуя присутствие Альбертины, которая, пока я был один у себя в комнате, занималась музыкой, Альбертины, которая послушно возвращалась ко мне, я вдыхал рассеянную, словно облако пыли на солнце, одну из субстанций, тех, что спасительны для тела или же облегчают душу. Потом, через полчаса, вернулась Альбертина, потом — прогулка с Альбертиной; и ее возвращение и прогулка показались мне скучными, потому что теперь я чувствовал себя уверенно, но, благодаря этой уверенности, они, начиная с той минуты,

когда Франсуаза сказала мне по телефону, что везет Альбертину обратно, проливали, драгоценное спокойствие на последовавшие часы, превратили их словно в другой день, не похожий на предыдущий, потому что у него была совсем иная духовная основа, преображавшая его в особенный день, который присоединился к многообразию других, какие я знал до сих пор, и который я не мог себе представить, так же как мы не могли бы себе представить отдых в летний день, если бы такие дни не существовали наряду с теми, какие мы уже прожили, день, о котором я не могу сказать, что я его помню, потому что к его спокойствию я примешивал теперь страдание, а тогда я еще не страдал. Но гораздо позднее, когда я начал мало-помалу двигаться в обратном направлении в том времени, которое я прожил до того, как я полюбил Альбертину такой любовью, что мое израненное сердце смогло безболезненно расстаться с умершей Альбертиной, до того, когда я смог наконец вспомнить без мучений день, когда Альбертина должна была пойти с Франсуазой за покупками вместо того, чтобы остаться в Трокадеро, я с наслаждением вспомнил этот день, принадлежавший к духовному времени, которого я прежде не знал; я наконец вспомнил

этот день точно, не прибавляя к моим воспоминаниям тяжелых переживаний, — напротив, я вспомнил его, как вспоминают иные летние дни, которые казались невыносимо жаркими, пока мы их проживали, но из которых лишь после солнечного удара берут пробу без примеси чистого золота и незапятнанной лазури.

Итак, думы об этих нескольких годах не только окрашивали память об Альбертине, из-за которой они причиняли жгучую боль, в разные цвета, сообщали ей различные свойства, наслаивали на нее прах от этих лет или часов, послеобеденные июньские минуты, зимние вечера, лунный свет перед рассветом на море, когда я возвращался домой, снег в Париже на опавших листьях в Сен-Клу, но и воссоздавали особое, постепенно складывавшееся во мне представление об Альбертине, о ее внешнем облике, каким я. его себе рисовал в каждое из мгновений, более или менее высокое напряжение наших встреч в этот период, который казался теперь или словно раскиданным или как будто бы сжатым, тревогу, какую она вызывала во мне ожиданием, ее обаяние, надежды, проявившиеся, да так и не сбывшиеся; все это меняло характер моей тоски о прошлом совершенно в такой же степени, как менялись

связанные с Альбертиной вызывавшиеся светом или запахом ощущения, — оно дополняло каждый из солнечных годов, которые я прожил и которые своими веснами, осенями, зимами навевали на меня грусть уже одним воспоминанием, неотделимым от нее, и удваивало его чем-то вроде года чувств, когда часы определялись не положением солнца, а ожиданием встречи, когда долгота дней и температура измерялись взлетом моих надежд, степенью нашей близости, изменением черт ее лица, ее путешествиями, количеством и слогом ее писем ко мне, более или менее страстным желанием увидеть меня по возвращении. И, наконец, изменения погоды, каждый день — новая Альбертина, — все это порождалось не только восстановлением в памяти таких явлений. Но еще до того, как я полюбил Альбертину, каждая новая Альбертина творила из меня другого человека с другими желаниями, потому что у него было другое мировосприятие, и если накануне он мечтал только о бурях и об отвесных скалах, то сегодня, если нескромный весенний день просовывал запах роз между ставен его приотворенного сна, он просыпался готовым к поездке в Италию. И разве изменчивость моего душевного состояния, меняющееся влияние

моих взглядов не уменьшили в какой-то день зримость моей любви, разве однажды не усилили они ее до бесконечности, приукрасив все вплоть до улыбки, а в другой день вспенив до размеров бури? Человека ценят потому, что у него есть, а есть у него только то, чем он реально обладает в данный момент, и столько наших воспоминаний, наших настроений, наших мыслей отправляется в дальнее странствие, такое дальнее, что мы в конце концов теряем их из виду! Тогда мы уже больше не можем выстроить их в один ряд со всем нашим существом. Но у них есть тайные тропы, по которым они к нам возвращаются. И порой вечером я засыпал, почти не жалея об Альбертине, а просыпался захлестнутым волнами воспоминаний, нахлынувших во мне одна на другую, когда я еще был в твердой памяти и прекрасно их различал. Тогда я оплакивал то, что мне было так хорошо видно и что еще накануне представлялось мне грезой. Имя Альбертины, ее кончина перевернули все: ее измены неожиданно вновь обрели все свое прежнее значение.

Как я мог думать об Альбертине как о мертвой, когда в моем распоряжении были и теперь те же образы, из которых, когда она была жива, я видел то тот, то другой? Стремительно мчавшуюся,

склонившись над своим велосипедом, какою она была в дождливые дни, несущуюся на своих мифологических колесах, Альбертину вечернюю, когда мы брали с собой шампанского в Шантепийские леса, с изменившимся резким голосом, чуть зардевшимся только на скулах лицом, которое я едва различал в темноте автомобиля, приближаясь к освещенным луною местам, и которое я теперь тщетно пытался вспомнить, увидеть вновь во тьме, которой уже не будет конца. Итак, то, что мне надо было в себе убить, представляло собой не одну, а бесчисленное множество Альбертин. Каждая соответствовала какому-нибудь мгновению, в которое я снова попадал, когда снова видел соответствующую ему Альбертину. Эти мгновения прошлого не неподвижны; в нашей памяти сохранилось движение, которое увлекло их к будущему — к будущему, в свою очередь ставшему прошлым, увлекая туда и нас. Я никогда не ласкал Альбертину дождливых дней, Альбертину в прорезиненном плаще, мне хотелось попросить ее снять эту броню — это означало бы познать вместе с ней любовь полей, братство, возникающее во время путешествий. Но теперь это было уже невозможно: Альбертина скончалась. Из боязни развратить ее, я вечерами всякий

раз прикидывался непонимающим, когда она делала вид, что предлагает мне любовные утехи, которых, быть может, она не стала бы требовать от других и которые вызывали во мне теперь бурнопламенную страсть. Я не испытывал бы ничего похожего с другой, но в поисках той, что вызвала во мне такое чувство, я обегал бы весь свет, но так и не встретил бы, потому что Альбертина была мертва. Казалось, мне слеповато сделать выбор между двумя событиями, решить, какое из них истинное, — настолько факт смерти Альбертины, явившейся ко мне из далекой от меня жизни, из ее пребывания в Турени, находился в противоречии со всеми моими мыслями, относившимися к ней, моими желаниями, сожалениями, моей нежностью, гневом, ревностью. При разнообразии воспоминаний о ее жизни, при обилии чувств, напоминавших о ее жизни и дополнявших ее, трудно было поверить, что Альбертина мертва. Да, обилие чувств, потому что память, сохраняя мою нежность к ней, оставляла за ней право на разнообразие. Не только Альбертина, но и я представлял собой лишь цепь мгновений. Моя любовь к ней была не простым чувством: любопытство к неизведанному осложнялось позывами плоти, а почти родственная нежность — то равнодушием,

то безумной ревностью. Я представлял собой не одного мужчину, а целое войско, где были без памяти влюбленные, равнодушные, ревнивцы, каждый из которых ревновал не одну и ту же женщину. И, конечно, именно это помогло бы мне выздороветь, но я не хотел выздоравливать. Отдельные подробности, когда их много, могут совершенно незаметно быть замещены другими, а этих вытеснят новые, так что в конце концов произошло такое смешение, которого не было бы, если б мои чувства были однородны. Сложность моей любви, моей личности усиливала, разнообразила мои страдания. Однако они каждую минуту могли построиться в две шеренги, из-за их противостояния я всегда зависел от Альбертины, моя любовь всегда была или проникнута доверием, или пронизана ревнивыми подозрениями.

Если мне трудно было поверить, что Альбертина, жившая во мне полной жизнью (ощущавшая на себе двойную упряжь — упряжь настоящего и упряжь минувшего), мертва, то, пожалуй, странно было подозревать ее в грехах, на которые сегодня она, лишенная плоти, — а она так любила плоть! — и души, быть может, прежде мечтавшая согрешить, уже не способна и за них не отвечает, и эта бессмысленность подозрений причиняла

мне такую боль, которую я благословил бы, если бы увидел в ней преимущество духовной реальности материально не существующей личности перед отсветом впечатлений, какие она прежде на меня производила, — перед отсветом, который должен был угаснуть волей судьбы. Поскольку женщина уже не испытывала наслаждения с другими, то она была бессильна возбуждать во мне ревность, если только мое нежное чувство к ней нынче же и прошло бы. Но вот это-то как раз и было недостижимо, потому что Альбертина тот же час обрела свое воплощение в воспоминаниях, в которых она жила. Если мне стоило только подумать о ней — и она оживала, то ее измены не могли быть изменами мертвой, потому что мгновение, когда измена совершалась, становилось мгновением настоящим — и не только для Альбертины, но и для того из неожиданно всплывших в памяти моих «я», которое ею любовалось. Таким образом, ни одна хронологическая неточность не разлучила бы неразлучную пару, ибо к каждой новой виноватой тотчас подбирался бы жалующийся ревнивец — и всегда в одно и то же время. В последние месяцы я держал Альбертину взаперти у себя дома. Но в моем теперешнем воображении Альбертина была

свободна: она дурно пользовалась свободой, она продавалась то одному, то другому. Когда-то я часто думал о неясном будущем, развертывавшемся перед нами, пытался что-нибудь в нем прочесть. И теперь то, что находилось впереди меня как двойное будущее (такое же тревожащее, как и будущее единичное, потому что оно было такое же смутное, такое же трудное для понимания, такое же таинственное, даже еще более жестокое, потому что я был лишен возможности или же иллюзии, как в будущем единичном, воздействия на него, а еще потому, что двойное будущее продолжится столько же, сколько моя, жизнь, а моей подружки не будет рядом со мной, и меня, страдавшего из-за нее, некому будет утешить), — это уже не Будущее Альбертины, а ее Прошлое. Ее Прошлое? Это не совсем точно сказано, потому что для ревности не существует ни прошлого, ни будущего, а то, что ревность воображает, всегда является Настоящим.

Изменения в атмосфере производят изменения в человеке, пробуждают забытое «я», вступают в борьбу с успокоительностью привычки, придают яркость тем или иным воспоминаниям, усиливают страдания. Могло ли быть для меня что-нибудь важнее того, что наступившая погода напомина-

ла мне, например, ту, при которой Альбертина в Бальбеке под частым дождем Бог знает зачем отправлялась на далекие прогулки в обтягивавшем ее фигуру плаще? Если б она была жива, то в такую же точно погоду она, конечно, пошла бы в Турень на столь же продолжительную прогулку. Раз она была лишена этой возможности, то я не должен был бы страдать при этой мысли, но, как у ампутированных, малейшее изменение погоды возобновляло боль в несуществующей части тела.

Неожиданно во мне воскресло воспоминание, не посещавшее меня уже давно, потому что оно оставалось растворенным во флюиде и, кристаллизуясь, присутствовало в моей памяти незримо. Итак, много лет назад, когда мы говорили о купальнике, Альбертина покраснела. Тогда я ее не ревновал. Но с того дня мне все хотелось у нее спросить, помнит ли она этот разговор и отчего она тогда покраснела… Это желание тем сильнее меня беспокоило, что, как мне сказали, две подружки Леа захаживали в душевую и, по слухам, не только для того, чтобы принять душ. Но из боязни вызвать гнев Альбертины, а может быть, в ожидании лучших времен, я все откладывал разговор, потом и вовсе выкинул

это из головы. И вдруг, некоторое время спустя после смерти Альбертины, я поймал себя на этом воспоминании, в котором было и нечто раздражающее, и нечто таинственное, свойственное загадкам, оставшимся навек неразрешенными из-за кончины единственного существа, которое могло бы пролить свет. Что мне стоило хотя бы попытаться узнать, не предавалась ли в то или иное время Альбертина в этой душевой чему-либо недозволенному или, по крайней мере, чему-либо такому, что могло показаться подозрительным? Послав кого-нибудь в Бальбек, я, пожалуй, кое-что разведал бы? При ее жизни я, конечно, ничего бы не разузнал. Но языки развязываются самым странным образом, и если люди не боятся обозлить виновную, то с удовольствием рассказывают о ее поступке. Наше воображение так и осталось недоразвитым, упрощенным (оно не претерпело бесчисленных изменений, помогающих примитивно мыслящим личностям в изобретении таких вещей, которые потом, в последующих усовершенствованиях, они сами едва ли бы узнали, как, например, барометр, воздушный шар, телефон и т д.); наше воображение позволяет нам увидеть одновременно очень небольшое количество предметов, вот почему

воспоминание о душевой занимало все поле моего внутреннего зрения.

Порой на темных улицах сонной грезы я сталкивался с одним из тех дурных снов, которые на первый взгляд не имеют большого значения, оттого что навеянная ими тоска длится не более часа после пробуждения — она похожа на неприятное ощущение, появляющееся при искусственном усыплении; более пристальный взгляд тоже не придал бы им большого значения: ведь они возникают очень редко, не более раза в два-три года. Кроме того, остается все же неясным, видели ли мы их уже когда-нибудь; скорей всего видели, и это восприятие проецируется на них иллюзией, подразделением (назвать его раздвоением было бы слишком слабо). Конечно, раз у меня время от времени шевелились сомнения, связанные со смертью Альбертины, то мне давно бы уже надо было заняться расследованием. Но та же самая душевная вялость, то же малодушие, которые заставляли меня подчиняться Альбертине, когда она была со мной, связывали мне руки и с тех пор, как я ее не видел. Однако из многолетней слабости порой рождается вспышка энергии. Я решился начать расследование, хотя бы частичное.

Можно было подумать, что в жизни Альбертины ничего другого и не было. Я задавал себе вопрос: кого бы направить для проведения расследования на месте, в Бальбеке? Наиболее подходящим мне показался Эме. Не считая того, что он великолепно знал местность, он принадлежал к породе простых людей, живущих своими интересами, преданных тем, кому они служат, безразличных ко всему, что относится к области морали, людей, о которых (так как, если мы хорошо им платим, они являются послушным орудием нашей воли, так как им не свойственны нескромность, мягкотелость, нечестность, так как им не свойственны угрызения совести) мы говорим: «Это славный народ!» В них мы можем быть совершенно уверены. Когда же Эме уехал, я подумал, насколько было бы лучше, если бы вместо того, чтобы посылать на дознание его, спросить об этом у самой Альбертины. И тотчас мысль о вопросе, который я хотел бы, который, как мне казалось, я собирался ей задать, вызвав ее на откровенность не благодаря усилию воскрешения, а как бы случайно, в результате одной из встреч, во время которых, словно на «моментальных» фотографиях, человек выглядит живее, и воображая наш разговор, я сознавал его

несбыточность; я только что под иным углом зрения посмотрел на то, что Альбертина мертва, Альбертина, вызывавшая во мне нежное чувство, испытываемое нами только к отошедшим, которых не может приукрасить изображение, навевавшая на меня грусть, какую навевают уход навсегда и мысль, что бедная девочка останется на всю жизнь несчастной. И тотчас во мне происходил резкий поворот от угрызений совести и от ревности к отчаянию разлученного.

Теперь мое сердце было переполнено не злобными подозрениями, а проникнутым жалостью воспоминанием о часах доверительной нежности, проведенных с сестрой, которую уносила смерть, не о том, чем была для меня Альбертина, а о том, что мое сердце, жаждавшее разделять общие волнения любви, мало-помалу убедило меня, что представляла собой Альбертина; тогда я отдавал себе отчет, что жизнь, которая мне опостылела (по крайней мере, так мне казалось), все-таки восхитительна; даже к кратким мгновениям, проведенным за разговором с ней о каких-нибудь пустяках, примешивалось сладострастие, которое тогда, надо сознаться, ускользало от моего внимания, но из-за которого я так упорно ждал этих мгновений; от мелочей, о

которых я вспоминал: от ее движения в автомобиле, относившегося ко мне, или от ее намерения сесть в своей спальне напротив меня, в моей душе поднимался вихрь обожания и тоски, которому с каждой минутой все легче становилось завоевывать ее всю целиком.

Комната, где мы ужинали, никогда мне не нравилась, но я говорил, что это комната Альбертины, чтобы моя подружка была довольна, что у нее есть своя комната. Теперь занавески, сиденья, книги перестали быть мне безразличными. Не одно только искусство способно сообщать очарование и таинственность предметам самым незначительным; власть ставить их от нас в самую тесную зависимость возложена и на страдание. Я не обращал ни малейшего внимания на ужин, который мы перед моим уходом к Вердюренам делили по-братски, по возвращении из Булонского леса, от величественной ласковости которого я теперь отводил полные слез глаза. Восприятие любви не сливается с восприятием других явлений жизни, и оно не затеривается среди них, в чем легко можно убедиться. Отнюдь не внизу, в уличной суматохе и в суете ближайших домов, — нет, это когда стоишь далеко, то с горы, где города совсем не видно или же он пред-

ставляется едва различимой громадой, можно, благодаря сосредоточенности одиночества и темноты, оценить уникальность, несокрушимость, чистоту линий высокого собора. Теперь я сквозь слезы силился обнять воображением Альбертину, припоминая все серьезное и справедливое, что я услышал от нее в тот вечер.

Однажды утром мне привиделся повитый туманом, вытянувшийся в длину холм; я как будто бы ощутил теплоту от выпитой чашки молока, и в то же время сердце у меня сжалось до боли при воспоминании о дне, когда Альбертина пришла меня навестить и когда я в первый раз поцеловал ее. А все дело было в том, что я услышал щелчок калорифера, который только что нагрели. И я в бешенстве швырнул приглашение от г-жи Вердюрен, которое принесла мне Франсуаза. В разном возрасте мы по-разному воспринимаем смерть; впечатление от первого ужина в Ла-Распельер настойчиво, все усиливаясь, возвращалось ко мне теперь, когда Альбертина была мертва, возвращалось вместе с мыслью, что Бришо продолжает ужинать у г-жи Вердюрен, которая принимает всегда и, вероятно, будет принимать еще долгие годы. Имя Бришо сейчас же напомнило мне конец того вечера, когда он меня проводил, когда

я снизу увидел свет от лампы Альбертины. Прежде я думал об этом не раз, но подходил к этому воспоминанию с разных сторон. Ведь если наши воспоминания действительно наши, то через потайную дверь в частном доме, о которой мы до сих пор не имели понятия и которую кто-нибудь из нашего окружения распахивает с той стороны, где мы еще никогда не проходили, мы все равно попадаем в свой дом. Представляя себе пустоту, которая ждала меня теперь, когда я возвращался к себе, думая о том, что я больше не увижу снизу комнату Альбертины, где свет погас навсегда, я понял, что в тот вечер, когда я прощался с Бришо и мне стало скучно, мне было жаль, что я не могу пойти погулять и поухаживать за кем-нибудь еще, на меня нашла блажь, а нашла она только потому, что сокровище, отблески которого падали на меня сверху, находилось, как я полагал, в моем пожизненном владении, потому, что я слишком низко оценил его, оттого-то я и считал, что оно не способно доставить удовольствие, само по себе ничтожное, но обладавшее притягательной силой, какую ей сообщало мое воображение. Я понял, что жизнь, какую я вел в Париже, в своем доме, который был ее домом, являла собой воплощение глубокого чувства, о котором я мечтал, но

которое я считал недостижимым в ночь, проведенную Альбертиной под одной кровлей со мной в Гранд-отеле в Бальбеке.

По возвращении из Булонского леса, перед последним вечером у Вердюренов, у нас с Альбертиной состоялся разговор, и мне было бы тяжело, если б он не состоялся, — он отчасти раскрыл Альбертине особенности моего интеллекта и доказал нам обоим, что кое в чем наши взгляды сходятся. Конечно, если б я приехал к Вердюренам в хорошем настроении, то это не значило бы, что Альбертина относится ко мне лучше других моих знакомых. Разве не стыдила меня маркиза де Говожо в Бальбеке: «У вас была возможность проводить время с Эльстиром, человеком гениальным, а вы проводите время с родственницей?» Интеллект Альбертины мне нравился потому, что она оставляла во мне ощущение мягкости, — так мы определяем ощущение, какое оставляет у нас в нёбе иной плод. В самом деле, когда я думал об интеллекте Альбертины, мои губы инстинктивно вытягивались и наслаждались воспоминанием, которое я предпочел бы считать чисто внешним и которое состояло бы в объективном превосходстве другого существа. Конечно, я знал людей с более высоким интеллектом. Но безграничная

любовь или ее эгоизм приводят к тому, что с людьми, которых мы любим, с людьми, интеллектуальный и моральный уровень которых мы меньше всего способны определить, мы все чаще и чаще соприкасаемся по мере того, как растут наши желания и опасения, мы не отделяем их от нас, и в конце концов они становятся для нас лишь огромным и плохо видным вместилищем для наших нежных чувств. У нас нет такого же четкого представления о нашем теле, в котором постоянно скапливается столько неприятных и нежащих ощущений, как о дереве, доме, прохожем. Я не пытался лучше узнать Альбертину изнутри, и это, возможно, была моя ошибка. Что касается ее обаяния, то я долго изучал лишь положение, которое она занимала в моей жизни в разные годы и которое, как это я с удивлением отметил, она меняла, усложняя его, в зависимости от изменений моего восприятия. Равным образом мне следовало понять ее характер так же, как мы стараемся понять характер любого человека — тогда, быть может, мне стало бы ясно, почему она так упорно скрывает от меня свою тайну, и, быть может, тогда я избежал бы противоречия между необъяснимым раздражением, какое она постоянно вызывала во мне, и

неотвязным предчувствием разрыва, послужившего причиной ее смерти. И мне было безумно жаль ее и в то же время стыдно, что она умерла, а я остался жить. Когда страдания мои утихали, мне казалось, что я отчасти искупаю ее кончину, потому что женщина нам необходима, если она обогащает нашу жизнь счастьем или мукой, ибо нет такой женщины, обладание которой было бы нам дороже обладания истинами, которые она открывает, причиняя нам боль. В такие минуты, сопоставляя смерть моей бабушки со смертью Альбертины, я уверял себя, что на моей совести — два убийства, и простить их мне может только малодушие общества. Я мечтал быть понятым ею, оставаясь непонятым, так как полагал, что ради великого счастья быть понятым надо, чтобы тебя не понимали, хотя у многих это получалось бы удачнее. Мы стремимся быть понятыми потому, что хотим, чтобы нас любили, и потому, что мы сами любим. Понимание других безразлично, их любовь случайна. Радость, какую мне доставляло постижение хотя бы к неглубоких мыслей Альбертины и ее душевных движений, вызывала не их действительная ценность, а то, что это обладание было еще одной ступенью в полном обладании Альбертиной, обладании,

которое стало моей целью и мечтой с тех пор, как я ее увидел. Когда мы говорим о женщине, что она «мила», мы, по всей вероятности, пытаемся представить себе удовольствие, какое мы испытываем при виде ее, — так говорят дети: «Моя дорогая кроватка, моя любимая подушечка, мой миленький боярышник». Кстати, мужчины никогда не говорят о женщине, которая им не изменяет: «Она так мила!» и часто говорят это о женщине, которая им не верна.

Маркиза де Говожо не без основания утверждала, что духовно Эльстир богаче. Но мы же не можем подходить с одной меркой к женщине, которая, как и все остальные, находится вне нас, лишь вырисовываясь на горизонте нашего воображения, и к женщине, которая из-за неправильного определения места, какое она занимает в нашей жизни, в связи с ошибкой, допущенной в результате несчастного случая, но ошибкой укоренившейся, поселилась в нас. Так вот, загляните в прошлое и спросите нас, смотрела ли она тогда-то в вагончике приморской железной дороги на женщину — припомнить это было бы для нас так же мучительно трудно, как хирургу — искать у нас в сердце пулю. Самая обыкновенная булочка. которую мы едим, доставляет нам больше удо-

вольствия, чем все садовые овсянки, крольчата и куропатки, подававшиеся Людовику XV. Когда мы лежим на склоне горы, то стебельки, которые колышатся в нескольких шагах от нас, скрывают от нашего взгляда ее заоблачную вершину, если нас отделяет от нее огромное пространство.

Кстати, наше заблуждение состоит не в том, что мы оцениваем ум и привлекательность любимой женщины, как бы малы они ни были. Наша ошибка — в равнодушии к привлекательности и уму других. Ложь возмущает нас, а доброта вызывает в нас чувство признательности только, когда они исходят от любимой женщины, а между тем и ложь, и признательность должны вызывать у нас и другие. У физического желания есть два чудесных свойства: оно отдает должное уму, и оно зиждется на прочных основах нравственности. Мне уже не обрести вновь это божественное существо, с которым я мог говорить обо всем, которому я мог довериться. Довериться? Но разве другие девушки не были со мной доверчивее Альбертины? Разве с другими у меня не было более длительных бесед? Дело в том, что и доверие, и беседа — это производное. Вполне они удовлетворяют нас сами по себе или не вполне — это не имеет существенного значения, если их не

озаряет любовь, а божественна только она одна. Я опять увидел, как Альбертина садится за фортепиано, темноволосая, розовощекая, чувствовал на губах ее язык, который пытался их раздвинуть, такой родной, несъедобный, но питательный, таивший в себе огонь и росу, и когда она только проводила им по моей шее, по животу, эти непривычные, но все же порожденные ее плотью ласки, представлявшие собой как бы изнанку ткани, своими легкими касаниями создавали иллюзию таинственной сладости проникновения.

Я даже не могу сказать, что утрата этих счастливых мгновений, которые ничто и никогда мне уже не вернет, приводила меня в отчаяние. Чтобы прийти в отчаяние, надо было дорожить жизнью, а моя будущая жизнь могла быть только несчастной. Отчаяние владело мной в Бальбеке, когда я наблюдал, как начинается день, и отдавал себе отчет, что ни один день не принесет мне счастья. С тех пор я оставался все тем же эгоистом, но «я», к которому я был прикреплен, того самого «я», тех запасов жизненных сил, от которых зависит инстинкт самосохранения, — всего этого больше не существовало; когда я думал о своих силах, о своих жизненных силах, о том, что было во мне лучшего, то я думал о некоем сокровище, кото-

рым я обладал, обладал втайне, так как никто не мог в целом испытать скрытое во мне чувство, вызывавшееся сокровищем и которого теперь никто уже не мог меня лишить, потому что у меня его больше не было. И откровенно говоря, если я им и обладал, то лишь потому, что мне захотелось вообразить, что у меня оно есть. Я не допустил неосторожности — глядя на Альбертину губами и давая ей место в моем сердце, я не принудил ее жить внутри меня; и еще одной неосторожности я не допустил: я не смешал семейную жизнь с чувственным наслаждением. Я пытался убедить себя, что наши отношения — это и есть любовь, что мы по взаимному согласию ведем жизнь, именуемую любовью, так как Альбертина покорно отвечает мне поцелуем на поцелуй. И, привыкнув к этой мысли, я потерял не женщину, которую я любил, а женщину, которая любила меня, мою сестру, моего ребенка, мою ласковую возлюбленную. Я был и счастлив и несчастлив, что было неведомо Свану, потому что когда он любил Одетту и ревновал ее, он почти ее не замечал, и все же ему было так тяжко в тот день, когда она в последнюю минуту отменяла с ним свидание, идти к ней. Но потом она стала его женой, и была ею до самой его смерти. А у меня все было напротив: пока я

так ревновал Альбертину, будучи счастливее Свана, она жила у меня. Я осуществил то, о чем Сван так часто мечтал и что он осуществил, когда это было ему уже безразлично. И, наконец, я не следил за Альбертиной так, как он следил за Одеттой. Она от меня сбежала, она была мертва. В точности никогда ничто не повторяется. Даже самые похожие по одинаковости характеров и сходству обстоятельств жизни, до того, что их можно представить себе как симметричные, во многом остаются противоположными. И, конечно, основная противоположность (искусство) еще не проявлялась.

Утратив жизнь, я утратил бы немного: я утратил бы оболочку, раму шедевра. Безразличный к тому, что я мог бы теперь в эту раму вставить, но счастливый и гордый при мысли, что в ней было, я опирался на воспоминание о счастливых мгновеньях, и благодаря этой моральной поддержке я испытывал такое блаженство, которого не могла бы лишить меня даже близость смерти. Когда я в Бальбеке посылал за Альбертиной, как скоро она прибегала, задерживаясь только чтобы надушить волосы ради моего удовольствия. Такие бальбекские и парижские картинки, которые мне доставляло удовольствие воскрешать, — это

были еще совсем недавние и так быстро перевернувшиеся страницы ее короткой жизни. Все, что осталось мне лишь как воспоминание, для нее были действием, быстрым, как действие трагедии, действием, устремленным к смерти. Люди живые развиваются в нас, человек ушедший — вне нас (это я глубоко чувствовал в те вечера, когда отмечал у Альбертины душевные качества, которые существовали только в моей памяти), люди живые противодействуют взаимовлиянию. Напрасно я, пытаясь узнать Альбертину, а потом завладеть ею, стремился подчиниться необходимости свести опытным путем к элементам, сходным в мелочах, с элементами нашего «я», которое в нашем воображении отличается от окружающего, тайну любого существа, любой местности, подтолкнуть все наши большие радости к самоуничтожению. Я не мог этого достичь, не повлияв на жизнь Альбертины. Может быть, ее привлекли моя состоятельность, возможность выйти за меня замуж; может быть, ее удерживала ревность; может быть, ее доброта, или ум, или сознание вины, или изобретательное хитроумие вынудили ее принять мое предложение, а меня заставили все плотнее сжимать вокруг нее кольцо неволи, являвшейся плодом моих

раздумий, но имевшей для жизни Альбертины важные последствия, неволи, вызвавшей к жизни необходимость остро поставить в ответ мне новые проблемы, теперь все более и более мучительные для моей психики: ведь она сбежала, чтобы разбиться, упав с лошади, которой при мне у нее не было бы, оставив мне, даже после смерти, подозрения, выяснение которых, если б ей суждено было вернуться, было бы для меня, пожалуй, более жестоким, чем открытие в Бальбеке, что Альбертина знала мадмуазель Вентейль, — ведь со мной не будет больше Альбертины, которая могла бы меня разуверить. И эта долгая жалоба души, которой кажется, будто она томится в заключении у самой себя, только внешне похожа на монолог, потому что отзвуки действительной жизни заставляют ее отклоняться, и потому что такая жизнь — психологический опыт, субъективный, спонтанный, но на некотором расстоянии поставляющий материал для развития действия в романе, чисто реалистическом, из другой жизни, и перипетии этого романа в свою очередь отклоняют кривую и изменяют направление психологического опыта. Сцепление обстоятельств было сжато, наш роман протекал бурно, несмотря на замедления, перерывы и ко-

лебания вначале, — и, как в некоторых новеллах Бальзака или балладах Шумана, стремительная развязка! В течение последнего года, показавшегося мне целым столетием, Альбертина со времен Бальбека вплоть до отъезда из Парижа меняла свое отношение к моей мечте, и так же резко, независимо от меня и даже часто без моего ведома, изменилась сама. Надо было осознать всю эту хорошую, безмятежную жизнь, которая так скоро оборвалась и которая, однако, представала передо мной во всей своей полноте, казалась почти бесконечной, которая, однако, не могла длиться вечно, но была мне необходима. Необходима, но, быть может, изначально не предопределена, потому что я не узнал бы Альбертину, если бы не прочел в археологическом труде описания бальбекской церкви; если бы Сван, пояснив мне, что это почти персидская церковь, не направил моего внимания в сторону нормандского византизма; если бы сооружавшие в Бальбеке комфортабельный санаторий не уговорили мою родню исполнить мое желание и отправить меня в Бальбек. Разумеется, в вожделенном Бальбеке я не обнаружил ни персидской церкви, о которой я мечтал, ни вечных туманов. Прекрасный поезд, отправлявшийся в час тридцать пять, и тот не

соответствовал моему о нем представлению. Но в обмен на то, что рисует нам наше воображение и что мы с таким трудом сами пытаемся обнаружить, жизнь дает нам нечто такое, от чего было далеко наше воображение. Кто бы мне сказал в Комбре, когда мне так тяжело было прощаться с матерью, что мне суждено излечиться от этих волнений, но что потом они возникнут снова, но не из-за матери, а из-за девушки и что эта девушка сперва будет казаться мне в морской дали лишь цветком, который мой взгляд будет, однако, ежедневно высматривать, цветком мыслящим, в мыслях которого я так по-детски мечтал занять значительное место, и что ей не известно, что я знаком с маркизой де Вильпаризи? Из-за прощального поцелуя с незнакомкой мне предстояло спустя несколько лет страдать, как в детстве, когда мать не собиралась прийти ко мне. Так вот, если бы Сван не рассказал мне о Бальбеке, я бы так и не узнал необходимой мне Альбертины, любовью к которой почти до краев наполнилась моя душа. Ее жизнь, вероятно, была бы дольше, а моя свободна от того, что теперь терзало ее. Я себе говорил, что Альбертина погибла вследствие моего из ряда вон выходящего эгоистического чувства, так же, как я умертвил мою

бабушку. Даже познакомившись с Альбертиной в Бальбеке, я мог бы не полюбить Альбертину так, как полюбил впоследствии. Когда я порывал с Жильбертой, зная, что когда-нибудь полюблю другую, я был далек от мысли, что до Жильберты я не мог полюбить никого, кроме нее. Что же касается Альбертины, то у меня не было никаких сомнений, я был уверен, что мог полюбить не ее, что это могла быть другая. Для меня этого было достаточно, чтобы г-жа де Стермарья не отменила бы свидания, когда предполагалось, что я буду с ней ужинать в Булонском лесу. Тогда еще было время, и тогда именно ради г-жи де Стермарья заработало бы мое воображение, по воле которого мы видим в женщине совершенно особенную индивидуальность; она представляется нам в своем роде единственной, нам необходимой, предназначенной нам самой судьбой. С точки зрения, близкой к психологической, я склонен был бы утверждать, что мог бы полюбить такой же из ряда вон выходящей любовью и другую женщину, но не всякую другую. Альбертина, толстушка, брюнетка, была не похожа на Жильберту, стройную, рыжеволосую, но от них обеих пышало здоровьем, и в минуты ласк у них обеих появлялся взгляд, который трудно было понять.

Обе принадлежали к числу женщин, мимо которых прошли бы мужчины, способные совершать безумные поступки ради других, ничего не говоривших моему сердцу. Меня нетрудно было уверить, что чувственная, волевая индивидуальность Жильберты воплотилась в Альбертину, девушку несколько иного склада, это верно, но с которой теперь, после всего происшедшего, когда я над этим задумывался, у нее было много общего. Почти всем мужчинам свойственно одинаково простужаться, заболевать, для этого им необходимо определенное стечение обстоятельств; естественно, что мужчина влюбляется в женщину определенного типа, типа, кстати сказать, весьма распространенного. Первые взгляды, брошенные на меня Альбертиной, взгляды, от которых я размечтался, не очень отличались от взглядов Жильберты. Я был не далек от мысли, что загадочность, чувственность, целеустремленная хитрость Жильберты для моего искушения на сей раз воплотились в Альбертину, во многом отличавшуюся от Жильберты и, однако, чем-то на нее похожую. Альбертина, вследствие того, что наша совместная жизнь была совсем другого характера, притом что к клубку моих мыслей, вследствие болезненной тревожности постоянно

наматывавшемуся, не могла прицепиться ни единая ниточка отвлечения и забвения, не могла просочиться струя живой жизни, в отличие от Жильберты ни на один день не лишалась того, что я после случившегося несчастья воспринимал как женское обаяние (не действовавшее на других мужчин). Но Альбертина была мертва. Я ее забуду. Кто знает, не обрету ли я в один прекрасный день то же полнокровие, ту же беспокойную мечтательность и не шевельнется ли во мне новое чувство? Но в каком обличье на сей раз они явятся мне, этого я предвидеть не мог. При помощи Жильберты я не мог представить себе Альбертину, я не мог представить себе, что я ее полюблю, что воспоминание о сонате Вентейля заслонит от меня его септет. Даже в пору моих первых встреч с Альбертиной для меня не исключалась возможность полюбить другую. Если бы я встретился с Альбертиной на год раньше, она бы, пожалуй, показалась мне даже бесцветной, как серое небо, когда заря еще не занялась. Если бы я изменил свое отношение к ней, она бы тоже изменилась. Девушка, подошедшая к моей кровати в тот день, когда я написал г-же де Стермарья, была уже не той, какую я знал в Бальбеке: то ли это был взрыв, происходящий в женщине в минуту

полового созревания, то ли в силу обстоятельств, о которых я так и не догадался. Во всяком случае, даже если та, которую я полюбил бы, была бы на нее отчасти похожа, то есть если мой выбор не был бы совершенно свободен, значит, в этом было что-то роковое, значит, меня тянуло к чему-то более широкому, чем индивидуальность, — меня тянуло к определенному типу женщин; в данном случае я не принимаю во внимание необходимость моей любви для Альбертины, я говорю только о себе: меня это удовлетворяло. О женщине, чье лицо мы видим чаще, чем свет, потому что даже с закрытыми глазами мы ни одно мгновенье не перестаем целовать ее чудные глаза, ее точеный нос, и делаем все для того, чтобы снова их увидеть, об этой женщине мы отлично знаем, что это могла быть другая, если бы мы жили в разных городах, если бы мы гуляли по разным улицам, если бы бывали в гостях не в одних домах. Единственная ли она? — думаем мы. Она многочисленна. И, однако, она вся собранная, она не ускользает от наших любящих глаз, в течение очень долгого времени ее никто нам не заменит. Дело в том, что этой женщине посредством магических заклинаний удалось привести в действие множество частиц нашей нежности; они жили

в нас обособленно, а она собрала их, соединила, не оставив ни малейших промежутков, мы же, не лишив ее характерных черт, наделили ее тем, что казалось нам в любимой женщине главным: твердостью. Если кто-нибудь из нас — для нее единственный из тысячи, и, может быть, даже последний, то она для нас единственная, ради которой мы живем. Конечно, я прекрасно понимал, что эта любовь — не необходимость, не только потому, что у меня мог бы завязаться роман с г-жой де Стермарья, но, если бы и не завязался, я же знал, что такое любовь, что моя любовь ничем не отличается от любви других людей, я видел, что мое чувство шире Альбертины, что оно, не зная ее, окружает ее со всех сторон подобно тому, как прибой окружает крохотную подводную скалу. Но, живя с Альбертиной, я не мог освободиться от цепей, которые сам же и выковал; в силу привычки связывать личность Альбертины с чувством, которого она не старалась внушать мне, я в конце концов поверил, что она испытывает его, — так привычка сообщает простому совпадению мыслей у двух феноменов, как утверждает одна философская школа, иллюзорную силу, непреложность закона причинности. Я надеялся, что мои связи и мое состояние избавят

меня от душевных мук, и, может быть, довольно скоро, так как мне казалось, что это лишит меня способности чувствовать, любить, воображать; я завидовал бедной деревенской девушке, которой отсутствие связи, даже телеграфа, дает возможность долго мечтать после пережитого горя, которое она не может усыпить искусственно. Теперь я отдавал себе отчет, что бесконечное расстояние, как между герцогиней Германтской и мной, только в обратном порядке, может быть мгновенно сведено на нет при помощи суждения, мысли, для которой высокое положение в обществе — всего лишь вялая, податливая масса. Мои связи, мое состояние, средства, которыми меня заставляли пользоваться, положение в обществе и культурный уровень эпохи достигли только того, что я отодвинул срок расплаты за схватку с несгибаемой волей Альбертины, на которую не действовало никакое давление: так в современных войнах артиллерийская подготовка и изумительная дальнобойность орудий только отдаляют мгновение, когда человек бросается на человека и когда побеждает человек, у которого сердце работает лучше. Конечно, я мог телеграфировать, позвонить по телефону Сен-Лу, связаться с бюро Тура, но разве ожидание не было бы бес-

полезным? И разве результат не был бы равен нулю? Разве деревенские девушки, стоящие на низшей ступени общества, или же люди, которым недоступны новейшие достижения техники, меньше страдают, так как у них более скромные запросы, потому что им не так жаль того, что они всегда считали недостижимым и из-за этого как бы и несуществующим? Мы сильнее желаем ту, что готова отдаться; надежда опережает желание, сожаление — усилитель желания. Отказ г-жи де Стермарья поужинать со мной в Булонском лесу воспрепятствовал тому, чтобы я полюбил именно ее. Этого же могло бы быть достаточно для того, чтобы я ее полюбил, если бы потом увиделся с ней вовремя. Как только я узнал, что она, по всей вероятности, не приедет, — это предположение казалось мне маловероятным, но в конечном итоге оказалось правильным, — когда мне в голову пришла мысль, что, может быть, кто-то ревнует ее отдаляет от всех и я никогда больше ее не увижу, я так страдал, что готов был отдать все только за то, чтобы ее увидеть, — это было одно из самых тяжелых моих переживаний, которые прекратились с приездом Сен-Лу. Как только мы достигаем определенного возраста, наши увлечения, наши возлюбленные становятся детищами

наших переживаний; наше прошлое, наши физические недостатки определяют наше будущее. В особенности это касается Альбертины: пусть для меня не было необходимостью, что я полюблю именно ее, — я не принимаю во внимание одновременные увлечения, — мое прошлое было вписано в историю моей любви к ней, то есть к ней и к ее подружкам. Ведь это была не такая любовь, как к Жильберте, а нечто возникшее в результате разделения между несколькими девушками. Будь все дело только в Альбертине, мне могло бы быть хорошо с ее подружками, потому что они казались мне похожими на нее. Как бы то ни было, колебания были возможны, мой выбор переходил от одной к другой, и если я предпочитал такую-то, а другая опаздывала на свидания, отказывалась от встреч, я чувствовал, как во мне зарождается к ней любовь. Андре несколько раз собиралась приехать ко мне в Бальбек, а меня подмывало солгать ей, чтобы дать почувствовать, что она мне не дорога: «Ах, если бы вы приехали на несколько дней раньше, а теперь я полюбил другую! Ну да ничего, вы меня утешите!» Незадолго до приезда Андре Альбертина меня обманывала, сердце у меня изболелось, я думал, что никогда больше ее не увижу, а именно

ее-то я и любил. Когда же Андре приехала, я ей сказал, не лукавя (как сказал в Париже, услыхав о знакомстве Альбертины с мадмуазель Вентейль) то, что она могла принять за чистую монету и что я непременно объявил бы ей, и в тех же самых выражениях, если б накануне был счастлив с Альбертиной: «Ах, если бы вы приехали раньше! А теперь я полюбил Другую!» И еще об этом случае с Андре, которую заменила Альбертина. После того, как я услышал, что она была знакома с мадмуазель Вентейль, мое чувство раздвоилось, в существе своем оставаясь единым. Но произошло это раньше, когда я почти рассорился с обеими девушками. Та, которая сделала бы первые шаги к примирению, вернула бы мне душевное спокойствие, но полюбил бы я другую, которая по-прежнему была бы со мной в ссоре. Это не значило бы, что я навеки соединился бы с первой, потому что она утешила бы меня — хотя и не очень удачно — после того, как меня обидела другая, другую же я в конце концов забыл бы, если бы она не вернулась. В иных случаях я бывал убежден, что или та или другая ко мне вернется, но в течение некоторого времени ни та, ни другая не возвращались. От этого моя тоска удваивалась, и удваивалась моя любовь, предо-

ставляя мне возможность разлюбить ту, которая вернется, но страдая из-за обеих. Это удел определенного возраста, который может наступить очень рано. Влюбленность в. девушку, с которой ты порываешь, проходит, у тебя остается о ней какое-нибудь одно воспоминание, черты ее лица расплываются, ее душа уходит в небытие, но у тебя возникает новая, бездоказательная мысль: чтобы ты больше не страдал, она должна сказать: «К вам можно?» Моя разлука с Альбертиной в то утро, когда Франсуаза сообщила: «Мадмуазель Альбертина уехала», была словно неясным прообразом стольких других разлук! Чтобы понять, что ты влюблен, хотя бы даже угадать, влюблен ли ты, необходим день разлуки.

В тех случаях, когда определяется выбор, напрасное ожидание, отказ, воображение, разгоряченное страданием, так проворно делают свое дело, благодаря им только что зародившаяся бесформенная любовь, которой столько еще оставаться бы в виде наброска к картине, растет с такой. сумасшедшей скоростью, что временами интеллект, не угнавшийся за сердцем, в изумлении восклицает: «Ты — безумец. Какие еще новые мысли причиняют тебе такую острую боль? Все это — мир нереальный». И в самом деле: если

вам снова изменили, то здоровых развлечений, которые бы успокоили вашу сердечную болезнь, достаточно для того, чтобы убить любовь. Если бы моя жизнь с Альбертиной, в сущности, не была бы мне необходима, все равно она стала бы для меня неизбежной. Когда я любил герцогиню Германтскую, я трепетал от страха: я говорил себе, что с ее неодолимыми средствами соблазна — соблазна не только красоты, но и положения в свете, богатства, она может позволить себе отдаваться множеству мужчин, а у меня будет над ней слишком ничтожная власть. Альбертина была бедна, безвестна, у нее должно было быть желание выйти за меня замуж. И, однако, я не смог владеть ею безраздельно. Каково бы ни было наше социальное положение, каковы бы ни были доводы благоразумия, господствовать над другим человеком нам не дано.

Почему она не сказала прямо: «Мне это нравится»? Я бы уступил, я разрешил бы ей удовлетворять свои желания. В каком-то романе выведена женщина, которая, как ни молил любивший ее мужчина, не говорила с ним. Мне казалось, что это нелепо. Я бы заставил женщину заговорить, а потом мы нашли бы общий язык. К чему бесполезные страдания? Теперь я видел, что мы не

властны выдумывать их, и напрасно мы воображаем, что знаем силу нашей воли, другие ей не подчиняются.

Мучительные неопровержимые истины, которые тяготели над нами и из-за которых мы ослепли, — истина наших чувств, истина нашей судьбы! Сколько раз мы, сами того не зная и не желая, выражали их в словах резких, нарочно искажая, а между тем в них таился пророческий смысл, и открылся он только после несчастья. Я запомнил слова, которые произносили мы оба, не постигая истины, в них содержавшейся, запомнил даже те, что мы произносили, понимая, что играем комедию; ложность этих слов была незначительна, большого интереса не представляла, она была заключена в круг нашей неискренности, неважной по сравнению с той, что пропитывала наши слова незаметно для нас. Ложь, заблуждения по эту сторону глубокой реальности, которую мы не замечали, истина по ту сторону, истина наших характеров, основные законы которой от нас ускользали, ибо они требуют Времени, чтобы выявиться, равно как истина наших судеб. Я думал, что лгу, когда говорил Альбертине в Бальбеке: «Чем чаще я буду с вами видеться, тем сильнее буду вас любить (однако

именно интимность каждой минуты наших встреч с помощью ревности так крепко привязала меня к ней), и, пожалуй, я мог бы быть полезен для вашего умственного развития»; в Париже: «Будьте осторожней. Знайте, что если с вами случится несчастье, я буду безутешен» (она: «Но со мной может случиться несчастье»); в Париже, в тот вечер, когда я делал вид, что хочу с ней расстаться: «Дайте мне еще на вас посмотреть: ведь я скоро не увижу вас больше, не увижу никогда»; она, в тот же вечер, после того, как посмотрела вокруг: «Я не могу себе представить, что больше не увижу эту комнату, книги, фортепьяно, весь этот дом, я не могу в это поверить, и, тем не менее, это правда»; наконец, из ее последних писем (вероятно, она говорила себе, когда их писала: «Я кривляюсь»): «Все лучшее, что есть во мне, я оставляю Вам» (в самом деле, не преданности ли, не душевным ли силам, — увы! тоже хрупким), — не моей ли памяти были теперь вверены ее ум, доброта, красота?) и: «Это мгновение, сумрачное вдвойне, потому что день угасал и потому что нам предстояла разлука, изгладятся из моей памяти, только когда его поглотит вечная ночь». (Это было написано накануне того дня, когда ее память была действительно поглощена вечной ночью и

когда, при последних вспышках света, кратких, но дробимых на мельчайшие частицы предсмертной тоски, она быть может, снова увидела последнюю нашу прогулку, и в тот миг, когда нас все покидает, когда человек обретает веру, так же как атеист становится христианином на поле боя, она, быть может, призвала на помощь друга, которого она так часто проклинала, которого так глубоко уважала и который, а ведь у всех религий есть нечто общее, — был так жесток, что желал, чтобы у нее было время проверить себя, чтобы она отдала ему свою последнюю мысль, наконец, чтобы она исповедалась ему и умерла в нем.)

Но зачем? Ведь если бы даже она к тому времени и познала себя, мы оба не поняли бы, ни она, ни я, в чем наше счастье и как нам следует поступить. Мысль о смерти более жестока, чем смерть, но менее жестока, чем мысль о смерти другого человека. Над ставшей ровной после исчезновения человека реальностью, из которой это человеческое существо выпало, реальностью, где нет более ничьей воли, ничьих знаний, трудно подняться при мысли, что этот человек жил, трудно подняться, помня, что он еще совсем недавно был жив, и так же трудно представить себе, что теперь его можно сравнить с выцветшим порт-

ретом, с воспоминанием, которое сохраняется о действующих лицах прочитанного романа.

Я был счастлив лишь тем, что перед смертью она написала мне письмо, а главное, отправила телеграмму, доказывавшую, что если бы она вернулась, то жила бы дольше. В этом было для меня нечто отрадное, нечто прекрасное; без телеграммы событию не доставало бы завершенности, оно утратило бы полноту сходства с картиной или рисунком. На самом же деле оно было бы похоже на произведение искусства, если бы оно было другим. Всякое событие — особая форма, и, какой бы она ни была, она стремится навязать цепи событий, которые она намерена прервать и, видимо, завершить особый рисунок, представляющийся нам единственно возможным, потому что нам не известен тот, который можно было бы заменить.

Почему она не сказала: «Мне это нравится»? Я бы уступил, я бы позволил ей удовлетворять ее желания, я бы даже поцеловал ее. Как тяжело вспоминать, что она солгала мне, поклявшись за три дня до того, как она покинула меня, что с подругой мадмуазель Вентейль у нее ничего не было, — ее выдало только то, что она покраснела! Бедная девочка! По крайней мере у нее хватило

честности не поклясться, что ей хотелось поехать в тот день к Вердюренам не ради встречи с мадмуазель Вентейль и ее подругой. Почему она была откровенна не до конца? Может быть, тут была отчасти и моя вина — в том, что, несмотря на все мои просьбы, разбивавшиеся об ее упорство, она так и не сказала: «Мне это нравится». Может быть, отчасти тут был виновен я: в Бальбеке, в день первого моего объяснения с Альбертиной, после ухода маркизы де Говожо, когда я был так далек от мысли, что Альбертину связывает с Андре не просто пламенная дружба, я чересчур запальчиво выразил свое отвращение к такого рода отношениям, я осудил их безоговорочно. Потом я не мог вспомнить, сильно ли покраснела Альбертина, когда я наивно признался, что я от всего этого в ужасе: ведь мы часто хотим узнать о поведении человека в определенный момент, спустя уже много времени, а в тот момент мы не обратили на это никакого внимания; между тем, когда наши мысли возвращаются к этому разговору, поведение нашего собеседника помогло бы разгадать мучительную для нас загадку. В нашей памяти есть пробелы, следов от многого не остается. Мы не обратили внимания на то, что уже тогда могло показаться нам важным, не

расслышали какой-нибудь фразы, не уловили жеста или же забыли про них. И только позднее, в своем стремлении докопаться до истины, переходя от вывода к выводу, перелистывая память, как перелистывают свидетельские показания, мы убеждаемся в своем бессилии вспомнить разговор, мы в двадцатый раз снова начинаем двигаться этим путем, но — безуспешно, наша дорога ведет в никуда. Покраснела ли Альбертина? Не знаю, но она не могла не слышать меня, воспоминание о моих словах остановило ее позднее, когда, возможно, она была готова исповедаться мне. Альбертины нигде нет. Я мог бы обежать всю землю, от одного полюса до другого, но так бы и не нашел ее. Реальность, распростершаяся над нею, стала ровным пространством, на нем не видно даже следов человеческого существа, ушедшего вглубь. Теперь от нее осталось только имя, как у некоей г-жи де Шарлю, о которой ее знакомые равнодушно говорят: «Она была очаровательна». Но я не мог долее одной минуты думать об этой реальности, о которой Альбертина не имела понятия: моя подружка укоренилась во мне, все мои чувства и мысли были связаны с ней. Может быть, если бы она об этом знала, она была бы тронута, убедившись, что ее друг

помнит о ней и теперь, когда ее жизнь кончена; может быть, она стала бы восприимчива к тому, что раньше оставляло ее равнодушной. Мы стремимся воздержаться от измен, даже тайных, и боимся, что любимая женщина нам изменит. Мне становилось страшно при мысли, что если мертвые где-нибудь живут, то моей бабушке так же хорошо известно, что я о ней забыл, как Альбертине — то, что я о ней помню. Уверены ли мы, что радость, которая охватила бы нас, когда бы нам стало известно, что покойница что-то о нас знает, уравновесила бы ужас при мысли, что она знает *все?* Как бы ни велика была жертва, не отказывалась ли бы порой наша память хранить в себе тех, кого мы любим как друзей, от страха, что они ведь не только наши друзья, но и судьи?

Мое ревнивое любопытство к тому, чем могла быть занята Альбертина, было безгранично. Я покупал столько женщин, но они ничему меня не научили. Оно было так живо оттого, что человек не умирает для нас мгновенно, он остается погруженным во что-то вроде жизненной ауры, которая не имеет ничего общего с истинным бессмертием, но благодаря которой человек продолжает занимать наши мысли, как при жизни. Это глубоко языческая загробная жизнь. И на-

оборот: как только мы перестаем любить, наше любопытство к умершему умирает раньше, чем он. Я бы пальцем не пошевелил для того, чтобы узнать, с кем однажды вечером Жильберта гуляла на Елисейских полях. Я отдавал себе отчет, что нынешнее мое любопытство такого же рода, что оно так же бессмысленно и что оно тоже скоро пройдет. Но я по-прежнему жертвовал всем, ради мучительного удовлетворения этого преходящего любопытства, хотя знал заранее, что переживания, вызванные моей внутренней разлукой с Альбертиной из-за ее кончины, сменятся для меня тем же, что и добровольная разлука с Жильбертой: безразличием, Я отправил Эме в Бальбек, так как предчувствовал, что на месте он узнает многое.

Если бы Альбертина предугадывала, что произойдет, она осталась бы со мной. Как только она увидела бы себя мертвой, она предпочла бы жизнь при мне. Это предположение, где одно противоречит другому, абсурдно. Альбертина не была одинока. Если бы она могла знать, могла, хотя бы и поздно, понять, она была бы счастлива вернуться ко мне. Я ее там видел, я хотел поцеловать ее, но увы! Это недостижимо, она никогда уже не вернется, она мертва.

Вечерами, при лунном свете, который она любила, мы с ней вдвоем смотрели на небо, и вот теперь мое воображение искало ее там. Я старался поднять до нее мою любовь, чтобы она послужила ей утешением. Моя любовь к ней, ныне такой далекой от меня, превратилась в религию, мои мысли возносились к ней, как молитвы. Желание обладает огромной силой, оно рождает веру. Я уверовал в то, что Альбертина не уедет, потому что я этого хотел; так как я этого хотел, я уверовал в то, что она жива; я стал читать книга о вертящихся столах, допускал возможность бессмертия души. Но мне этого было мало. Мне было необходимо после моей смерти найти ее вместе с ее телом, как если бы жизнь потусторонняя походила на жизнь земную. Да что там жизнь? Я был еще требовательнее. Мне хотелось, чтобы смерть не навсегда лишила меня наслаждений, которые, впрочем, не только она может у нас отнять. Не будь смерти, они бы в конце концов наскучили, да они уже и начали приедаться — на смену старым привычкам явилась жажда новизны. Альбертина даже физически день ото дня становилась бы иной, и я бы к этому привыкал. Но моя память, воскрешая ее на мгновение, жаждала снова увидеть ее такой,

какою она не была бы, останься она в живых; я ждал чуда для того, чтобы память, которой не выйти за пределы прошлого, сохранила свои естественные и установленные по ее произволу границы. Я представлял себе живое существо с наивностью античных теологов — дающее мне не те объяснения, какие оно могло бы мне дать, а те, в каких оно из духа противоречия всегда отказывало мне при жизни. Раз ее смерть была чем-то вроде наваждения, моя любовь могла бы для нее быть несказанным счастьем; я видел в ее смерти только благовидный предлог, благополучную развязку, которая все упрощает, все устраивает.

Хотя до этого доходило уже несколько раз, я все-таки представлял себе наш союз не в ином мире. Когда я еще только знал, что Жильберта играет с ней на Елисейских полях, вечером дома я воображал, что получу от нее письмо, в котором она признается мне в любви, что она войдет. Такая же сила желания, не стесненная более физическими законами, которые его сдерживали, всего один раз (в случае с Жильбертой, но тут, в сущности, моей вины не было, потому что тут действовало желание), эта же сила желания наводила меня на мысль теперь, что я получу весточку от Альбертины о том, что с ней действи-

тельно случилось несчастье, что из побуждений чисто романических (так ведь и происходило с некоторыми героями романов, которых долгое время считали умершими) она не сообщила мне о своем выздоровлении, ко что теперь, раскаявшись, она просит разрешения приехать с тем, чтобы навсегда поселиться у меня. Она давала мне ясно понять, что люди, которые в других случаях жизни проявляют рассудительность, становятся безумцами в любви, и я чувствовал, что во мне сосуществуют уверенность, что она мертва, и не гаснущая надежда, что я увижу, как она войдет ко мне. Я все еще не получал известий от Эме, а между тем: ему пора уже было приехать в Бальбек. Конечно, мое расследование касалось пункта второстепенного, выбранного наудачу. Если бы Альбертина действительно вела развратную жизнь, в этой жизни оказалось бы много важного с иной точки зрения, над чем я не задумывался из-за несчастного случая, который как бы заставил меня задуматься, когда я вспомнил разговор о купальнике и о том, покраснела или не покраснела Альбертина. Но именно важные вопросы для меня не существовали, они не возникали передо мной. Я произвольно выделил этот день и несколько лет спустя попытался вос-

создать его. Если Альбертина любила женщин, то ведь в ее жизни было множество других дней, о распорядке которых я не имел понятия и которые тоже могли представлять для меня интерес; я мог бы послать Эме во многие другие места Бальбека, во многие другие города, помимо Бальбека. Но так как мне был не известен распорядок этих ее дней, то они не рисовались моему воображению, они не занимали в нем никакого места. Вещи, люди начинали существовать для меня только после того, как в моем воображении различались их особенности. Если существовало даже множество таких дней, они все равно привлекали мое внимание. Меня давно интриговало, что происходило у Альбертины в душевой, интриговало так же, как влечение женщины к женщине вообще, и хотя я был наслышан о существовании множества соблазнительных девиц, камеристок, о жизни которых я случайно мог бы узнать, мое любопытство дразнили те, о ком мне рассказывал Сен-Лу, те, что были как бы предназначены для меня, — например, девушка, посещавшая дома свиданий, камеристка баронессы Пютбю. Из-за моей слабохарактерности, из-за отсутствия сопротивляемости, по любви к «ранорасчесыванию», как называл это мое свойство Сен-Лу, меня

можно было заставить делать все, что угодно, и теперь я восстанавливал месяц за месяцем, год за годом, проясняя подозрения, касавшиеся Альбертины в исполнении определенных желаний. Я хранил их в памяти, давал себе слово дознаться, были ли они у нее на самом деле: ведь только они меня и угнетали (другие я себе представлял неясно). И потом, одного единственного мелкого факта, даже если он выбран правильно, экспериментатору недостаточно для установления закона, который дал бы ему возможность узнать правду о множестве аналогичных фактов. Я напрасно старался не думать об Альбертине — она постоянно, по ходу событий моей жизни напоминала о себе. Моя мысль восстанавливала ее как единое целое, вновь создавая живое существо, и именно об этом существе я стремился вынести общее суждение, я хотел знать, лгала ли она мне, любила ли она женщин, рассталась ли она со мной ради того, чтобы свободно видеться с ними. То, что скажет служащая в душевой, быть может, навсегда рассеет мои сомнения, касающиеся нравов Альбертины.

Мои сомнения! Увы! Я думал, что я отнесусь безучастно к тому, что больше не буду видеть Альбертину, что мне это будет даже приятно, но

ее отъезд показал мне, как я заблуждался. Точно так же после ее кончины я понял, как я заблуждался, желая, чтобы она умерла, и предполагая, что это будет для меня избавлением. Когда я получил письмо от Эме, я понял, что прежде мои сомнения относительно добродетели Альбертины не причиняли мне особенно острой боли потому, что это были не настоящие сомнения. Мое счастье, моя жизнь требовали, чтобы Альбертина была добродетельна, и я твердо сказал себе, что она добродетельна. Под охраной этой веры я мог безнаказанно позволять своему уму затевать невеселую игру в предположения, которые мой ум облекал в определенную форму, но в которые не принуждал верить. Я говорил себе: «Она, может быть, любит женщин», — так же, как мы говорим себе: «Я могу умереть вечером». Мы так говорим, а сами этому не верим и строим планы на завтра. Но, полагая, что у меня не сложилось определенного мнения, любила Альбертина женщин или нет, и что еще один ее грех не много добавит к тому, что я много раз рисовал себе, я, вглядываясь в образы, которые воссоздало письмо Эме, которые ни для кого, кроме меня, не имели бы никакого значения, и — среди них, увы! — в образ Альбертины, я

неожиданно почувствовал сильную боль; от письма Эме оставалось нечто вроде осадка, как его называют химики; текст письма Эме нерастворим, я же его произвольно растворял, поэтому око не может дать правильного представления, так как все слова, из которых оно состоит, были мною тотчас же изменены, навсегда окрашены страданием, вызванным первым его чтением:

Сударь!

Извините меня за то, что я долго Вам не писал. Женщина, с которой Вы поручили мне увидеться, отсутствовала два дня, а я, желая оправдать оказанное мне Вами доверие, не считал возможным вернуться с пустыми руками. Наконец мне только что удалось побеседовать с женщиной, которая очень хорошо ее помнит (мадмуазель А.)[7].

По ее словам, то, что Вы предполагали, вполне

---

[7] Примечания: 7

Эме, человеку более или менее культурному, хотелось как-то выделить слова «мадмуазель А.» или поставить их в кавычки. Но когда он собирался поставить кавычки, он ставил скобки, а когда ему нужно было поставить что-нибудь в скобки, то он ставил эти слова в кавычки. Вот так Франсуаза говорила, что кто-то остается на моей улице, вместо того, чтобы сказать, что он там живет, и что можно побыть две минуты вместо «подождать». Ошибки простолюдинов довольно часто заключаются во взаимозамене — впрочем, это относится и к французскому языку вообще — слов, которые на протяжении нескольких столетий поменялись местами.

соответствует действительности. Прежде всего, она сама ухаживала за (м.А.) всякий раз, как та приходила брать душ. (м.А.) очень часто приходила принять душ вместе с высокой дамой старше ее, всегда одетой в серое; служащая душевой не знает, как ее зовут. Она часто видела, как та ищет молоденьких девушек. Но дама перестала обращать на них внимание с тех пор, как познакомилась с (м.А.). Она запиралась в кабинке, оставались они там очень долго, дама в сером давала не меньше десяти франков чаевых той женщине, с которой я беседовал. Можете мне поверить: женщина сказала мне, что если бы они там нанизывали жемчуг, она не давала бы десять франков на чай. Еще (м.А.) несколько раз приходила с дамой, у которой был лорнет; у нее была очень темная кожа. Но чаще (м.А.) приходила с девушками моложе себя, особенно с рыжеволосой. За исключением дамы в сером, те, кого (м.А.) приводила, были не из Бальбека, многие приезжали издалека. Они никогда не приходили вместе; (м.А.) входила, приказывала не запирать кабину, говорила, что ждет подругу, а женщина, которую я расспрашивал, понимала, что это значит. Других подробностей женщина не могла мне сообщить — кое-что позабылось:

«да ведь тут ничего удивительного нет; времени с тех пор утекло много». Да эта женщина особого любопытства не проявляла, во-первых, потому, что проявлять излишнее любопытство было не в ее интересах: (м.А.) платила ей хорошо. Узнав о кончине (м.А.), она Очень ее пожалела. Да ведь и правда, такая молодая: ее уж теперь не вернешь, и для близких это большое горе. Я жду Ваших распоряжений: можно ли мне уехать из Бальбека, не думаю, что мне удастся получить еще какие-нибудь сведения. Благодарю Вас за приятное путешествие, которым я обязан Вам, тем более приятное, что погода стояла дивная. В этом году сезон обещает быть удачным. Все надеются, что Вы хотя бы ненадолго заглянете сюда летом. Больше у меня ничего интересного для Вас нет, и т д.

Чтобы понять, насколько глубоко проникли мне в душу эти слова, надо вспомнить, что по поводу Альбертины я задавал себе вопросы не второстепенные, не безразличные, не с целью выяснения подробностей, не единственные, которые мы, в сущности, задаем себе по поводу всех живых существ, кроме себя самих, что дает нам возможность двигаться под броней мысли, не пропускающей жалости, сквозь страдание, ложь,

порок и смерть. Нет, относительно Альбертины это был жизненно важный вопрос: что же она собой представляла? О чем думала? Что любила? Лгала ли мне? Была ли моя жизнь с ней такой же неудачной, как жизнь Свана с Одеттой? Ответ Эме был неполным, но это был ответ особенный, он доходил и в Альбертине и во мне до самых глубин.

Наконец-то я видел перед собой в том, как Альбертина вместе с дамой в сером шла по переулочку, фрагменты прошлого, и оно представлялось мне таким же таинственным, пугающим, как и в воспоминании, как и во взгляде Альбертины. Конечно, любому другому на моем месте эти подробности показались бы незначительными, однако невозможность теперь, когда Альбертина была мертва, заставить ее опровергнуть их, создавала нечто равноценное возможности. Вероятно, если бы подробности соответствовали действительности, если бы Альбертина признала их достоверность, ее пороки (независимо от того, сочла ли их совесть невинными или до тошноты пресными) не произвели бы на нее невыразимого впечатления ужаса, которое я не отделял от них самих. По моему опыту с другими женщинами, хотя с Альбертиной у меня обстояло по-иному,

я мог, хотя и смутно, представить себе, что она испытывала. И, разумеется, это уже было начало моего страдания — вообразить себе ее желающей, как часто желал я, лгущей мне, как часто лгал ей я, озабоченной положением какой-нибудь девушки, тратящейся на нее, как я — на г-жу де Стермарья, на стольких других, на крестьянок, с которыми я встречался в деревне. Да, все мои желания до известной степени помогали мне понять ее желания; чем живее были желания, тем более жестокими были мучения, словно в этой алгебре восприимчивости они снова появлялись с прежним коэффициентом, только со знаком «меньше» вместо знака «больше». Для Альбертины, насколько я мог судить об этом по себе, ее грехи, какое бы усилие воли она ни употребляла, чтобы скрыть их от меня, — а это как раз наводило меня на мысль, что она считает себя виноватой или что она боится меня огорчить, — ее грехи, которые она при ярком свете воображения заранее смаковала, потому что ею владело желание, — казались ей ничем не отличающимися от всех прочих переживаний: от удовольствий, в которых она не в силах была себе отказать, от того, что меня огорчило бы и что она утаивала от меня, — ведь эти удовольствия

и огорчения могли сосуществовать с другими. Я решительно ничего об этом не знал, я не мог все это выдумать, это пришло ко мне извне, образ Альбертины, отсчитывающей в душевой чаевые, явился мне из письма Эме[8].

В безмолвном и смелом приходе Альбертины и дамы в сером в душевую мне чудилось заранее условленное свидание, уговор заниматься любовью в душевой кабине; во всем этом был опыт подкупа, искусно скрытая двойная жизнь. Это была страшная для меня новость о греховности Альбертины, а страдания душевные тотчас же причинили мне физическую боль, и отныне боль и образ входящей в душевую Альбертины стали для меня неразлучны. Но и боль воздействовала на картину в душевой. Объективный факт, образ зависит от внутреннего состояния человека, который его воспринимает. А страдание — не менее мощный модификатор реальности, чем опьянение. Соприкоснувшись с бальбекскими образами, мое страдание превратило их в нечто совсем иное, чем могли казаться любому другому

[8] Примечания: 8

И все-таки теперь я любил Альбертину еще больше; она была далеко; присутствие отодвигает от нас единственную реальность, ту, которая, как принято думать, смягчает боль, отсутствие же вновь ее усиливает, как усиливает и любовь.

человеку дама в сером, чаевые, душ, переулок, по которому, как ни в чем не бывало, шли Альбертина и дама в сером. Стоило мне ворваться в мир лжи и грехов, какого я прежде никогда себе не представлял, — и мое страдание немедленно изменило самую их сущность, я их уже не видел в свете, озаряющем земные зрелища; то была часть совсем другого мира, часть незнакомой, проклятой планеты, вид Ада. Адом был весь Бальбек, все его окрестности, откуда, судя по письму Эме, Альбертина часто вызывала девочек помоложе, чтобы заманивать их в душевую. Об этой тайне я когда-то думал в Бальбеке, но когда я там пожил подольше, подозрения развеялись, а потом, узнав Альбертину, я все-таки надеялся ее разгадать; когда я видел, как она идет по пляжу, когда я был так глуп, что желал, чтобы она оказалась безнравственной, я думал, что ей пристало воплощать греховность, и наоборот: теперь все, что имело хотя бы косвенное отношение к Бальбеку, носило этот гнусный отпечаток. Названия железнодорожных станций: Аполлонвиль и т д., ставшие такими привычными, действовавшие на меня успокаивающе, когда я их слышал по вечерам, возвращаясь от Вердюренов, теперь, когда я думал, что Альбертина жила на одной из

этих станций, шла на прогулку до другой, могла доехать на мотоцикле до третьей, они пробуждали во мне тревогу, более сильную, чем в первый раз, когда я, терпя все неудобства пригородной железной дороги, ехал с бабушкой в Бальбек, который я тогда еще не знал.

Во власти ревности — открыть нам, что реальность событий и душевных движений есть нечто неведомое, что дает повод для множества предположений. Мы убеждены, что хорошо знаем устройство вещей и о чем думают люди — убеждены только потому, что это нас не интересует. Но если у нас появляется любопытство ревнивца, то перед нами возникает головокружительный калейдоскоп, в котором мы ничего не различаем. Изменяла ли мне Альбертина, с кем, в чьем доме, в какой день, в тот ли, когда она сказала мне то-то, в тот, в который, помнится, я сказал то-то или то-то, — на все эти вопросы я бы не сумел ответить. Так же плохо я знал, какие чувства она питала ко мне, был ли тут только интерес или любовь. И вдруг мне приходила на память какая-нибудь мелочь, например, что Альбертине захотелось поехать в Сен-Мартен Одетый; она утверждала, что ее интересует название, а может быть, она познакомилась с тамошней крестьянкой. Но то,

что Эме сообщил мне о служащей в душевой, не имело значения, потому что Альбертине суждено было узнать об этом: в моей любви к Альбертине желание показать ей, что я осведомлен, неизменно перевешивало жажду знания; знание разрушало все иллюзии и не усиливало, а уменьшало ее чувство ко мне. С тех пор, как ее не стало, у желания показать Альбертине свою осведомленность появилась цель: представить себе разговор с ней, — я бы спросил у нее о том, что мне не известно, — а значит, увидеть ее рядом с собой, услышать, как мягко она мне отвечает, увидеть, как снова полнеют ее щеки, как ее глаза перестают быть лукавыми и становятся печальными, то есть опять полюбить ее и позабыть о моей бешеной ревности, которая охватывала меня, когда я пребывал в отчаянии одиночества. Мучительную невозможность рассказать ей о том, что я узнал, с тем, чтобы построить наши отношения на правде того, что мне недавно открылось (вероятно, только потому, что ее уже не было в живых), сменяла еще более мучительная тайна — тайна ее поведения, и печальное выражение ее лица уже не трогало меня. Так страстно желать, чтобы Альбертина узнала, что мне стали известны ее походы в душевую, теперь, когда Альбертина

была ничем!.. Это было еще одно из последствий невозможности когда мы вынуждены размышлять о смерти, представлять себе нечто иное, чем жизнь. Альбертина была теперь ничем, но для меня это была женщина, утаившая свидания с женщинами в Бальбеке, воображавшая, что ей удалось скрыть их от меня. Когда мы думаем о том, что будет после нас, то в этот момент не представляем ли мы себя по ошибке живыми? И не все ли это равно — жалеть, что женщина, которая теперь уже — ничто, не знает о том, что мы осведомлены о ее похождениях шестилетней давности, и желать, чтобы о нас, будущих мертвецах, люди все еще благосклонно отзывались столетие спустя? Реальных оснований больше в этом нашем желании, но моя ревность к прошлому объяснялась той же оптической ошибкой, как и желание посмертной славы. Вечная разлука с Альбертиной производила на меня впечатление чего-то торжественно окончательного, а если бы Альбертина восстала на миг при мысли о своих грехопадениях, то ее восстание только усугубило бы их, родило бы во мне ощущение их непоправимости. Мне казалось, будто я затерялся в жизни, как в бесконечном пространстве, где я один и где, в какую сторону я бы ни пошел, я

нище ее не встречу.

К счастью, порывшись в памяти, я очень кстати отыскал (как всегда случается в обстоятельствах опасных или спасительных) среди этого хаоса, где воспоминания вспыхивают одно за другим, — отыскал, как отыскивает рабочий именно тот инструмент, который может ему пригодиться, слова моей бабушки. Она сказала мне по поводу одной неправдоподобной истории, которую служащая душевой сообщила маркизе де Вильпаризи: «У этой женщины, должно быть, болезнь лжи». Это воспоминание мне очень помогло. Какое значение могло иметь то, что служащая наговорила Эме? Да она же ничего и не видела. Можно приходить с подругой в душевую без всяких грязных помыслов. А что, если служащая все это раздула в надежде на чаевые? Однажды я слышал, как Франсуаза кого-то уверяла, будто тетя Леония сказала в ее присутствии, что она ежемесячно «продает по миллиону», а это была сущая чепуха; в другой раз Франсуаза божилась, будто тетя Леония дала Евлалии четыре тысячефранковых билета, а я отнесся бы с недоверием даже если речь шла бы об одном, вчетверо сложенном, пятидесятифранковом билете. Так я пытался — и хотя и не сразу, но мне это удалось

— отделаться от мучительной уверенности, доказать себе, что я понапрасну терзался, колеблясь, как всегда, между желанием знать и боязнью страдания. Моя любовь смогла возродиться, но тотчас же вместе с любовью нахлынула боль от разлуки с Альбертиной, и я почувствовал себя еще более несчастным, чем недавно, когда меня мучила ревность. А ревность возникла вновь при мысли о Бальбеке, из-за неожиданно мелькнувшей перед моим мысленным взором картины (раньше она не делала мне больно и даже казалось одной их самых безобидных среди тех, которые сохранила моя память) — картины бальбекского увеселительного заведения вечером, со всеми сгрудившимися людьми у окна в полумраке, словно перед освещенным аквариумом, и разглядывающими, как некие причудливые фигуры переходят в свету с места на место и в своей толкотне заставляют прикасаться гуляющих девок и крестьянок к мещаночкам, ревниво наблюдающим за этой новой для Бальбека роскошью, роскошью, которой если и не по бедности, то из-за скупости и по традиции не могли себе позволить их родители, к мещаночкам, среди которых каждый вечер наверняка проводила время Альбертина, с которой я тогда еще не был знаком

и которая несомненно сговаривалась с девочкой, несколько минут спустя догоняла ее в темноте, на песке или в заброшенной будке, у подножья скалы. Потом возвратилась тоска; я слышал, что меня как будто приговаривают к изгнанию, слышал шум лифта, который вместо того, чтобы остановиться на моем этаже, поднимался выше. Впрочем, единственный человек, которого мне бы хотелось видеть, не придет никогда, он умер. И все же, когда лифт останавливался на моем этаже, сердце у меня начинало биться, и я говорил себе: «Если бы все это было только сном! Может быть, это она, она сейчас позвонит, она вернется, Франсуаза выйдет и скажет скорее с ужасом, чем со злостью, потому что она была еще в большей степени суеверна, чем мстительна, и меньше испугалась бы живой Альбертины, нежели той, которую она, возможно, приняла бы за привидение: «Вы ни за что не угадаете, кто там стоит».

Я старался ни о чем не думать, брал газету. Но мне тошно было читать статьи, написанные людьми, не знавшими, что такое истинное страдание. Об одной бессодержательной песенке кто-то написал: «При звуках этой песни можно заплакать», а я слушал бы ее с радостью, если бы Альбертина была жива. Другой, очевидно, боль-

шой писатель, судя по тому, что его встречали приветственными криками, когда он выходил из поезда, говорил, что в этом он видит незабываемое свидетельство читательского признания, тогда как я, получи я теперь такие свидетельства, ни на секунду бы не взволновался. Третий утверждал, что без несносной политики жизнь в Париже была бы «поистине восхитительной», а между тем я отлично знал, что и без политики жизнь в Париже для меня нестерпима, и она же показалась бы мне восхитительной, даже с политикой, если бы Альбертина по-прежнему была со мной. Хроникер, сообщавший новости об охоте, писал (дело происходило в мае): «Этот период времени поистине мучителен, скажу больше, ужасен для настоящего охотника, потому что не в кого, ну совершенно не в кого стрелять». Хроникер Салона: «Наблюдая за таким способом организации выставки, невольно приходишь в безысходное отчаяние, на тебя нападает глубокое уныние…» Мне казались фальшивыми и бесцветными выражения тех, кто не знал, что такое истинное счастье или беда, а самые незначительные заметки, хотя бы присланные издалека, из Нормандии, из Ниццы, из водолечебниц, заметки о Берма, о принцессе Германтской, на тему о люб-

ви, о нелюбви, о неверности воссоздавали передо мной так, что я не успевал отвернуться, изображение Альбертины, и я опять начинал плакать. Кстати сказать, я не мог читать газеты, потому что обычное движение при разворачивании газеты напоминало мне и те движения, которые я делал при жизни Альбертины, и то, что ее больше нет; я ронял газету, не имея сил развернуть ее. Каждое впечатление соответствовало былому впечатлению, но это было впечатление болезненное, так как оно расчленяло существование Альбертины, и у меня ни разу не хватило мужества продлить эти изувеченные мгновения, ранившие мое сердце. Даже когда она не владела моими помыслами и не властвовала в моем сердце, я вдруг ощущал боль, если мне нужно было, как в то время, когда она жила у меня, войти в ее темную комнату, нащупать выключатель, сесть у фортепиано. Разделившись на привычных божков, она долго жила в огне свечи, в ручке двери, в спинке стула и в других, нематериальных областях, как, например, в бессонной ночи или в волнении, охватывавшем меня при первом приходе в мой дом женщины, которая мне приглянулась. Те немногие фразы, которые я прочитывал днем или о которых я вспоминал как об уже прочитан-

ных, все-таки часто возбуждали во мне адскую ревность. Для этого мне требовались не столько доказательства безнравственности женщин, сколько возврат прежних впечатлений, связанных с Альбертиной. Канувшие тогда в забвение, которое, однако, не ослабляло привычки время от времени думать о них и в котором Альбертина еще жила, ее грехопадения теперь приближались ко мне, в них было что-то более тревожное и жестокое. И я опять задавал себе вопрос, солгала ли служащая душевой. Чтобы узнать правду, лучше всего было отправить Эме в Ниццу: пусть бы он провел несколько дней поблизости от виллы г-жи Бонтан. Если Альбертина получала наслаждение от общения с женщинами, если она рассталась со мной только ради того, чтобы не лишать себя надолго этих наслаждений, то она должна была бы отдаться им на свободе и преуспеть в местности, которую она знала и куда она по своему выбору не удалилась бы, если б не рассчитывала найти там для этого большие удобства, чем живя у меня. Нет ничего удивительного, что смерть Альбертины внесла такие незначительные изменения в мои раздумья. Пока наша возлюбленная жива, большая часть мыслей о том, что мы называем любовью, приходит к нам в часы, когда

ее нет с нами. Мы мечтаем об отсутствующей, и если даже она отсутствует всего несколько часов, то в эти несколько часов от нее остается лишь смутное воспоминание. Смерть тоже меняет немногое. Когда Эме вернулся, я попросил его съездить в Ниццу. Таким образом, я могу сказать, что в течение всего этого года не только мои мысли, печали, волнения, вызывавшиеся во мне чьим-нибудь именем, связанным, как бы далеко этот человек ни находился, с дорогим мне существом, но и мои поступки, расследование, деньги, предназначенные специально для того, чтобы узнать о поведении Альбертины, — все носило на себе печать любви, истинной близости. И той, кому я посвящал всю мою жизнь, не было на свете. Говорят, от человека после его кончины что-то остается, если этот человек был артистом и вложил нечто от себя в свое творчество. Может быть, у всякого человека можно вырезать что-то вроде черенка, привить его к сердцу другого, и там он будет жить, даже если человек, от которого был взят черенок, погиб.

Эме поселился в вилле по соседству с виллой г-жи Ботан; он познакомился с камеристкой, с человеком, отдававшим напрокат автомобили, — Альбертина часто брала автомобиль на день.

Эти люди ничего за ней не замечали. В другом письме Эме сообщал, что, по словам женщины, работавшей в прачечной, Альбертина как-то особенно пожимала ей руку, когда та отдавала ей белье. «Но ничего другого эта девушка себе не позволяла», — добавила прачка. Я послал Эме деньги на дорожные расходы, за ту боль, которую он причинил мне своим письмом, и делал все для того, чтобы эта боль у меня прошла: я убеждал себя, что это была всего-навсего фамильярность, в которой ничего порочного нет. И вдруг получаю от Эме телеграмму: «Узнал самое интересное много нового ждите письма». На другой день пришло письмо; при виде конверта я вздрогнул; я сразу понял, что оно от Эме: каждый человек, даже самый маленький, скрывает в своей приниженности мелкие привычки, живые и в то же время находящиеся как бы в обморочном состоянии на бумаге, — это почерк, подвластный ему одному:

Сначала прачка не хотела ничего говорить; она уверяла, что мадмуазель Альбертина только пощипывала ее за руку. Тогда, чтобы у нее развязался язык, я повел ее ужинать и подпоил. И вот тут-то она и рассказала, что они с мадмуазель Альбертиной часто встречались, когда ходили купаться, на берегу моря; мадмуазель Альбер-

тина обыкновенно вставала рано и отыскивала ее на берегу там, где деревья особенно густы, и в такой ранний час никому не придет в голову туда заглянуть. Прачка приводила своих подружек, и они купались, а потом — там ведь очень жарко, солнце припекает даже под деревьями — обсыхали, лежа на траве, ласкали друг дружку, щекотали, резвились. Прачка призналась, что ей доставляло большое удовольствие забавляться с подружками; видя, что мадмуазель Альбертина трется об нее в купальнике, она уговаривала ее снять купальник и проводила языком по ее шее и рукам, даже по подошвам ног, которые мадмуазель Альбертина ей подставляла. Прачка тоже раздевалась, и они затевали игры: сталкивали друг дружку в воду. В тот вечер она мне больше ничего не рассказала, но, будучи верным Вашим слугой, преисполненный желанием сделать для Вас все, что угодно, я привел прачку к себе на ночь. Она спросила, хочу ли я, чтобы она сделала мне то, что делала мадмуазель Альбертине, когда та снимала купальник. И тут она мне сказала: «Если б вы видели, как эта девушка вся дрожала!» Она мне призналась: «Благодаря тебе я на седьмом небе». И как-то раз она была до того возбуждена, что не смогла сдержаться и укусила

меня». Я видел на руке прачки след от укуса. Я понимаю, что мадмуазель Альбертина получала от всего этого удовольствие, — эта малышка в самом деле кому хочешь угодит.

Я очень страдал в Бальбеке, когда Альбертина сказала мне о своей дружбе с мадмуазель Вентейль. Но там Альбертина была рядом, она всегда могла меня утешить. Потом, перестаравшись и слишком много разузнав о поведении Альбертины, я стал выживать ее из моего дома, а когда в конце концов добился своего и когда Франсуаза объявила, что Альбертина уехала и что теперь я один, я страдал еще больше. Та Альбертина, которую я любил, оставалась в моем сердце. Теперь на ее месте в наказание за еще большее любопытство, которое, вопреки моим предположениям, со смертью Альбертины не иссякло, — жила другая девушка, размножавшая ложь и обман несмотря на то, что первая ласково меня уверяла и клялась, что ей неведомы наслаждения, а другая, опьяненная вновь обретенной свободой, поехала, чтобы упиться ими до самозабвения, до того, что укусила прачку, с которой на рассвете сходилась у моря и которой говорила: «Благодаря тебе я на седьмом небе». Другая Альбертина — другая не только в том смысле, который мы вкладываем в слово

«другой», когда речь заходит о других. Если другие — не те, которые составляют предмет наших размышлений, они затрагивают нас неглубоко, а наша интуиция может отразить лишь колебание, происходящее у нас внутри. Для нас эти различия существенного значения не имеют. Раньше, когда я узнавал, что женщина любит других женщин, то из-за этого она не представлялась мне другой женщиной, у которой сущность совсем особая. Но если дело идет о любимой женщине, то, чтобы избавиться от боли, которую испытываешь при мысли, что, быть может, это правда, стараешься допытаться, как она себя вела, что чувствовала, о чем думала; возвращаясь все дальше назад, через глубину страдания, проникаешь в область тайны, добираешься до сути. Я страдал до самых глубин моего существа, до глубины моего организма, до глубины души гораздо сильнее, чем меня мог заставить страдать страх смерти, — я страдал от любопытства, с которым взаимодействовали все силы моего интеллекта и подсознания; теперь все, что я узнал об Альбертине, я низводил до самых глубин ее существа. Страдание, проникавшее на такую глубину, реальность порока Альбертины сослужили мне позднее последнюю службу. Как и зло, которое я причинил бабуш-

ке, зло, причиненное мне Альбертиной, хотя и явилось последней связью между ею и мной, но пережило даже воспоминание, потому что, сохраняя энергию, которой обладает все физическое, страдание не нуждается в уроках памяти: так человек, забывший о чудесных ночах, какие он провел при лунном свете в лесу, страдает от насморка, который он там подхватил.

Увлечения, вкусы, которые Альбертина отрицала, хотя они у нее были, открытие которых явилось мне не в холодном размышлении, а в жгучей боли, испытанной при чтении этих слов: «Благодаря тебе я была на седьмом небе», боли, ни с какой другой не сравнимой, совершенно не вязались с образом Альбертины в противоположность тому как подходит раку-отшельнику новая ракушка, которую он тащит за собой, — скорее это можно сравнить с солью, вступающей во взаимодействие с другой солью, которая меняет ее цвет, более того: что-то вроде осадка меняет ее природу. Когда прачка, должно быть, говорила своим подружкам: «Вообразите, я бы ни за что не подумала. Посмотришь: благородная девушка, а на поверку такая же, как все», то для меня это был не только порок, который я прежде не подозревал в таких девицах и который они

обнаружили у Альбертины, но и открытие: оказывается, Альбертина была другой, такой же, как они, говорящей с ними на одном языке, и это превращало ее в соотечественницу других, еще глубже отчуждало ее от меня. То, что во мне было от нее, то, что я носил в своем сердце, представляло собой всего-навсего малюсенькую ее частицу, между тем как остальное, постепенно разраставшееся, таинственное и важное, именно ей свойственное, — что не мешало ей быть как все, — она от меня скрывала, от этого она меня отстраняла, как женщина, которая скрывала бы, что она — из враждебной страны, что она — шпионка, даже в большей степени предательница, чем обыкновенная шпионка, — та скрывает свою национальность, тогда как Альбертина скрывала то, что составляла ее человеческую сущность, то, что она принадлежит не ко всему человечеству, а к какой-то особой расе, которая примешивается к человечеству, прячется в нем и все же никогда с ним не сольется. Я видел две картины Эльстира, на которых среди густых деревьев изображены нагие девушки. На одной картине девушка поднимает ногу, как, вероятно, поднимала ногу Альбертина, подставляя ее прачке. На другой картине девушка толкает в воду другую — та

весело сопротивляется, чуть приподняв ногу и ступней едва касаясь голубой воды. Теперь я представил себе, что ее колено изгибалось, как лебединая шея, а потом нога опускалась, как у Альбертины, когда она лежала рядом со мной на кровати и я часто хотел ей сказать, что она напоминает мне картины Эльстира. Но я никогда ей об этом на говорил, боясь, как бы перед ней не возник образ обнаженного женского тела. Теперь я видел Альбертину вместе с прачкой и ее подружками, видел, как они образуют группу подруг Альбертины, вроде той, которая так мне нравилась, когда я сидел с ней в Бальбеке. Если бы я любил только красоту, я бы признал, что Альбертина восстанавливает группу, в тысячу раз более прекрасную теперь, когда ее образовывали обнаженные статуи богинь, подобные тем, которых великие скульпторы рассыпали по Версалю, в рощах и в бассейнах, и которые позволяли ласковой воде очищать себя и омывать. Теперь, вместе с прачкой, обнаружившая мраморные женские формы, на жаре, в зелени, окунающаяся в воду подобно статуе, она была в моих глазах гораздо ближе к образу девушки на берегу моря, чем в Бальбеке. Когда я представлял себя ее лежащей на моей кровати, мне

казалось, что я вижу изгиб ее ноги; да, я ее видел: это была лебединая шея, а ее рот искал рот другой девушки. Перед моим мысленным взором была уже не нога, а смелая голова лебедя, вроде той, которая, трепеща от жажды познания, ищет уста Леды, открывшейся ему во всей полноте особого, чистого женского наслаждения. На свете существует только один такой лебедь, вот почему до времени Леда кажется нам одиночкой. Так же и мы определяем по телефону модуляции голоса только после того, как он отделяется от человека, с которым наш слух связывает определенные интонации. В этом познании наслаждения, вместо того чтобы устремиться к женщине, с которой мы жаждем вкусить наслаждение и которая отсутствует, замененная неподвижным лебедем, мы сосредоточиваем его в той, что его испытывает. На краткий миг сообщение между моим сердцем и памятью нарушалось. То, что Альбертина проделывала с прачкой, обозначалось для меня в виде сокращений, в полном смысле слова алгебраических, и они ни о чем мне не говорили. Но сто раз в течение часа прерванное сообщение восстанавливалось, и мое сердце безжалостно сжигалось на адском огне в то время, как я видел Альбертину возродившейся благодаря моей

ревности, по-настоящему живой, я видел, как она вытягивается под ласками прачки и говорит: «Благодаря тебе я — на седьмом небе».

В такие минуты Альбертина оживала, и тогда мне недостаточно было знать о ее грехопадениях — мне хотелось, чтобы она знала, что мне известно все. Если бы в такие минуты мне было тяжело думать, что я больше никогда ее не увижу, то это сожаление носило бы на себе отпечаток моей ревности, и, не имевшее ничего общего с душераздирающей болью при мысли о том времени, когда я ее любил, это сожаление было бы не чем иным, как болью от невозможности сказать ей: «Ты вообразила, что я никогда не узнаю о твоем поведении вдали от меня, а я знаю все. На берегу моря ты говорила прачке: «Благодаря тебе я была на седьмом небе», я видел след от укуса». Конечно, я убеждал себя: «Зачем я мучаюсь? Та, что получала удовольствие от общения с прачкой, — теперь уже ничто, она не принадлежала к числу людей, которые оставляют по себе память. Она не говорит себе, что мне все известно. Но она не говорит себе и то, что мне ничего не известно, потому что она уже не говорит себе ничего». Но эти мысли не заслоняли картину наслаждения, которые она получала, картину, возвращавшую

мои мысли к той минуте, когда она испытывала его. Для нас существует только то, что мы чувствуем, и это чувство мы проецируем и на прошлое, и на будущее, не позволяя себе задерживаться у непрочных преград смерти. Если моя скорбь о том, что Альбертина мертва, находилась в эти мгновения под влиянием ревности и принимала совершенно особенную форму то это влияние порождало мысли об оккультизме, об аморальности, которые, в сущности, представляли собой усилие для того, чтобы попытаться осуществить то, чего я желал. В такие мгновенья, если б я сумел воскресить Альбертину, заставив вращаться стол, — верил же Бергот, что это возможно, — или встретиться с ней в ином мире, во что верил аббат Х., то мне нужно это было лишь для того, чтобы сказать ей: «Я знаю о прачке. Ты ей сказала: «Благодаря тебе я была на седьмом небе». Я видел след от укуса».

От образа прачки мне помог избавиться, — разумеется, некоторое время он стоял у меня перед глазами, — сам этот образ, потому что на самом деле нас волнует только то, что ново, внезапные изменения тональности, то, чего привычка еще не успела заменить своими бледными факсимиле. Но единственным способом существования во

мне Альбертины было дробление ее на мелкие частицы, на множество Альбертин. Снова наступали такие мгновенья, когда она была только добра, или умна, или серьезна, когда она любила меня даже больше всех видов спорта. И не было ли это дробление по существу справедливым, раз оно меня успокаивало? Не содержало ли в себе дробление вполне объективную, в сущности, истину, согласно которой каждый из нас — не един, что он состоит из множества людей различной нравственной ценности, и что если существовала порочная Альбертина, то это не исключало существования других Альбертин: той, что любила у себя в комнате потолковать со мной о Сен-Симоне; той, что, когда я вечером сказал ей о необходимости разлуки, ответила печально: «Фортепиано, комната… Неужели я никогда больше всего этого не увижу?»; той, что, заметив, как моя ложь в конце концов взволновала меня, воскликнула с такой неподдельной жалостью ко мне: «О нет! Я не хочу причинять вам боль, давайте условимся: я не буду делать попытки снова увидеться с вами?» Тогда я перестал быть один; я почувствовал, как рухнула разделявшая нас преграда. С той минуты, как эта милая Альбертина вернулась, я вновь обрел единственного челове-

ка, у которого я мог бы потребовать возмещение за все, чего я натерпелся от Альбертины. Разумеется, мне по-прежнему хотелось поговорить с ней о прачке, но не как жестокий триумфатор и не для того, чтобы со злобным чувством показать ей, что мне все известно. Если бы Альбертина была жива, я бы мягко спросил ее, есть ли правда во всей этой истории с прачкой. Она бы мне поклялась, что Эме мне наплел: чтобы я не подумал, что он не отработал денег, которые я ему дал, он решил заверить меня, что собрал сведения и заставил прачку сказать все, что нужно. Конечно, Альбертина продолжала бы обманывать меня. Но, в промежутках между приливами и отливами противоречий, я усматривал бы некоторый прогресс. Пусть даже в самом начале она ни в чем бы не призналась (не призналась бы даже невольно, даже в какой-нибудь фразе, которую пропускаешь мимо ушей), я не был бы в этом уверен: я ничего больше не помнил. Кроме того, у нее была странная манера выражаться: в одно и то же слово она вкладывала разный смысл. Да и потом, чувство, какое она испытывала бы при виде того, как я ревную, заставило бы ее с ужасом отвергнуть то, в чем она вначале охотно призналась. Кстати, Альбертине даже не нужно было

об этом говорить. Может быть, так как я был бы убежден в ее невиновности, мне было бы достаточно поцеловать ее, и я мог бы поцеловать ее и теперь, когда рухнула разделявшая нас преграда, похожая на неощутимую и сопротивляющуюся преграду, которая после ссоры возникает между влюбленными и о которую разбиваются поцелуи. Нет, ей ничего на нужно было говорить. Пусть бы она поступала, как ей нравилось, бедная девочка: ведь кроме того, что нас разделяло, иные чувства объединяли нас. Если все было так, как описывал Эме, но Альбертина скрывала от меня свои наклонности, то скрывала она их, чтобы не огорчать меня. Когда я представлял себе, как я все это объясняю вот такой Альбертине, во мне говорило чувство нежности. Кстати, знал ли я другую Альбертину? Быть доброй по отношению к другому человеку и любить его — это далеко не одно и то же. Мы любим улыбку, взгляд, плечи. Этого достаточно: тогда в долгие часы надежды или тоски мы создаем в своем воображении женщину, создаем ее характер. И если мы потом часто видимся с любимой женщиной, то, какие бы проявления жестокости мы у нее не замечали, мы уже не в состоянии лишить любящую нас женщину врожденной доброты, женщину, у ко-

торой такой взгляд, такие плечи; мы не можем, когда она стареет, лишить ее того, что, как мы знаем, было ей свойственно в молодости. Я опять представил себе чудный взгляд этой Альбертины, добрый и участливый, ее полные щеки, ее шею с крупными родинками. Это был образ мертвой, но так как эта мертвая жила, то мне было легко пойти на то, на что я пошел бы, если бы она, живая, была со мной (и на что я пошел бы, если бы мне суждено было встретиться с ней в ином мире): я ее простил.

Мгновения, которые я прожил вместе с этой Альбертиной, были мне так дороги, что я боялся выронить хотя бы одно их них. Подобно тому, как человек пытается поймать обрывки мыслей, которые он упустил по рассеянности, я находил такие, которые я считал утерянными навсегда: я вдруг вспомнил о прогулке, к которой моя мысль никогда раньше не возвращалась и во время которой, чтобы холодный воздух не добрался до моего горла, Альбертина, поцеловав меня, завязала мне шарф сзади. Эта обыкновенная прогулка, ожившая в моей памяти благодаря обычному движению рук Альбертины, доставила мне удовольствие воспоминанием об одном из незначительных предметов домашнего обихода,

о шарфе, только потому, что он принадлежал дорогой усопшей, об одном из предметов, которые нам приносит старая камеристка и которые так нам дороги. Об этом шарфе я давно и думать забыл, а теперь из-за него моя тоска переставала быть беспредметной. Как и будущее, мы глотаем прошлое не целиком, а по капельке.

По временам моя тоска принимала такие формы, что я ее не узнавал; я жаждал огромной любви, я хотел найти женщину, которая жила бы со мной — это казалось мне знаком, что я разлюбил Альбертину, а между тем это было доказательство, что я любил ее всегда, потому что жажда большой любви была равносильна желанию расцеловать полные щеки Альбертины, потому что это была часть моей тоски. И в глубине души я был счастлив, что не влюбился в другую женщину; я отдавал себе отчет, что длительная любовь к Альбертине была подобием тени чувства, которое я к ней испытывал, что она воспроизводила отдельные его части и подчинялась тем же законам, что и реальное чувство, которое она отражала поверх смерти. Я чувствовал всеми фибрами своей души, что если бы я отгородил одна от другой свои мысли об Альбертине, если бы я наставил слишком много

таких перегородок, я бы ее разлюбил; из-за этих разрывов она стала бы для меня безразлична, как безразлична стала для меня бабушка. Слишком большой интервал без мыслей о ней нарушил бы непрерывность воспоминания — этой основы жизни, хотя немного погодя она может и восстановиться. Не так ли было с моей любовью к Альбертине, когда она была жива? Эта любовь могла бы возродиться по прошествии долгого времени, когда я уже давно и не думал бы о ней. Итак, мое воспоминание должно было подчиняться тем же законам, не иметь долгих перерывов, потому что после смерти Альбертины оно, подобно северному сиянию, отражало чувство, которое я к ней испытывал, оно было как бы тенью моей любви. Вот когда бы я ее забыл, я мог бы прийти к решению, что разумнее и спокойнее жить без любви. Тоска по Альбертине порождала во мне необходимость иметь сестру, — вот почему это была тоска неизбывная. По мере того, как мо тоска по Альбертине ослабевала бы, необходимость иметь сестру, необходимость, которая являлась лишь неосознанной формой тоски, стала бы менее настойчивой. И, однако, эти пустоты в моем чувстве заполнялись неравномерно. Временами я готов был жениться, потому что одна из пустот

исчезла, а другая, напротив, ощущалась острее. Зато позднее мои ревнивые воспоминания угасали, и порой мое сердце наполняла глубокая нежность к Альбертине, тогда, размышляя о моих увлечениях другими женщинами, я говорил себе, что она поняла бы их, попыталась бы взглянуть на них моими глазами, причиной моих увлечений становился ее порок. Иногда ревность вспыхивала во мне, когда я не вспоминал об Альбертине. Я думал, что ревную ее к Андре, о любовном похождении которой мне только что сообщили. Но Андре была для меня всего-навсего подставным лицом, соединительной трубкой, штепсельным соединением между мной и Альбертиной. Так во сне мы наделяем человека обликом другого, именем другого, потому что их глубокое сродство не вызывает у нас ни малейшего сомнения. Несмотря на приливы и отливы, которые в особых случаях являлись отступлениями от общего закона, чувство, которое осталось у меня к Альбертине, было скорее горем, которое причинила мне ее смерть, нежели воспоминанием об его первопричине. Не только чувство, но и ощущение. Отличаясь в этом от Свана, который, когда он начал охладевать к Одетте, не мог даже воссоздать в себе ощущение своей любви,

я чувствовал, что прошлое еще живо, но только это история кого-то другого; мое «я» в известном смысле двоилось: в то время, как его высшая точка была уже твердой, застывшей, в своем основании оно, как искорка, поджигало его, даже когда мой разум давно отказался понимать Альбертину. Ни один ее образ не вызывал жестокой дрожи, не прибавлял слез, навертывавшихся мне на глаза от холодного ветра, обдувавшего, как в Бальбеке, розовый цвет яблонь. Я задавал себе вопрос: не объясняется ли возобновление моих душевных мук чисто патологическими причинами, и не является ли на самом деле то, что я принимал за возрождение воспоминания, началом болезни?

При некоторых болезнях бывают неприятные явления, которые больной легко смешивает с самой болезнью. Когда они проходят, он удивляется, что выздоровеет не так скоро, как надеялся. Такою была моя боль, когда началось «осложнение» — в виде писем Эме о душевой и о прачках. Но врачеватель души, который посетил бы меня, нашел бы, что моя душа чувствует себя хорошо. Во мне, так как я был одной из тех амфибий, которые погружены одновременно и в прошлое, и в настоящее, всегда жило противоречие между

воспоминаниями об Альбертине и сведениями о ее смерти. Однако это противоречие, если можно так выразиться, приобрело обратный смысл. Мысль о том, что Альбертина мертва, мысль, которая на первых порах с яростью набрасывалась на мысль о том, что она жива, так что я вынужден был спасаться от нее, как спасаются дети, боясь, что их захлестнет волна, эта мысль о смерти, даже при непрерывных приступах, в конце концов отвоевала себе место, которое еще совсем недавно занимала мысль о том, что она жива. Я не отдавал себе в этом отчета, но теперь именно мысль о смерти Альбертины, — а не воспоминание о ее жизни, — в большинстве случаев являлось основой моих неосознанных размышлений, так что если я прерывал их, чтобы подумать о себе, то во мне вызывало изумление, — как вызывало в первые дни, — не то, что Альбертины, жившей во мне такой полнокровной жизнью, нет на свете, что она могла умереть, а то, что Альбертина, которой нет на свете, которая умерла, осталась такой живой во мне. Сооруженный из длинной череды воспоминаний, темный туннель, в глубине которого я уже очень давно тешил себя надеждой, что Альбертина поостережется, внезапно оканчивался прорывом в солнечный свет, неживший

улыбчивую голубую вселенную, в которой Альбертина была всего-навсего очаровательным, но бездушным воспоминанием. Неужели именно она, — говорил я себе, — и есть настоящая, или же это — существо, которое во мраке, в котором я двигался так долго, представлялось мне единственной реальностью? Еще так недавно я был действующим лицом, которое жило в постоянном ожидании той минуты, когда Альбертина придет и скажет: «Здравствуй!». поцелует его; я был чем-то вроде размноженного «я», и оно заставляло меня представлять себе это действующее лицо всего лишь частицей, в которой от меня оставалась всего лишь половинная доля, и, как распускающийся цветок, я испытывал омолаживающую свежесть отпадения сухой коры. Эти мимолетные озарения помогали мне осознать мою любовь к Альбертине — так случается со всеми слишком устойчивыми мыслями, которые, чтобы утвердиться, нуждаются в том, чтобы их сменили другие. Те, кто пережил войну 1870 года, утверждают, что мысль о войне в конце концов стала казаться им естественной, и не потому, что они мало думали о войне, а потому, что думали о ней все время. Чтобы уяснить себе, насколько необычно и значительно такое событие, как

война, необходимо было, — поскольку что-то все-таки рассеивало их постоянное наваждение, — чтобы они на мгновение забыли, что идет война, чтобы они снова стали похожи на тех, какими были в мирное время, — до тех пор, пока вдруг на прозрачной пленке не проявится очень отчетливо чудовищная реальность, которую они уже давно перестали замечать, потому что, кроме нее, не видели ничего.

Если бы еще возврат разных воспоминаний об Альбертине происходил по крайней мере не постепенно, а одновременно, лобовой атакой, по всему фронту моей памяти, а воспоминания об ее изменах отдалялись бы в одно время с воспоминаниями о ее ласках, от забвения мне становилось бы легче. На самом деле все происходило не так. Подобно тому, как на берегу моря прибой отступает неравномерно, меня настигало то или иное из моих подозрений, когда нежный образ присутствия Альбертины слишком далеко уходил от меня, и облегчения я не ощущал.

Из-за измен Альбертины я настрадался, потому что, к какому далекому году они бы ни относились, для меня они не имели срока давности, но я не так сильно страдал после того, как они совершались, то есть когда я не так живо их себе

представлял, потому что удаление чего-либо пропорционально визуальной силе памяти, которая видит на реальном расстоянии истекших дней, — так воспоминание о сне последней ночи в своей неопределенности и неясности может показаться нам более отдаленным, чем событие, происшедшее много лет назад. Но хотя мысль о смерти Альбертины повлияла на меня, отлив ощущения, что она жива, если и не прекращал влияния, то все же противопоставлял одно другому, и благодаря этому влияния не отличались постоянностью. И теперь я сознавал (конечно, я сбрасывал со счета время, когда Альбертина была заточена у меня, когда я не страдал от ее грехопадений, к которым я тогда относился почти безразлично, так как знал, что она их не совершает, которые превратились как бы в доказательства ее невиновности), сознавал, что я мучился привыкая к столь же новой для меня мысли, как и та, что Альбертина умерла (до тех пор я всякий раз отталкивался от мысли, что она жива), мысли невыносимой, которая незаметно для меня, в самой глубине моего сознания постепенно вытеснялась мыслью о том, что Альбертина невиновна. Когда мне казалось, что я сомневаюсь, я ей верил; я принимал за отправ-

ной пункт других мыслей уверенность (которая часто бывала поколеблена) в ее виновности, хотя твердил себе, что все еще сомневаюсь. По-видимому, мне тогда было очень тяжело на душе, но я понимаю, что так оно и должно было быть. Можно выздороветь только при условии, что всю чашу страданий выпьешь до дна. Оберегая Альбертину от всяких знакомств, укрепляясь в самообмане, что она невиновна, так же как впоследствии беря за основу мысль о том, что она жива, я лишь оттягивал час выздоровления, оттого что продлевал время, которое должно быть временем необходимого предварительного страдания. Привычка к мыслям о невиновности Альбертины принесла бы мне успокоение в соответствии с законами, которые я уже не раз проверял на протяжении своей жизни. Вот так же имя Германтов утратило значение, и прелесть аллеи, обсаженной белыми лилиями, витража Жильбера Дурного, голубых всплесков морской волны, имена Свана, принцессы Германтской и стольких других. В действии привычки, подобно атаке, предпринятой с двух сторон одновременно, союзники поддержали бы друг друга. Мысль о виновности Альбертины стала бы для меня, па мере уменьшения болезненности, мыслью, более

близкой к истине, более привычной. С другой стороны, поскольку она была бы менее болезненной, то доводы, выдвигаемые в ее защиту, доводы, которые порождались только желанием умерить душевную боль, отпали бы один за другим, и я довольно скоро перешел бы от уверенности в невиновности Альбертины к уверенности в ее виновности. Мне надо было жить с мыслью о смерти Альбертины, с мыслью о ее ошибках для того, чтобы эти мысли стали для меня привычными, то есть чтобы я больше об этом не думал и, наконец, чтобы я забыл Альбертину.

От этого я еще был далек. Моя память, посветлевшая благодаря подъему моего интеллекта, — например, когда я много читал, — то утишала мою печаль, то, напротив, моя расходившаяся тоска поднимала выше, ближе к свету, какое-нибудь воспоминание о нашей любви.

Возврат моей любви к мертвой Альбертине мог начаться после долгого периода равнодушия, вызванного отвергнутым поцелуем в Бальбеке, периода, когда меня сильнее привлекали герцогиня Германтская, Андре, г-жа де Стермарья. Любовь возобновилась, когда я стал часто встречаться с Альбертиной. Даже теперь всевозможные заботы могли разлучить меня с мертвой

уже Альбертиной, — из-за этих забот она не так меня волновала. Но все это было связано с тем, что она продолжала быть для меня живой. И даже позднее, когда я любил ее меньше, желание осталось одним из тех, от которых скоро устаешь, но которые спустя некоторое время возникают вновь. Я шел вслед за одной живой Альбертиной, потом — за другой, потом возвращался к мертвой. Часто это происходило в самых глухих уголках моей души, когда я не мог составить себе ясное представление об Альбертине, когда одно ее имя, случайно всплывшее, вызывало у меня болезненную реакцию, хотя я полагал, что ее у меня больше не будет, как у человека умирающего, у которого деятельность мозга прекращается и у которого какой-нибудь орган сокращается только тогда, когда в него втыкают иголку. И в течение долгого времени эти возбуждения бывали у меня так редко, что я пытался искать в себе самом причины тоски, приступа ревности, чтобы связать себя с прошлым, чтобы припомнить все, что в моих силах, об Альбертине. Сожаление о женщине — всего лишь способная к оживанию любовь; человек остается под властью тех же законов, что и она; мое сожаление возрастало по тем же причинам, которые при жизни Альбер-

тины усиливали мою любовь к ней, при этом, основными причинами всегда были ревность и страдание. Но чаще эти причины (болезнь, война могут опрокинуть все расчеты самой проницательной мудрости) возникали без моего ведома и наносили мне такие сильные удары, что мне уже было не до воспоминаний — я думал, как бы избавиться от душевной боли.

Да и потом, достаточно было одного слова, как, например, Шомон, ничего общего не имевшего с моими подозрениями[9], чтобы вызвать их, — это слово становилось паролем, волшебным Сезамом, приотворяющим дверь в прошлое, — слова, которое не принимаешь во внимание потому, что, вдоволь на него насмотревшись, перестаешь им владеть; оно меня принижало; мне казалось, что из-за вырыва слова из контекста моя личность меняет форму — так геометрическая фигура утратила бы вместе с углом и целую сторону; некоторых фраз, в которых было название улицы, дороги, где могла раньше находиться Альбертина, было довольно для того, чтобы заста-

[9] Примечания: 9

Чтобы восстановить контакт между Альбертиной и моим сердцем, моей памяти довольно было обнаружить в двух разных словах одинаковый слог, — так электрик довольствуется простейшим, но хорошим проводником.

вить беспредметную добродетельную ревность искать для своего воплощения тело, жилище, что-нибудь физически устойчивое, что-нибудь вполне реальное.

Часто это случалось со мной во сне. Эти возвращения, эти *dacapo*[10] сновидения, которые одним махом переворачивают несколько страниц памяти, несколько листков календаря, вынуждали меня отступить перед болезненным, хотя и минувшим впечатлением, которое уже давно уступило место другим и которое теперь вдруг снова стало сегодняшним. Обычно оно сопровождалось целой мизансценой, бездарной, но захватывающей, которая, вводя меня в заблуждение, ставила перед моими глазами, заставляла звучать у меня в ушах то, что отныне датировалось этой ночью. Кстати, в истории любви и борьбы с забвением не занимает ли сон даже больше места, чем бодрствование, ибо он не принимает в расчет бесконечно малые деления времени, стирает переходы, сталкивает резкие контрасты, в одно мгновение уничтожает работу утешения, которая так медленно ткалась в течение целого дня, и устраивает нам ночью

---

[10] Примечания: 10
Буквально: все вновь и вновь (шпал).

встречу с той, которую мы в конце концов забыли бы, при условии, впрочем, что мы больше ее не увидим? Что бы ни говорили, у нас легко может во сне создастся впечатление, что происходящее — реально. Это было бы невозможно только для действий, исторгнутых из нашего опыта во время бодрствования, опыта, который в данный момент нам не виден. Таким образом, эта фантастическая жизнь представляется нам реальной: Иной раз, хотя из-за недостатка внутреннего освещения пьеса в целом проваливалась, мои воспоминания, поставленные на сцене, все же создавали иллюзию жизни; я в самом деле думал, что назначил Альбертине свидание, думал, что разыщу ее, но чувствовал, что не в состоянии подойти к ней, выговорить слова, которые мне хотелось сказать ей, снова зажечь, чтобы ее увидеть, погасший факел; бессилие, охватившее меня во сне, — это была всего лишь неподвижность, немота, слепота спящего: так в волшебном фонаре огромная тень, которая должна была бы быть спрятана, заслоняет тень от действующих лиц и представляет собой тень фонаря или же оператора. В другом сне опять оказывалась Альбертина, и опять она хотела меня покинуть, но ее решимость меня не трогала. Моя память пропускала в тьму пре-

дупредительный луч: при его свете было видно, что будущие поступки Альбертины, ее отъезд, о котором она объявляла как о чем-то очень важном, — это не более, чем мысль о ее смерти. Но часто было даже еще более явственным сочетание мысли, что она мертва, с ощущением, что она жива, — с ощущением, которое мысль о смерти не уничтожала. Я разговаривал с Альбертиной, а в это время в глубине комнаты ходила взад и вперед моя бабушка. Часть ее подбородка раскрошилась как мрамор, но я ничего необыкновенного в этом не находил. Я говорил Альбертине, что мне хочется расспросить ее о бальбекских душевых и о туреньской прачке, но откладывал это на потом: ведь все же время принадлежало нам, ничто нас не подгоняло. Альбертина давала слово, что ничего плохого не делала и что только накануне она поцеловала в губы мадмуазель Вентейль. «Как! Да разве она здесь?» — «Здесь, и мне как раз пора идти — я должна в назначенное время ее навестить». С тех пор, как Альбертина умерла, она перестала быть моей пленницей, какой она была в последние годы ее жизни, и ее визит к мадмуазель Вентейль меня встревожил. Но я не показал виду. Альбертина призналась, что она ее только поцеловала, но, должно быть,

она снова начала лгать, как в те времена, когда отрицала все. По всей вероятности, она не ограничится поцелуем. С известной точки зрения я зря так беспокоился: говорят, что мертвые ничего не чувствуют, ничего не делают. Так говорят, но моя покойная бабушка живет уже много лет и вот сейчас ходит взад и вперед по комнате. В первый раз, когда я проснулся с мыслью, что мертвая продолжает жить, должна была бы показаться мне непостижимой, необъяснимой. Но она ко мне уже столько раз приходила в часы безумия, каковыми являются наши сны, что в конце концов я свыкся с нею; память о снах, если они часто повторяются, может быть долгой. И я могу себе представить, что если некто излечился и вошел в разум, то он должен понимать лучше других, что ему хотелось сказать на протяжении истекшего периода его умственной жизни: желая доказать посетителям лечебницы для душевно больных, что он, вопреки утверждениям доктора, не сумасшедший, он сравнивал свое душевное здоровье с безумием каждого из больных и делал вывод: «Вы ведь не сочли бы сумасшедшим того, кто ничем не отличается от всех остальных, ну так вот: он — сумасшедший, он вообразил себя Иисусом Христом, а этого никак не может быть, потому

что Иисус Христос — это я!» Когда я просыпался, меня долго потом мучил поцелуй, о котором мне говорила Альбертина, выражения, которые она употребляла, долго еще были у меня на слуху. И в самом деле: они, должно быть, пролетали совсем рядом с моими ушами, потому что ведь это я же их и произносил. Целый день я разговаривал с Альбертиной, расспрашивал ее, прощал, искупал то, что забыл сказать ей при ее жизни, несмотря на то, что мне хотелось ей это сказать. Внезапно я приходил в ужас при мысли, что вызванной из небытия моею памяти девушки, с которой я вел разговор, больше нет, что разрушены отдельные части ее лица, которые объединяла постоянная жажда жизни, ныне исчезнувшей.

В иные дни, когда я был не способен даже воображать, после пробуждения я чувствовал, что ветер во мне изменил направление; холодный, неутихающий, он дул из глубины минувшего и доносил до меня далекий звон часов, свистки перед отправлением поездов, то, чего я обычно не слышал. Я брал книгу. Вновь открывал мой любимый роман Бергота; симпатичные действующие лица мне нравились, и скоро, подпав под обаяние автора, я уже хотел, чтобы злая женщина была наказана, как будто она сделала зло лично мне;

если молодожены были счастливы, на глазах у меня выступали слезы. «Но, стало быть, — в отчаянии говорил я себе, — из того, что я придаю такое значение поступкам Альбертины, я не могу сделать вывод, что ее личность продолжает быть реальной, не подлежащей уничтожению, что я встречусь на небесах с похожей на нее, хотя прежде мне никогда не случалось ее видеть и я волен рисовать себе ее облик как мне угодно, — не могу сделать этот вывод, раз я так усердно молюсь, с таким нетерпением жду, раз у меня вызывает слезы радости успех человека, существовавшего только в воображении Бергота!» В его романе были соблазнительные девушки, любовные записки, пустынные аллеи, где встречаются герои. Это мне напоминало, что можно любить тайно, это пробуждало во мне ревность, как будто Альбертина еще могла гулять в пустынных аллеях! И еще там речь шла об одном мужчине: пятьдесят лет спустя он встречается с женщиной, которую любил в молодости, не узнает ее и скучает в ее обществе. И это мне напоминало, что любовь не долговечна, и волновало так, как если бы мне было суждено расстаться с Альбертиной, а в старости вновь, но уже равнодушно, встретиться с ней. Если же передо мной была карта Франции, мой испуганный

взгляд не задерживался на Турени, чтобы не терзаться ревностью и не горевать, на Нормандии, где были помечены, во всяком случае, Бальбек и Донсьер, между которыми я представлял себе дороги, где мы столько раз проходили вместе! Среди разных названий французских городов и селений название Тура, например, казалось созданным по-другому: не из нематериальных образов, а из ядовитых веществ, и сейчас же действовало мне на сердце: его удары становились все учащеннее и болезненнее. Я вспоминал, как Альбертина, выходя из вагона, говорила, что ей хочется съездить в Сен-Мартен Одетый, я видел ее в более давние времена, с вуалеткой, опущенной на лицо; я искал путей к счастью и, устремляясь к ним, говорил: «Мы могли бы вместе съездить в Кемперлэ, в Понт-Авен». Не было такой станции близ Бальбека, где бы я ни представлял себе Альбертину, так что этот край превращался для меня в сохранившуюся от древнейших времен мифологическую страну с живыми и жестокими легендами, очаровательными, забытыми из-за того, что моя любовь перешла в другие края. Ах, как было бы мне больно когда-нибудь снова лечь в бальбекскую кровать с ее медной рамой, вокруг которой, как вокруг неподвижной оси, вокруг

неподвижного стержня, двигалась моя жизнь, последовательно вбирая в себя веселые разговоры с бабушкой, ужас ее смерти, нежные ласки Альбертины, открытие ее порока, а теперь настала новая жизнь, когда при виде застекленных книжных шкафов, в которых как бы отражалось море, в меня впивалась мысль, что Альбертина никогда больше сюда не войдет! Не был ли бальбекский отель единственной декорацией провинциального театра, где на протяжении многих лет ставят самые разные пьесы — комедии, трагедии, пьесы в стихах, — отель, который отошел уже в довольно далекое прошлое, хотя всегда с новыми эпохами моей жизни в его стенах? Но пусть этот период моей жизни навсегда останется тем же: стены, книжные шкафы, зеркала вызывали во мне такое чувство, что это уже последний период, что это — я сам, только изменившийся, и у меня создавалось впечатление, какого не бывает у детей: пессимистические оптимисты, они верят, что тайны жизни, смерти, любви скрыты, что их они не касаются, и вдруг ты с болезненной гордостью убеждаешься, что на протяжении многих лет составлял единое целое со своей жизнью. Я пытался читать газеты.

Чтение газет было для меня занятием отвра-

тительным, но не бесполезным. В самом деле, в нас от каждой идеи как от развилки в лесу, отходит столько разных дорог, что в ту минуту когда меньше всего этого ожидаешь, оказываешься перёд новым воспоминанием. Название мелодии Форе «Тайна» привело меня к «Тайне короля» герцога де Бройль, Бройль — к Шомону. Слова «Великая Пятница» напомнили мне о Голгофе, Голгофа — о происхождении этого слова, кажется, от *Calvusmons,* от Шомона. Но какой бы дорогой ни подходил я к Шомону, в эту минуту меня потрясал такой жестокий удар, что я уже не столько предавался воспоминаниям, сколько думал, как бы мне утешить боль. Несколько мгновений спустя после удара, сознание, которое, как гром, движется не скоро, объясняло мне причину удара. Шомон навел меня на мысль о Бют-Шомоне: г-жа Бонтан мне сказала, что Андре часто гуляет здесь с Альбертиной, а между тем Альбертина говорила мне, что никогда не видела Бют-Шомона. В определенном возрасте наши воспоминания так тесно переплетаются, что твои мысли, книга, которую ты читаешь, уже не играют роли. Всюду ты вкладываешь частицу самого себя, все благодатно, все опасно, в рекламе мыла можно сделать такие же драгоценные открытия,

как в «Мыслях» Паскаля.

Конечно, история с Бют-Шомоном в ничем не примечательный период времени, действительно, говорила против Альбертины, только история была не решающей, гораздо менее важной, чем история со служащей из душевой или с прачкой. Но воспоминание, предстающее перед нами случайно, находит в нас нетронутую мощь воображения, в данном случае — душевных сил, которые мы лишь частично потратили, когда умышленно напрягали интеллект, чтобы воссоздать воспоминание. И потом, к женщине из душевой, к прачке, постоянно присутствовавшим, хотя и затемненным в моей памяти, как в полумраке галереи мебель, на которую стараются не наткнуться, я привык. А вот о Бют-Шомоне я давно уже не вспоминал, как о взгляде Альбертины в зеркале бальбекского казино или о необъяснимом ее взгляде в тот вечер, когда я так ждал ее после вечера у Германтов, о всех чертах ее жизни, которые не затрагивали моего внутреннего мира, но о которых мне все же хотелось знать, чтобы они внедрились в нее, вросли, хотелось присоединить воспоминания более приятные о сторонах жизни этого, правда же, одержимого создания. Стоило мне приподнять уголок тяжело-

го покрова привычки (привычки оглупляющей, которая неизменно скрывает от нас почти всю вселенную и темной ночью под всегдашней этикеткой заменяет самые возбуждающие и самые опасные яды жизни чем-то безобидным и безвкусным), и они являлись ко мне, как в первый день, полные свежей, пронзающей новизны вновь наступающего времени года, вносящей изменения в рутину наших часов, всколыхивающей ее и в области удовольствий: садясь в карету в первый погожий весенний день или выходя из дому на рассвете, мы смотрим на наши незначительные поступки с трезвой восторженностью, которая помогает этой великой минуте взять верх над итогом предыдущих дней. Я снова выходил после вечера, проведенного у принцессы Германтской, и ждал появления Альбертины. Прошедшие дни мало-помалу прикрывают те, которые им предшествовали и которые сами погребены под теми, что следуют за ними. Но каждый истекший день остается в нас, как в обширном книгохранилище, где хранится в одном экземпляре самая старая книга, которую никто никогда не востребует. Но если этот прошлый день, пересекая полупрозрачность последующих времен, поднимется к поверхности и распространится в нас, — в нас,

которых он целиком прикрывает, — то тогда в одно мгновенье имена вновь приобретают свое прежнее значение, живые существа принимают свой прежний облик, мы обретаем нашу прежнюю душу, и перед нами встают с не сильной, терпимой болью, которая скоро пройдет, давно оставшиеся неразрешимыми проблемы, над которыми мы когда-то ломали голову. Наше «я» состоит из последовательно напластовавшихся душевных состояний. Но это напластование неизменно, как стратификация горы. Постоянные сдвиги земной коры выравнивают на поверхности прежние слои. Я — вновь после вечера у принцессы Германтской в ожидании Альбертины. Как она провела ночь? Изменила ли мне? С кем? Разоблачения Эме, далее если б я им и поверил, не понизили бы для меня настойчивый, сосущий душу интерес к этому вопросу, словно каждая новая Альбертина, каждое новое воспоминание о ней ставили передо мной проблему особенной ревности, проблему, к которой решения других были не применимы. Мне хотелось не только знать, с какой женщиной она провела ночь, — мне важно было знать, какое удовольствие она получила, что происходит в ней сейчас. В Бальбеке Франсуаза несколько раз ходила за

ней, докладывала, что та с тревожным, ищущим взглядом словно кого-то поджидала, свесилась из окна. Положим, я узнал бы, что она ждала Андре, но в каком настроении она се ждала, скрытом за тревожным, ищущем взглядом? Что значило для Альбертины это влечение, какое место занимало оно среди ее забот? По собственному опыту я знал: одного воспоминания о том, что когда я встречал девушку, к которой был неравнодушен, что даже когда слышал разговор о ней, а ее самое не видел, мне уже хотелось казаться красивым, я подтягивался, покрывался холодным потом, — этого воспоминания мне было достаточно, чтобы измучить себя, вообразить, что Альбертина так же была возбуждена. После визита врача-скептика, тетя Леония высказала пожелание чтобы изобрели аппарат, при помощи которого доктор испытал бы все на себе и яснее представлял себе страдания больного. Одного этого воспоминания было достаточно чтобы измучить себя, чтобы внушить себе, что по сравнению с ожиданием встречи серьезные беседы со мной о Стендале и о Викторе Гюго, видимо, не имели для Альбертины большого значения: они не давали ей почувствовать, как ее влечет к другим, как она привязывается ко мне, как воплощается в ком-

нибудь другом. Но само по себе значение, какое должны были иметь для Альбертины желание и все, что образовалось вокруг него, не открывали мне, чем же это других, как она определяла его, когда говорила сама с собой. В области физической боли мы, по крайней мере, не имеем возможности выбирать. Страдание определяет и навязывает нам недуг. А вот в ревности нам надлежит перепробовать все виды и размеры страданий, прежде чем остановиться на том, какое, по нашему мнению, нам может подойти. И что же может быть острее в таком страдании, чем почувствовать, что любимая женщина испытывала наслаждение с другими, не похожими на нас людьми, от близости с которыми она получала ощущения, какие мы не способны ей дать, или, по крайней мере, форму этих ощущений, их изображение, их отделку, и что все это было у нее не с нами? Уж лучше бы Альбертина полюбила Сен-Лу! Наверно, я не так бы страдал.

Разумеется, нам не известна особая чувствительность каждого обычно мы даже не подозреваем, что нам она неизвестна, потому что чувствительность других людей нам безразлична. Что касается Альбертины, то мое счастье или несчастье зависело бы от того, что собой пред-

ставляла это чувствительность; я отдавал себе отчет, что она мне неведома, и то, что она мне неведома, уже причиняло мне боль. Однажды мне почудилось, что я вижу желания, неведомые наслаждения, которые испытывала Альбертина, в другой раз — что я их слышу. *Я* увидел их, когда некоторое время спустя после смерти Альбертины ко мне пришла Андре. В первый раз мне показалось, что она красива; я говорил себе, что, вне всякого сомнения, Альбертине понравились эти курчавые волосы, темные подведенные глаза. Передо мной была материализация того, чем полнились любовные мечтания Альбертины, что она предугадывала в тот день, когда ее внезапно потянуло из Бальбека. Как на темный, загадочный цветок, принесенный на память об усопшей с могилы, где бы я его ни нашел, я смотрел на необычайную эксгумацию драгоценного сокровища — на воплощенное Желание Альбертины, каким являлась для меня Андре, так же как Венера была желанием Юпитера. Андре жаль было Альбертину, но я сразу почувствовал, что утрата подруги ей не тяжела. Насильственно удаленная от подруги ее кончиной, она словно бы отнеслась равнодушно к разлуке с ней, а при жизни Альбертины я не решился бы заговорить с Андре об ее

отношении к разлуке — мне было бы страшно не добиться ее согласия. Она как будто бы спокойно перенесла это расставание, но я об этом узнал, когда их разлука уже не имела для меня никакого значения. Андре лишала меня Альбертины, но Альбертина мертвой, утратившей не только жизнь, но и отчасти свою реальность вообще, — я же видел, что Альбертина не была необходимой, единственной подругой Андре, я видел, что Андре могла найти ей замену.

При жизни Альбертины я не посмел бы выспрашивать у Андре тайну их дружбы, а также их отношений с подругой мадмуазель Вентейль, — ведь я же не был уверен до конца, что Андре не передаст моего разговора с ней Альбертине. Теперь такой допрос, даже если бы я не получил ответа, был бы, во всяком случае, безопасен. Я заговорил с Андре не в вопросительном тоне, а как будто знал об этом всегда, — может быть, от самой Альбертины, — о влечении Андре к женщинам и о ее отношениях с мадмуазель Вентейль. Андре призналась во всем с легкостью, улыбаясь. Из этого признания я мог бы сделать страшные выводы: Альбертина, приветливая, кокетничавшая в Бальбеке с многими молодыми людьми, никому не давала повода заподозрить ее в такого рода от-

ношениях, которые она вместе с тем не отвергала, так что, открывая эту новую Альбертину, я мог думать, что она с такой же легкостью признается в них любому другому мужчине, который, как ей казалось, ее ревнует. Кроме того, поскольку Андре, ближайшая подруга Альбертины, ради которой она, вероятно, уехала из Бальбека, во всем призналась, то у меня напрашивалось такое заключение: Альбертину и Андре всегда связывали определенные отношения. Мы не всегда решаемся при постороннем человеке прочитать письмо, которое он нам передал, мы вскроем конверт только после его ухода, — точно так же, пока Андре была в Бальбеке, я не погружался в себя, чтобы изучить страдание, которое из-за нее терпели мои физические прислужники: нервы, сердце; благодаря хорошему воспитанию, я старался не выдавать волнения, — я вел светский разговор с девушкой-гостьей, не прислушиваясь к себе. Особенно тяжело мне было слушать, как Андре, говоря об Альбертине, сообщала: «Да, да, она очень любила прогулки в долине Шеврез». Мне казалось, что в туманном, несуществующем мире, где гуляли Альбертина и Андре, Андре только что по внушению дьявола прибавила к миру Божьему эту проклятую долину. Я чувство-

вал, что Андре намерена сообщать мне обо всем, что было у них с Альбертиной, и всеми силами старался притворяться, казаться из вежливости, может быть из чувства признательности, все более влюбленным, между тем как пространство, которое я еще мог уступить невинности Альбертины, все сужалось. Мне казалось, что, несмотря на мои усилия, я похож на окоченевшее животное, над которым кружит, все суживая круги, колдовская птица, и она не торопится: она уверена, что при желании она настигнет жертву, которой от нее некуда скрыться. И все-таки я продолжал смотреть на нее и, собрав остатки хорошего настроения, естественности, уверенности в людях, которые делают вид, что не боятся гипноза, пристально глядя на Андре, я сказал первую попавшуюся фразу: «Я никогда с вами об этом не говорил из боязни вас рассердить, но теперь, когда нам приятно поговорить о ней, я могу вам признаться, что уже давно знал об отношениях, которые были у вас с Альбертиной. Кстати, вам это доставит удовольствие, хотя вы это знаете: Альбертина вас обожала». Я сказал Андре, что мне было бы чрезвычайно любопытно на нее посмотреть (даже на ее ласки, которые не очень бы ее смущали), увидеть, как она обходится с

подругами, у которых такое же влечение, и тут я назвал Розамунду, Берту, всех подружек Альбертины. «Я бы ни за что на свете не исполнила вашей просьбы, — ответила Андре, — а кроме того, я не думаю, чтобы хоть у кого-нибудь из девушек, которых вы назвали, было бы такое влечение». Невольно приближаясь к привлекшему меня чудовищу, я сказал: «Вам меня не убедить, что из всей вашей стайки только у вас с Альбертиной были такие отношения!» — «Да у нас с Альбертиной никогда таких отношений не было». — «Андре, милая, ну к чему отрицать то, о чем я знаю года три? Я не вижу в этом ничего дурного, напротив. Я насчет вечера, когда ей так хотелось поехать с вами на другой день к мадмуазель Вентейль, так вы, может быть, помните...» Тут я увидел, что в глазах Андре, острых, как камни, которые из-за их остроты ювелирам трудно подвергать обработке, промелькнуло смущение, — так машинисты сцены, подняв занавес, со всех ног бегут за кулисы, чтобы никто из зрителей их не заметил. Тревога в глазах Андре исчезла, спокойствие к ней вернулось, но я чувствовал, что в дальнейшем пьеса будет идти только для меня. Тут я увидел себя в зеркале; я был поражен сходством между мной и Андре. Если бы я давно

не перестал брить усы и если бы от них у меня остался только пушок, сходство было бы почти полным. Может быть, взглянув в Бальбеке на мои чуть пробивавшиеся усы, Альбертине вдруг нестерпимо, до безумия захотелось в Париж. «Я бы не стала упорствовать, раз вы не видите в этом ничего дурного. Но я клянусь, что никогда у нас с Альбертиной ничего такого не было, я убеждена, что и она это ненавидела. Люди, которые на нас наговорили, солгали, — может быть, они были в этом как-то заинтересованы», — глядя на меня вопросительно и недоверчиво, добавила она. «Ну что ж, пусть будет так, раз вы не хотите сознаться», — проговорил я, предпочитая сделать вид, что не хочу спорить, коль скоро у меня нет веских доказательств. Однако я как бы между прочим, на всякий случай обронил название Бют-Шомон. «Я могла там быть с Альбертиной, но разве это место пользуется дурной славой?» Я спросил Андре, не могла ли бы она разузнать у Жизели, которая одно время дружила с Альбертиной. На это Андре ответила, что после того, как Жизель недавно сделала ей гадость, просить ее о чем-либо — это единственно, в чем она, Андре, отказала бы мне. «Если вы с ней увидитесь, — предупредила она, — то не передавайте ей, что

я вам о ней сказала, — приобретать в ее лице врага не в моих интересах. Она знает, какого я о ней мнения, но я всегда избегала крупных ссор с ней, потому что они влекут за собой примирение. Кроме того, она опасна. Но ведь вы понимаете, что когда прочтешь письмо, которое я получила неделю назад и в котором она с таким коварством лгала, то даже самые благородные поступки не изгладят о нем воспоминания». В общем, если у Андре было столь сильное влечение, что она не считала нужным это скрывать, Альбертина же была к ней очень привязана, то, несмотря на это, у Андре никогда не было телесной близости с Альбертиной, и она понятия не имела, что у Альбертины было такое влечение, а значит, у Альбертины его и не было, как не было у нее ни с кем другим таких отношений, какие у нее могли быть с Андре. Вот почему, когда Андре уехала, я заметил, что ее столь решительное утверждение меня успокоило. Но, может быть, в Андре говорило чувство долга к покойной, память о которой была еще свежа в ней, — долга разубеждать в том, что Альбертина при жизни несомненно просила ее отрицать.

Я так часто пытался представить себе наслаждения Альбертины, что однажды мне на миг

почудилось, будто я их увидел, когда смотрел на Андре; в другой раз мне показалось, что я их услышал. В доме свиданий я позвал двух молоденьких прачек из одного квартала, куда часто ходила Альбертина. Под ласками одной из них у другой вырывались звуки, которые поначалу я не мог определить, — ведь никогда не угадаешь, что это за необычный звук, выражающий ощущение, которого ты сам же не испытывал. Если слышишь его из соседней комнаты, ничего не видя, его можно принять за безудержный смех, который боль вырывает у больного, оперируемого без наркоза; если звук вырывается из груди матери, которой сообщают, что ее ребенок сию минуту умер, то, при условии, что мы не знаем, в чем дело, этот звук столь же трудно переводим на человеческий язык, как рычание зверя или же звук арфы. Надо, чтобы прошло какое-то время, чтобы уяснить себе, что оба эти звука выражают нечто совершенно особое и что я назвал наслаждением; и, по всей вероятности, оно было сильным, если до такой степени перевернуло девушку, которая его испытывала, и вырвало у нее незнакомый звук, который как будто обозначает и комментирует все действия изумительного драматического произведения, в каком принимала участие сла-

бая женщина и какую скрывал от меня занавес, навсегда опущенный для других. Кстати, эти две малышки ни о чем не могли меня осведомить — они понятия не имели, кто такая Альбертина.

Романисты часто предуведомляют в предисловии, что, путешествуя по какой-нибудь стране, они встретили кого-то, кто рассказал им о жизни такого-то человека. Затем они предоставляют слово своему приятелю, и его рассказ — это и есть от слова до слова их роман. Так падуанский монах рассказал Стендалю жизнь Фабрицио дель Дондго. Как нам хочется, когда мы любим, то есть когда жизнь другого человека представляется нам таинственной, найти такого осведомленного рассказчика! И, конечно, ой существует. А разве мы сами часто не повествуем бесстрастно о жизни женщины кому-нибудь из наших приятелей или незнакомцу, которые понятия не имели об ее романе и с любопытством нас слушают? Тот, кем я был, когда говорил с Блоком о принцессе Германтской, о г-же Сван и который мог бы рассказать мне об Альбертине, он жив и теперь… но мы с ним не встречаемся. Мне казалось, что если б я мог разыскать женщин, которые были с ней знакомы, мне было бы известно все. Люди, с ней незнакомые, наверное, решили бы, что так знать

ее жизнь, как я, не знал никто. Разве я не знал лучшей ее подруги Андре? Вот так же люди бывают уверены, что друг министра должен знать правду о некоторых делах или не может быть впутан в судебный процесс. И вот этот ближайший друг убеждается, что всякий раз, как он толковал с министром о политике, министр отделывался общими фразами и сообщал не больше, чем было известно из газет; если же у друга были неприятности, то, как бы он ни просил министра за него заступиться, министр неизменно обрывал его фразой, вроде: «Тут я бессилен». Я говорил себе: «Вот бы мне найти таких свидетелей, от которых, если бы я их знал, я не мог бы добиться больше, чем от Андре, хранительницы тайны, которую она не хотела открывать! Не похожий на Свана, который, перестав ревновать, перестал интересоваться, что у Одетты с Форшвилем, я, даже после того, как улеглась моя ревность, искал знакомства с прачкой Альбертины, с теми, кто жил в одном с ней квартале, пытался представить себе ее жизнь, ее плутни — только в этом крылось для меня очарование. Но наслаждение порождается предыдущим, как это у меня было с Жильбертой, с герцогиней Германтской, поэтому источники очарования оказались для меня в тех кварталах,

где раньше жила Альбертина, женщины ее круга, которых я принялся разыскивать и о встречах с которыми я мог бы только мечтать. Меня влекло к женщинам, которым нечего было сообщить мне об Альбертине, но которых Альбертина знала или могла бы знать, женщины ее круга или кругов, где она хорошо себя чувствовала, — словом, женщины, имевшие для меня ту прелесть, что были на нее похожи или понравились бы ей. И среди этих последних — особенно к девушкам из народа, потому что их жизнь резко отличалась от жизни, какую знал я. Мы обладаем вещами лишь мысленно, мы не обладаем картиной, хотя она висит у нас в столовой, раз не умеем ее понять, как не обладаем страной, где мы живем, но даже еще не видели ее. Впрочем, у меня и раньше рождалось чувство, будто я вновь в Бальбеке, когда в Париже Альбертина приходила ко мне и я обнимал ее; то же чувство появлялось, когда я вступал в контакт, довольно тесный и, кстати сказать, непродолжительный, в ателье, во время разговора за прилавком, в какой-нибудь трущобе, где я целовал работницу. Андре, другие женщины — все они по отношению к Альбертине, — как Альбертина по отношению к Бальбеку, — являлись взаимозаменяющими в нисходящем

порядке заместительницами наслаждений, которые дают нам возможность обходиться без того, что теперь нам недоступно: поездки в Бальбек или любви Альбертины, посмотреть в Лувре картину Тициана или съездить в Венецию, которые, будучи отделены одна от другой неразличимыми оттенками, образуют в нашей жизни, вокруг первого наслаждения, задавшего тон, исключившего то, что с ним не сочеталось, все окрасившего в один цвет (как это произошло со мной во время увлечения герцогиней Германтской и Жильбертой), что-то вроде ряда концентрических зон, смежных, последовательных, гармоничных. В Андре и в других женщинах я нуждался, потому что они доставляли мне наслаждение, которого я был теперь лишен: наслаждения иметь рядом с собой Альбертину; это я понял однажды вечером, еще до того, как узнал Альбертину не просто в лицо; я думал, что я никогда не испытаю наслаждения иметь ее рядом с собой, эту свежую, освещенную изменчивым солнечным светом виноградную лозу. Напоминая мне то Альбертину, то тип женщины, к которому она несомненно принадлежала, Андре и другие пробуждали во мне жестокое чувство ревности или чувство сожаления, которое впоследствии, когда утихла

моя душевная боль, сменилось любопытством, не лишенным приятности. Присоединенные к воспоминанию о моей любви, физические и классовые особенности Альбертины, вопреки которым я ее полюбил, странным образом устремили мое желание к брюнеткам, вышедшим из мелкой буржуазии. Во мне частично начинало возрождаться огромное желание, которое моя любовь к Альбертине не могла утолить, огромное желание узнать жизнь, которое я испытывал прежде на дорогах Бальбека, на улицах Парижа, желание, причинявшее мне жгучую боль, когда, полагая, что оно существует и в сердце Альбертины, я решил не давать ей воли. Теперь, когда мое желание мгновенно будило мысль о желании Альбертины, когда они совпадали, мне хотелось, чтобы мы предавались ему вместе. Я говорил себе: « Эта девушка ей понравилась бы», но за этим следовал резкий переход к мысли о ее смерти, моя тоска отрезала мне дальнейший путь вслед за моим желанием. Подобно тому, как раньше дороги в Мезеглиз и в Германт породили во мне любовь к деревне и не дали мне увидеть одухотворенную красоту в местности, где не было старинной церкви, васильков, золотистых бутонов, точно так же моя любовь к Альбертине заставляла меня искать

строго определенный тип женщины, выхватывая его из моего чудесного прошлого; я вновь, как перед началом моей любви к Альбертине, ощущал потребность в ее призвуках, взаимозаменяемых с моим воспоминанием, постепенно вытесняемым другими. Теперь мне было бы тяжело находиться рядом со светловолосой гордой герцогиней, потому что она не пробудила бы во мне ощущений, какие вызывала Альбертина, моего желания, ревности, моих страданий после ее кончины. Наши чувства, для того чтобы быть сильными, должны развязать в нас нечто отличающееся от них, чувство, которое не может найти удовлетворение в наслаждении, но которое примыкает к желанию, влечению, заставляет его цепляться за наслаждение. Так как я больше не страдал от любви Альбертины к женщинам, то эта любовь выхватывала их из моего прошлого, придавала им нечто более реальное, похожее на золотистые бутоны; так воспоминание о Комбре придавало боярышнику большую реальность, чем цветам, позднее появившимся в моей жизни. Даже об Андре я уже не говорил себе с яростью: «Альбертина ее любила», — чтобы объяснить себе свое желание, я говорил, смягчившись: «Альбертина ведь ее любила!» Теперь я понимал вдовцов, о

которых говорят, что они утешены и которые доказывают, что они безутешны, потому что женились на свояченицах.

Таким образом, моя угасавшая любовь как будто бы не препятствовала новым увлечениям; Альбертину можно было сравнить с долго любимыми женщинами, которые, чувствуя, что пыл их возлюбленных ослабевает, сохраняют свою власть, довольствуясь ролью посредниц, как, например, г-жа де Помпадур по отношению к Людовику XV. Раньше мое время было разделено на периоды, когда я мечтал о такой-то или о такой-то женщине. Когда потребность в острых наслаждениях, которые я испытывал с такой-то женщиной, проходила, меня влекло к той, у которой я находил нежность — и больше почти ничего, а затем потребность в более изощренных ласках снова тянула меня к первой. Теперь этим чередованиям пришел конец, — во всяком случае, один из периодов тянулся долго. Мне хотелось, чтобы вновь появившаяся переселилась ко мне и по вечерам, прежде чем уйти к себе в комнату, дарила мне поцелуй сестры. Я мог подумать, — если бы у меня не было опыта невыносимой совместной жизни с другой, — что я сильнее тосковал о поцелуе, чем о губах, о на-

слаждении, чем о любви, о привычке к женщине, чем о самой женщине. Еще мне хотелось, чтобы вновь появившаяся, как Альбертина, сыграла мне Вентейля и, как Альбертина, поговорила со мной об Эльстире. Все это было неосуществимо. Их любовь не стоила ее любви, — думалось мне; любовь, с которой связаны различные эпизоды, посещение музеев, концертов, с которой связана целая сложная жизнь с перепиской, беседами, флиртом, предваряющим любовь, чисто дружеские отношения потом, располагает большими средствами, чем любовь к женщине, умеющей только отдаваться, подобно тому, как у оркестра больше возможностей, чем у фортепьяно. Моя потребность, более глубокая, в нежности, которую я находил у Альбертины, нежности хорошо воспитанной девушки и в то же время моей сестры, потребность в женщине одного круга с Альбертиной, представляла собой только лишь оживление воспоминания об Альбертине, воспоминания о моей любви к ней. И я сразу же почувствовал, что воспоминание не изобретательно, что оно не способно пожелать ничего иного, даже ничего лучшего, нежели то, чем мы обладали; затем — что оно духовно, поэтому реальность не может снабдить его достоянием, в котором

оно нуждается; наконец, беря начало в смерти любимой женщины, оно знаменует не столько возрождение потребности в любви, в которую оно заставляет верить, сколько возрождение потребности в общении с отошедшей Альбертиной. Даже сходство с женщиной, которую я мысленно выбирал вместе с Альбертиной, — если бы мне удалось его найти, — сходство ее нежности с нежностью Альбертины, заставило бы меня еще острее почувствовать отсутствие того, что я бессознательно искал и что было необходимо для возрождения моего счастья, возрождения того, что я искал, а искал я самое Альбертину, искал время, какое мы прожили вместе; сам того не подозревая, я искал прошлое.

В ясные дни мне казалось, будто Париж разукрашен всеми девушками, которых я не то чтобы желал, но которые погружали корни во тьму желаний и неведомых мне вечеров Альбертины. Среди них была одна из тех, о которых Альбертина сказала мне в самом начале, когда он?} еще не опасалась меня: «Чудесная малышка! Какие у нее прелестные волосы!» Все, что в ее жизни будило прежде мое любопытство, когда я знал ее еще только в лицо, и все мои желания сливались в единственном любопытстве: как Альбертина

испытывала наслаждение; мне хотелось видеть ее в обществе других женщин, может быть, потому, что, когда они уходили, я оставался с ней наедине, я был последним, я был ее владыкой. Видя ее колебания — провести вечер с той или с этой, — ее пресыщение, когда другая уходила, быть может, разочарование, я бы высветлил ревность, какую вызывала во мне Альбертина, я бы точно определил соотношение моей ревности с ее наслаждениями; видя, как она их испытывает, я познал бы их меру и определил их границу.

«Скольких удовольствий, какой спокойной жизни она лишила нас, — говорил я себе, — из-за дикого упрямства, с каким она отрицала свое тяготение!» И когда я вновь попытался определить, где надо искать причину этого упрямства, внезапно мне вспомнилась фраза, которую я сказал ей в Бальбеке в тот день, когда она дала мне карандаш. упрекая ее в том, что она не позволила мне поцеловать себя, я сказал ей, что нахожу это, впрочем, столь же естественным, насколько мне отвратительна любовь одной женщины к другой. Увы! Быть может, Альбертина ее-то как раз и вспомнила.

Я водил к себе девиц, которые меньше, чем какие-либо другие, могли мне понравиться, про-

водил рукой по их гладко причесанным волосам, восхищался их точеными носиками, испанской бледностью. Конечно, даже когда это касалось женщины, которую я окидывал беглым взглядом на бальбекской дороге, на парижской улице, я отдавал себе отчет, что в моем желании индивидуально, не поддается удовлетворению при помощи кого-то другого. Жизнь, открывавшая мне мало-помалу постоянство наших потребностей, учила меня, что за неимением одного живого существа нужно довольствоваться другим, что то, чего я требовал от Альбертины, могла бы мне дать г-жа де Стермарья. И, тем не менее, во всем была Альбертина; между удовлетворением моей потребности в нежности и особенностями ее тела существовала тесная, нерасторжимая связь, и я не мог оторвать от желания нежности переплетение воспоминаний о теле Альбертины. Только она была способна дать мне такое счастье. Мысль об ее единственности перестала быть метафизическим a priori, почерпнутым в том индивидуальном, что было у Альбертины и что я находил у встречных женщин, — теперь она стала *aposteridri,* состоящим из случайного, но неразделимого наслоения моих воспоминаний. Я уже не мог желать нежности, не испытывая

потребности в ней, не страдая от ее отсутствия. Даже сходство с моей избранницей, сходство утолявшейся ею нежностью, с нежностью, которая требовалась мне теперь, сходство проведенного с нею счастливого времени с прежде познанным мною счастьем давало мне возможность яснее почувствовать, чего этим женщинам недостает для того, чтобы я вновь стал действительно счастливым. С того дня, когда уехала Альбертина, у меня в комнате образовалась пустота, и я надеялся заполнить ее, обнимая других женщин, но пустота была и в них. Они не говорили со мной о музыке Вентейля, о «Мемуарах» Сен-Симона, они не являлись ко мне раздушенные, они не заводили со мной игру, касаясь своими ресницами моих, — все это необходимо, потому что все это как будто бы дает возможность помечтать о соитии и создать иллюзию любви, а на самом деле потому, что все это составляет часть моих воспоминаний об Альбертине, и потому, что искал я именно ее. То общее, что эти женщины имели с Альбертиной, только еще резче подчеркивало, чего им не доставало для полноты сходства, что было для меня всем и чего больше никогда не будет, потому что Альбертина умерла. Моя любовь к Альбертине, которая влекла меня к этим жен-

щинам, была так сильна, что я становился к ним равнодушен. Тоска по Альбертине и неотвязная ревность, по продолжительность превзошедшие самые мрачные мои предположения, конечно, никогда не претерпели бы коренных изменений, если бы, оторванные от остальной моей жизни, они подчинялись лишь игре моих воспоминаний, действиям и реакциям психики неподвижных состояний, не распространяющейся на более обширную систему, где души двигаются во времени, как тела — в пространстве.

Как есть геометрия в пространстве, так во времени есть психология; расчеты психологии не были бы точны, если бы мы не приняли во внимание Время и одну из форм, которую принимает забвение, забвение, силу которого я уже начал ощущать на себе и которое является мощным орудием адаптации к действительности, потому что оно постепенно разрушает в нас отживающее прошлое, находящееся в состоянии постоянной борьбы с адаптацией. Я мог бы угадать заранее, что разлюблю Альбертину. Когда, осознав, что значили ее личность и ее действия для меня и что значили они для других, я понял, что любовь для нее была не так важна, как для меня, из чего я мог бы вывести ряд заключений о субъективности

моего чувства. Так как любовь относится к области духовной жизни, то она способна надолго пережить человека, но, вместе с тем, не будучи по-настоящему связана с человеком, не имея никакой поддержки извне, она может, как любое состояние духа, даже из самых! длительных, оказаться однажды не у дел, быть «замещенной», и в этот день все, что, как мне представлялось, связывало меня так бережно и, вместе с тем, так неразрывно с воспоминанием об Альбертине, перестанет для меня существовать. Это горестный удел покинувших землю — служить всего лишь потускневшими картинками для мысли живущих. Поэтому-то на этих картинках строят планы, которые содержат в себе страстность мысли, но мысль устает, воспоминание разрушается. Настанет день, когда я охотно отдал бы комнату Альбертины первой встречной, так же, как я без малейшего сожаления отдал Альбертине агатовый шарик и другие подарки Жильберты.

Я не то, чтобы разлюбил Альбертину, но любил я ее уже не так, как в последнее время; я любил ее, как в былые времена, когда все, что имело к ней отношение, — места и люди, — будило во мне любопытство, не столько болезненное, сколько влекущее. Я теперь ясно чувствовал, что, преж-

де чем совсем забыть ее, как забывает обо всем путешественник, который тою же дорогой возвращается туда, откуда он выехал, мне следовало, прежде чем достичь начального равнодушия, пройти в обратном направлении все чувства, через которые я прошел, прежде чем подойти к своей большой любви. Но эти этапы, эти моменты прошлого неподвижны, они сохранили страшную силу, счастливое непонимание надежды, которая устремлялась тогда ко времени, сегодня ставшему прошлым, но которую галлюцинация заставляет нас на мгновение принять за будущее. Я перечитал письмо от Альбертины, в котором она меня извещала, что едет на вечер, и я пережил минутную радость ожидания. Во время этих мысленных возвращений тою же дорогой в местность, куда я на самом деле не вернусь, где узнаёшь названия и вид всех станций, через которые ты уже в одну сторону проехал, случается так, что, пока ты остановился на одной из них, на вокзале у тебя на мгновение появляется иллюзия, что поезд поехал, но в том направлении, откуда ты едешь, как это было в первый раз. Иллюзия тотчас же исчезает, но на мгновение ты был вновь устремлен к прошлому — такова жестокость воспоминания.

Для того, чтобы стать равнодушным к пункту отправления, необходимо покрыть в обратном направлении расстояние, которое было преодолено ради любви, но путь этот будет не совсем тот же. Общее у них то, что это не прямые пути, потому что забвение, так же как и любовь, нарастает не равномерно. На той дороге, по которой я пошел обратно, уже неподалеку от конечной цели, меня ожидали четыре этапа, которые я вспоминаю особенно отчетливо, без сомнения, потому, что на этих этапах я различил то, что не относилось к моему увлечению Альбертиной или если и относилось, то лишь в той мере, в какой все, что происходит в нашей душе до великой любви, ассоциируется с нею, либо питая ее, либо побеждая, либо составляя с ней, для нашего анализирующего разума, контраст, либо являясь ее прообразом.

Первый этап начался в воскресенье, в праздник Всех святых, когда я вышел из дому. Подходя к Булонскому лесу, я с грустью вспоминал, как Альбертина приехала за мной в Трокадеро, потому что по календарю это был тот же самый день, только Альбертины уже не было на свете. С грустью, и все же не без удовольствия, потому что повторение в миноре мотива, который

заполнил тот, давний мой день, то, что я не слышал, как Франсуаза говорит по телефону, то, что Альбертина не вернулась, как тогда, — все это я воспринимал не со знаком минус, но это реально уничтожало хранившееся в моей памяти, это придавало дню что-то болезненное и в то же время превращало его в нечто более прекрасное, нежели ни в чем не примечательный, обычный день, так как то, чего в нем недоставало, что было из него вырвано, оставило после себя впадину. Я напевал фразы из сонаты Вентейля. Мне уже было не очень тяжело, когда я вспоминал, что мне ее столько раз играла Альбертина, потому что все мои воспоминания о ней вступили в эту новую фазу и уже вызывали не ноющую боль в сердце, а только нежное чувство. Иногда в пассажи, которые она играла чаще других, она вкладывала ту или иную мысль, которая меня очаровывала, подсказывала ту или иную реминисценцию, и тогда я говорил себе: «Бедняжечка!», но без грустного чувства, только вкладывая в музыкальный пассаж еще одно значение, значение, до известной степени историческое, любопытное — так портрет Карла I кисти Ван-Дейка, прекрасный сам по себе, становится еще более интересным потому, что вошел в национальную коллекцию

по воле дю Барри, желавшей угодить королю. Когда короткая фраза, прежде чем исчезнуть навсегда, воспарила на миг, а затем распалась на разнородные элементы, то она не была для меня посланницей исчезнувшей Альбертины, как была она для Свана посланницей Одетты. Ассоциации идей, возникавшие благодаря короткой фразе, у меня и у Свана были не совсем одинаковые. Я был особенно чувствителен к разработке, к попыткам возвращения, к становлению фразы на протяжении всей сонаты — так складывалась любовь на протяжении всей моей жизни. И теперь, наблюдая за тем, как ежедневно еще один элемент моей любви исчезал, вытесненный ревностью или чем-либо другим, но в конце концов возвращался в смутном воспоминании к ненадежной наживке первоначальных дней, я думал, что вот такой была моя любовь, которая в короткой размельченной фразе дробилась перед моим умственным взором.

Я шел по отдаленным одна от другой тропинкам подлеска, подернутым дымкой, с каждым днем все утончавшейся; мне стоило вспомнить о какой-нибудь прогулке на автомобиле с Альбертиной, о том, как она вернулась вместе со мной и о том, как я почувствовал, что она окутывает всю

мою жизнь, и она снова реяла вокруг меня во мраке ветвей, среди которых, словно подвешенная, сверкала под лучами заходящего солнца, просвечивающая горизонталь золотой листвы[11]; я не отрицал того, что вижу эти ветви глазами своей памяти, они будили мое любопытство, они меня волновали (как волнуют чисто описательные страницы, потому что художник для большей полноты вводит в описание вымысел, целый роман), и природа приобретала неповторимую прелесть меланхолии, овладевавшую всею моею душой. Я думал, что причина этого очарования в том, что я всегда любил Альбертину, тогда как истинная причина состояла, напротив, в том, что забвение продолжало во мне прогрессировать, что воспоминание об Альбертине перестало быть для меня мучительным, то ест изменилось. Напрасно мы полагаем, что хорошо разбираемся в своих впечатлениях — так казалось мне, что я вижу ясно причину моей меланхолии; а между тем мы не умеем доходить до первоначального смысла своих впечатлений. Врач, выслушивающий

[11] Примечания: 11

Временами я вздрагивал, как вздрагивает тот, в глазах которого навязчивая идея придает любой женщине, остановившейся на повороте аллеи, встречающееся в жизни подобие, сходство с той, о ком он думает. «Это, может быть, она!» Человек оборачивается, автомобиль едет дальше, но человек застывает на месте.

пациента, с помощью симптомов заболевания доходит до наиболее глубокой его причины, о которой пациент не подозревает. Вот так и наши впечатления, наши мысли важны только как симптомы. Моя ревность держалась в стороне благодаря впечатлению очарования и благодаря тихой грусти. Так же, как когда я перестал видеться с Жильбертой, любовь к женщине вырастала непосредственно из моих душевных глубин, свободная от какой бы то ни было строго определенной ассоциации с женщиной, прежде мною любимой, и парила подобно частицам, которых предохранили от дальнейшего распада и которые носятся в весеннем воздухе, стремясь лишь соединиться в новом существе. Нигде не растет столько цветов, даже если они называются незабудками, как на кладбище. Я смотрел на девушек, которыми был разукрашен этот чудный день, как смотрел бы раньше из автомобиля маркизы де Вильпаризи или из того, в котором я приехал, тоже в воскресенье, с Альбертиной. И тотчас же к взгляду, который я бросал на какую-нибудь девушку, присоединялся любопытный, беглый, ищущий взгляд, отражавший неуловимые мысли, какие украдкой внушала им Альбертина, и этот сдвоенный взгляд, осенявший девушек таин-

ственным, стремительным голубоватым крылом, заставлял меня пройти по аллеям, до того дня ничем не примечательным, почувствовать дрожь дотоле не изведанного мною желания, которого было бы недостаточно, чтобы воскресить в памяти девушек, если б оно было одно, потому что только мой взгляд, без помощи другого, ничего необычного в них не находил.

Порою чтение грустной книги вдруг отбрасывало меня в прошлое, — иной роман, подобно недолгому, но глубокому трауру, разрушает наше привычное состояние, снова вводит нас во взаимодействие с реальностью, но только на несколько часов, как кошмар, потому что сила привычки, забвение, которое с ней связано, злорадство, вызываемое бессилием разума в борьбе с ней и в воссоздании правды жизни, — все это бесконечно высоко возносит правду жизни над почти гипнотическим внушением книги, которое, как все внушения, действует очень недолго.

Не по тому ли мне захотелось в Бальбеке узнать Альбертину, что она показалась мне типичной девушкой — из тех, на которых так часто задерживался мой взгляд на улицах, на дорогах, не потому ли, что она могла дать о них общее представление? И не было ли естественно, что:

теперь закатывавшаяся звезда моей любви, в которой они конденсировались, вновь распылялась в туманности? Во всех я видел Альбертину — образ, который я носил в себе, образ, заставлявший меня разыскивать ее всюду; однажды, на повороте аллеи, одна из девушек, садившаяся в автомобиль, так живо мне ее напомнила, была точно так же сложена, что я потом даже спросил себя: не Альбертину ли я видел, не обманули ли меня, известив о ее кончине? Точно такой я видел ее на повороте аллеи, — может быть, в Бальбеке, — садящейся в автомобиль и так доверчиво смотревшей в будущее. Я не просто вбирал в себя глазами действия этой девушки, садившейся в автомобиль, как искусственную видимость, которая так часто возникает во время прогулки: действия превращаются в нечто вроде продолжительного акта, и этот акт, как мне представлялось, оборачивался и на прошлое той своей стороной, которая еще недавно примыкала к нему и опиралась на мое сердце, отчего в нем всегда жили сладострастие и печаль.

Но девушка уже исчезла. Немного дальше я увидел трех девушек, постарше, может быть — молодых женщин; их изящная, летящая походка — это было именно то самое, что прельстило

меня в Альбертине и ее подружках в первую нашу встречу, и я пошел за этими тремя новыми девушками по пятам; когда же они сели в автомобиль, я в отчаянии кинулся во всех направлениях искать ту, и я ее нашел, но — слишком поздно. Трех девушек я так и не обнаружил. А несколько дней спустя, возвращаясь домой, я их увидел — тех самых трех девушек, за которыми я шел в Булонском лесу. Это были точь-в-точь такие же, особенно две брюнетки, но только постарше, из разряда светских девушек, которых я часто видел в окно или встречал на улице; я не был с ними знаком, и все-таки стоило мне на них взглянуть, как я уже начинал строить всевозможные планы, и во мне вновь пробуждалась любовь к жизни. Блондинка была на вид нежнее, выражение лица у нее было почти страдальческое, нравилась она мне меньше. Однако именно благодаря ей я не довольствовался тем, что в течение одной минуты любовался ими. Я не стал бы на них смотреть, так же как на стольких других, если бы, когда они проходили мимо меня, блондинка, — быть может, потому, что я пристально их разглядывал? — не бросила на меня беглого взгляда, а потом, обогнав меня и обернувшись, не посмотрела на меня еще раз, отчего мое воображение

разыгралось не на шутку. И все-таки, когда она отвела от меня взгляд и снова заговорила с подружками, мой пыл, несомненно, в конце концов остыл бы, если б его стократ не усилило еще одно обстоятельство. Я осведомился у швейцара, кто они такие. «Они спрашивали ее светлость, — ответил он. — Мне думается, знакома-то с ней одна, а другие только провожали ее до двери. Вот ее фамилия — не знаю, так ли я записал». Я прочел: «Мадмуазель Депоршвиль». Мне ничего не стоило восстановить по памяти правильное написание: д'Эпоршвиль — такая, или почти такая, фамилия была у девушки из прекрасной семьи, связанной узами дальнего родства с Германтами; Робер мне о ней говорил, что встретил ее в доме свиданий — он находился с ней в связи. Теперь я понял, что выражал ее взгляд, почему она оглянулась и почему она смотрела на меня тайком от приятельниц. Как часто я думал о ней, представлял ее себе по фамилии, которую назвал мне Робер! И вот я только что ее видел: она ничем не отличалась от подружек; особенным был только ее брошенный украдкой взгляд, открывавший передо мной вход в такие области ее жизни, которые несомненно были скрыты от ее подруг и благодаря которым она становилась более до-

ступной, — почти наполовину моей, — не такой чопорной, какими обыкновенно бывают девушки из аристократических семей. Мы с ней уже заранее пытались представить себе одно и то же: как мы провели бы время, если б она назначила мне свидание. Разве не об этом красноречиво говорил ее взгляд, притом что это красноречие было понятно мне одному? Сердце у меня билось учащенно, я не мог бы точно описать, как сложена мадмуазель д'Эпоршвиль, я едва различал черты бледного ее лица, на которое я смотрел как бы со стороны, но я уже был безумно в нее влюблен. Но тут я спохватился: я рассуждаю так, словно из трех девушек мадмуазель д'Эпоршвиль была именно та блондинка, которая оглянулась и два раза на меня посмотрела, но ведь швейцар мне этого не сказал. Я подошел к его каморке, опять принялся расспрашивать; он мне сказал, что нынче они приходили в первый раз и в его отсутствие; сейчас он спросит у жены — она уже один раз их видела. Жена в это время подметала служебную лестницу. У кого не было в жизни приблизительно таких сладостных колебаний? Одному отзывчивому другу описали девушку, которую видели на балу, и он установил, что, вероятно, это одна из его подруг и что он при-

глашает к себе своего друга и ее. Но ведь там было так много девушек, да и потом, по одному устному портрету трудно ли ошибиться? Девушка, которую вы в свое время еще увидите, не окажется ли другой, не той, о ком вы мечтаете? А, быть может, вы убедитесь, что протягиваете руку с такой именно улыбкой, какой вы ждете от нее? Это довольно частая удача; не будучи всякий раз подкреплена рассуждением, столь же убедительным, как рассуждение о мадмуазель д'Эпоршвиль, она является порождением чего-то близкого к интуиции и некоего благоприятного для вас веяния. Тогда при виде ее мы говорим себе: «Это, без всякого сомнения, она». Гуляя по берегу моря, я угадал, что вот это Альбертина Симоне. Воспоминание причинило мне острую, но недолгую боль, и, пока швейцар ходил за женой, я думал, главным образом, о мадмуазель д'Эпоршвиль. Наконец швейцар вернулся и сказал, что мадмуазель д'Эпоршвиль — блондинка!

Меня охватило лихорадочное возбуждение. Прежде чем пойти купить все, от чего, по моему мнению, я стал бы красивее и благодаря чему я произвел бы самое выгодное впечатление через три дня, когда я отправлюсь к герцогине Германтской, где я встречусь с доступной девушкой и

назначу ей свидание (я нашел бы способ отозвать ее для минутного разговора в уголок гостиной), я для большей верности телеграфировал Роберу, прося его сообщить мне имя девушки и дать ее описание, — я надеялся получить ответ до послезавтра, когда она должна была, по сведениям швейцара, опять прийти к герцогине Германтской и (теперь я не думал ни о ком другом, не думал даже об Альбертине) куда я тоже пойду, что бы со мной ни случилось, даже если б я заболел (я бы тогда велел отнести меня на носилках). Если бы я не телеграфировал Сен-Лу, я не то что бы все еще сомневался в сходстве и не то что бы девушка, которую я встретил, и та, о ком он мне говорил, по-прежнему были для меня два разных лица. Теперь у меня уже не оставалось сомнений, что это одно и то же лицо. Но я сгорал от нетерпения, я никак не мог дождаться послезавтрашнего дня, и мне было приятно, — точно это давало мне тайную власть над девушкой, — получить о ней подробную телеграмму. На телеграфе я, вдохновляемый надеждой, составлял текст, я замечал за собой, что теперь, стоя лицом к лицу с мадмуазель д'Эпоршвиль, я совсем не такой безоружный, каким был когда-то, лицом к лицу с Жильбертой. С этого времени, когда мне

оставалось только составить текст телеграммы, телеграфисту — принять ее, а самой скорой сети — передать, вся Франция и все Средиземное море, все разгульное прошлое Робера, которое могло мне пригодиться для опознания недавно встреченной мной личности, готовы были оказаться на службе у романа, который я только что написал вчерне и о котором мне уже не было необходимости думать, потому что все это в течение двадцати четырех часов придало бы ему тот или иной смысл. А в другое время, когда меня приводила домой с Елисейских полей Франсуаза и дома, наедине с самим собой, я мучился оттого что мои желания неисполнимы, так как я не имел возможности воспользоваться практическими средствами цивилизации, я любил, как дикарь или, вернее, поскольку я был лишен свободы передвижения, как цветок. Меня лихорадило. Отец потребовал, чтобы я двое суток пробыл с ним, — следовательно, мне нельзя было пойти к герцогине, и это привело меня в такое бешенство и в такое отчаяние, что моя мать в конце концов вмешалась и добилась от отца, чтобы он оставил меня в Париже. Но мой гнев долго еще не утихал, а мое влечение к мадмуазель д'Эпоршвиль в сто раз усиливалось воздвигнутым между нами

препятствием, боязнью, что тут у меня не будет тех часов, когда я все время заранее улыбался перед моим визитом к герцогине Германтской, как чему-то решенному, чего уже никто не мог бы у меня отнять. Иные философы утверждают, что внешнего мира нет и что наша жизнь — в нас самих. Так или иначе, любовь, когда она еще только зарождается, поражает тем, как мало значит реальность. Если бы меня попросили по памяти написать портрет мадмуазель д'Эпоршвиль, описать ее, указать на ее характерные черты, то я не мог бы исполнить эту просьбу, я бы даже не узнал мадмуазель д'Эпоршвиль на улице. Я видел ее профиль, когда она находилась в движении; она показалась мне высокой, хорошенькой, обыкновенной блондиночкой — больше я ничего не мог бы о ней сказать. Но влечение, озабоченность, сильнейший удар, нанесенный мне страхом не увидеть ее, если меня опять увезет отец, — все это в сочетании с образом, который, в сущности, был мне не известен и которого, однако, было довольно, чтобы произвести на меня приятное впечатление, — все это уже и было любовью. Наутро, после счастливой бессонной ночи, я получил телеграмму от Сен-Лу: «Де л'Оржвиль, орж — злак, рожь; виль — город; маленькая брюнетка,

толстушка, находится настоящий момент Швейцарии». Значит, то была не она.

Потом ко мне вошла с почтой моя мать, небрежным жестом, как будто думая о другом, положила ее мне на постель и сейчас же вышла. А я, зная хитрости моей дорогой мамочки, зная, что на ее лице можно прочитать все, не боясь ошибиться, если только принять за ключ желание доставить удовольствие другим, улыбнулся и подумал: «В почте есть что-то для меня интересное; мама приняла безразличный, рассеянный вид, чтобы мое изумление было полным и чтобы не уподобиться тем, кто отнимает у вас половину радости, сообщая вам о ней». Мама тут же направилась к выходу — она боялась, что я из самолюбия не показываю, как я доволен, и от этого мне менее приятен ее приход. В дверях она столкнулась с Франсуазой. Франсуаза попятилась. В спешке моя мать забыла свечу. Почту она положила рядом со мной, чтобы я не мог не обратить: на нее внимания. Но я почувствовал, что там одни газеты. Наверное, в какой-нибудь газете была статья писателя, которого я любил, а так как он писал мало, то газета с его статьей — это был бы для меня сюрприз. Я подошел к окну, раздвинул шторы. Розовое небо над бледным, туманным

утром, — такого цвета в этот час бывает в кухне плита, если ее растопить, — пробудило во мне надежду и желание провести ночь и проснуться на маленькой станции в горах, где я видел розовощекую молочницу.

Я развернул «Фигаро». Какая скука! Первая статья была под тем же заглавием, что и статья, которую я послал в газету и которая так и не была напечатана. Но не только то же заглавие, вот и несколько моих фраз — слово в слово. Это уже чересчур! Я пошлю протест. Но там было не только несколько слов — там было все, там была моя подпись… Моя статья вышла! Но моя мысль, которая, быть может, уже тогда устаревала и устаревала, все еще как будто не понимала, что это моя статья, — так старики продолжают идти, даже если это уже не нужно, даже если надо немедленно отойти от непредвиденного препятствия, потому что это опасное препятствие. И только некоторое время спустя я принялся за духовную пищу, то есть начал читать газету, еще теплую от станка и влажную от утреннего тумана, ибо в утреннем тумане, на рассвете, ее передают служанкам, а те приносят ее своему хозяину и одновременно — кофе с молоком, — я принялся за чудесную размножаемую пищу, которая может быть и

одним номером и десятью тысячами номеров и которая, так как она бесчисленна, проникая в разные дома, остается одной и той же для всех читателей[12].

Я держал в руках не какой-то определенный экземпляр газеты — это был один из десяти тысяч; это было не только то, что написал я, — это было то, что написал я, а прочли все. Чтобы ясно представить себе, что происходит сейчас в других домах, я должен прочитать статью не глазами автора, а глазами одного из читателей; это было не только то, что я написал, — это было восприятие написанного множеством умов. Чтобы прочитать статью, мне надо было на время перестать быть ее автором и превратиться в одного из читателей. И вот уже мною овладевает тревога: попадется ли статья на глаза непредупрежденному читателю? Я рассеянно разворачиваю газету, как это сделал бы непредупрежденный читатель, с таким выражением лица, как будто мне не известно, что напечатано сегодня в газете, и спешу заглянуть в светскую хронику или в политические новости.

---

[12] Примечания: 12

Я слышал, как Франсуаза, возмущенная тем, что ее выставили из моей комнаты, куда, как она полагала, она имеет право войти в любое время, ворчала: «Эдакое безобразие! Ребенок родился у меня на глазах. Конечно, я не видела, как мать рожала его. Но когда я его увидела, ему было, — чтобы сказать — не соврать, — не больше пяти лет!»

Но моя статья — большая, и для пущего правдоподобия (как человек, который нарочно слишком медленно проглядывает поданный ему счет) я цепляюсь за какую-нибудь фразу. Но многие из тех, кто обращает внимание на первую статью, даже те, кто ее читает, не смотрят на подпись. Да и я не мог бы назвать автора первой статьи в предыдущем номере. Теперь я даю себе слово всегда читать названия статей и фамилии авторов, но, подобно ревнивому влюбленному, который не изменяет своей возлюбленной, чтобы быть убежденным в ее верности, я с грустью думаю, что моя внимательность не заставит быть внимательными других. И потом, кто отправляется на охоту, а кто рано вышел из дому. Все-таки кое-кто да прочтет. И я начинаю читать. Что мне до множества читателей, у которых статья вызовет прилив ненависти? Я не могу себе представить, что другие читатели не увидят явственно те образы, какие вижу я, полагая, что мысль автора уловлена читателями, тогда как в их мозгу возникает другая мысль и мыслят они так же наивно, как те, что верят: произнесенное слово, такое, как оно есть, без посторонней помощи бежит по телефонному проводу; в тот момент, когда я хочу быть просто читателем, мой разум проделы-

вает в качестве автора работу читателей. Пусть герцог Германтский не поймет фразу, которая понравится Блоку, — зато его может привлечь рассуждение, к которому Блок отнесся бы с пренебрежением.

Мне хотелось проникнуть в комнату какой-нибудь читательницы, до которой газета донесет если не мою мысль, которую она не поймет, то, по крайней мере, мое имя, — донесет как бы похвалу мне. Я говорил себе, что если мое здоровье будет по-прежнему ухудшаться и я больше не смогу видеться с друзьями, то мне надо продолжать писать, чтобы иметь к ним доступ, чтобы говорить с ними между строк, чтобы они стали моими единомышленниками, чтобы нравиться им, чтобы я нашел уголок в их сердце. До сих пор светские отношения занимали место в моей повседневной жизни, а будущее, в котором они отсутствовали бы, меня страшило, — вот почему мысль о таком способе задерживать на себе внимание моих друзей, может быть, даже вызывать их восхищение, вплоть до дня, когда я поправлюсь настолько, что буду в состоянии снова видеться с ними, — мысль о таком способе утешала меня. Я рассуждал таким образом, но чувствовал, что все это неправда; что если мне доставило

бы удовольствие их внимание, то это было бы удовольствие внутреннее, духовное, зависящее от моего настроения, но такого удовольствия они доставить мне не могли, — такое удовольствие мне доставляла не беседа с ними, а писательство вдали от них и что если бы я начал писать, чтобы видеться с ними через посредство писания, чтобы у них составилось более высокое мнение обо мне, чтобы обо мне заговорили в свете, — быть может, писательство избавило бы меня от желания видеться с ними, и я бы отказался от положения, которое создала бы мне литература, потому что источник моего наслаждения — литература, а не общество.

Посте обеда я пошел к герцогине Германтской — не столько ради мадмуазель д'Эпоршвиль, из-за телеграммы Сен-Лу утратившей лучшие свои качества, сколько ради того, чтобы увидеть в герцогине одну из читательниц моей статьи, чтобы я мог себе представить, как приняли мою статью подписчики и покупатели «Фигаро». Я шел к герцогине Германтской охотно. Напрасно я себе говорил, что для меня ее салон отличается от других тем, что, как мне казалось, он возник раньше других; сознавая это, я все же ям не пренебрегал. Для меня существовало несколько лиц,

носивших фамилию Германт. Если людей, носивших фамилию Германт, моя память записала как бы в адресную книгу — и только если они не были овеяны поэзией предков, тех, чья жизнь протекала, когда я не знал герцогиню Германтскую, то они претерпевали во мне изменения, особенно, если я давно не виделся с герцогиней и яркий свет личности, озарявший изнутри внешний ее облик, не гасил таинственных лучей имени. Тогда дом герцогини Германтской виделся мне как бы надмирным, словно туманный Бальбек моих первых грез, словно с тех пор я ни разу не садился в поезд час пятьдесят. На время я забывал о том, что мне было известно. Всего этого нет — так думают порой о любимом существе, забывая о том, что оно умерло. Когда я вошел к герцогине в переднюю, ко мне вернулось представление о действительной жизни. Но я утешил себя тем, что все-таки герцогиня для меня — подлинная точка пересечения реальности и мечты.

В гостиной я увидел белокурую девушку, о которой я думал целые сутки, — ведь это же именно о ней рассказывал мне Сен-Лу. Она попросила герцогиню «представить» меня ей.

Когда я вошел, у меня создалось впечатление, что я хорошо ее знаю, но слова герцогини мгно-

венно рассеяли его: «А, вы уже познакомились с мадмуазель де Форшвиль?» Меня же никто и не думал представлять девушке с такой фамилией, которая, конечно, поразила бы меня, так как хранилась в моей памяти с тех пор, как я наслушался рассказов об увлечениях Одетты и ревности Свана. В моей двойной ошибке, которую я допустил с фамилией Форшвиль (Оржвиль и принял за Эпоршвиль, а на самом деле она была Форшвиль), ничего особенного не было. Мы уверены, что представляем себе вещи такими, каковы они есть, имена — так, как они написаны, людей — какими их показывает фотография и раскрывает психология, между тем и фотография и психология показывают их нам в застывшем виде. На самом деле обычно мы различаем совсем не это. Мы видим, мы слышим, мы воспринимаем мир искаженно. Мы произносим имя так, как мы его услышали, до тех пор, пока опыт не исправит нашу ошибку, а это случается не всегда. В Комбре Франсуазе двадцать пять лет толковали про г-жу Сазра, а Франсуаза все-таки продолжала произносить: «госпожа Сазрен», и вовсе не в силу присущего ей своевольного и гордого упорства в своих заблуждениях и в силу духа противоречия (во Франции св. Андрея

Первозванного-в-полях она отстаивала только один из эгалитарных принципов 1789 года: в отличие от нас, произносить некоторые слова в женском роде), а потому, что она слышала, как вокруг нее говорят: «Сазрен». Это извечное заблуждение, которое и есть жизнь, снабжает многообразием своих форм не мир видимый и не мир слышимый, а мир социальный, мир чувственный, мир исторический и т д. Принцесса Люксембургская — всего лишь кокотка в глазах жены первоприсутствующего, но для принцессы серьезных последствий это не имеет. Для Свана Одетта — женщина с тяжелым характером; из этого у него складывается целый роман, и роман этот становится только еще более мучительным, когда Сван осознаёт свою ошибку. Немцы убеждены, что на уме у французов ничего нет, кроме реванша. У нас существуют бесформенные, отрывочные представления о вселенной, которые мы по своему произволу, пользуясь ассоциациями, дополняем опасными идеями. Я не был бы крайне удивлен, услышав фамилию Форшвиль (я задавал себе вопрос: уж не родственница ли она тому Форшвилю, о котором я столько слышал?), если бы белокурая девушка не сказала мне сразу, видимо, желая тактично предупредить вопросы,

которые были бы ей неприятны: «А разве вы не помните, что хорошо меня знали раньше? Вы приходили к вашей подруге Жильберте. Я сразу поняла, что вы меня не узнаёте. А я вас сейчас же узнала». Она давала понять, что узнала меня сразу в гостиной, на самом же деле она узнала меня на улице и поздоровалась со мной; немного спустя герцогиня Германтская довела до моего сведения, что девушка рассказала ей, как о чем-то забавном и необыкновенном, что я пошел за ней следом и, приняв ее за кокотку, дотронулся до нее. Только после ее ухода я узнал, почему ее звали мадмуазель де Форшвиль. После смерти Свана Одетта, удивившая всех своей глубокой скорбью, искренней и долгой, осталась богатой вдовой. Форшвиль на ней женился после того, как долго объезжал замки и убедился, что его семейство признает его жену. (Семейство было покапризничало, но в конце концов сдалось: его прельстила перспектива не оплачивать больше расходов бедного родственника, мечтавшего сменить нищету на богатство). Некоторое время спустя дядя Свана, на которого благодаря последовательному уходу в мир иной многочисленных родственников свалилось громадное наследство, приказал долго жить, оставив все свое состо-

яние Жильберте, и таким образом Жильберта оказалась одной из самых богатых наследниц во Франции, Но то было время, когда последствия дела Дрейфуса породили антисемитское движение, параллельное выходу на поверхность многочисленных иудеев. Политики в общем были правы, полагая, что раскрытие судебной ошибки нанесло антисемитизму удар. Но — по крайней мере, временно — светский антисемитизм набирал силу и, казалось, готов был на любой отчаянный шаг. Форшвиль, как всякий человек из высокородной семьи, прислушиваясь к семейным разговорам, проникался уверенностью, что его имя древнее имени Ларошфуко, и приходил к выводу, что, женясь на вдове еврея, он делает доброе дело, подобное доброму делу миллионера, который подбирает на улице гулящую девицу и вытаскивает ее из грязи. Форшвиль готов был простереть свою доброту на Жильберту, чему способствовало ее многомиллионное наследство, но помехой женитьбе служило нелепое имя Свана. Форшвиль заявил, что удочерит ее. Герцогиня Германтская, кстати сказать, имевшая обыкновение и любившая изумлять общество, отказалась, когда Сван женился, принять его дочь и его жену тоже. Этот отказ был тем более жестоким, что, по

мнению Свана, его женитьба на Одетте должна была благоприятствовать представлению его дочери герцогине Германтской. А ведь ему надо было бы знать, ему, так много пережившему, что по разным причинам то, что рисует нам воображение, никогда не сбывается, короче говоря, мы видели, какое значение женатый Сван придавал отношениям своей жены и дочери с г-жой Бонтан и другими.

К светскому укладу жизни Германтов, исключавшему для герцогини знакомство с г-жой и мадмуазель Сван, следует прибавить еще удивительную ловкость, с какой люди, которые держатся в стороне от того, что они осуждают во влюбленных и что чувство влюбленных объясняет: о, если бедному Свану нравится делать глупости и швырять деньги на ветер, то меня это не касается, я в это не вмешиваюсь, и меня этим не разжалобить; все это может очень плохо кончиться, но пусть выпутываются сами. Не кто иной, как Сван, советовал мне соблюдать по отношению к Вердюренам snave mari magno[13], когда он уже давно разлюбил Одетту и больше не

---

[13] Примечания: 13

Сладко, когда на просторах морских разыграются ветры,
С твердой земли наблюдать за бедой, постигшей другого…

входил в кланчик. Все это прибавляет мудрости суждениям третьих лиц о чувствах, которых они не испытывают, и сложностям в поведении, которые их суждения за собою влекут.

По отношению к г-же и мадмуазель Сван герцогиня Германтская проявила поразившую всех стойкость. Когда графиня Моле и виконтесса де Марсант начали завязывать отношения с г-жой Сван и приводить к ней множество светских дам, герцогиня Германтская не только осталась неприступной, — она сожгла за собой все мосты и постаралась устроить так, чтобы принцесса Германтская последовала ее примеру. В один из самых напряженных дней правления кабинета министров Рувье, когда все опасались, что между Францией и Германией начнется война, мы с графом де Бреоте обедали у герцогини Германтской, и мне показалось, что она чем-то озабочена. Она неизменно проявляла к политике живой интерес, вот почему я решил, что она хочет показать, как она боится войны, — столь же озабоченной она вышла однажды к столу, отвечала односложно, а кому-то, кто робко задал ей вопрос, что ее так волнует, она с важным видом ответила: «Меня беспокоит Китай». Итак, решив самой объяснить, чем вызван ее озабоченный вид, который я

приписал боязни объявления войны, герцогиня Германтская сказала графу де Бреоте: «Говорят, будто Мари-Эйнар хочет создать Сванам положение в обществе. Завтра утром мне непременно надо будет пойти к Мари-Жильбер и попросить ее помочь мне противодействовать этому. Дело Дрейфуса! Очень мило! Но тогда, значит, любой уличной продавщице достаточно будет объявить себя националисткой, а взамен потребовать, чтобы мы ее принимали у себя». Мое удивление было подобно удивлению читателя, который, ища в «Фигаро» на обычном месте последних новостей о русско-японской войне, вместо этого натыкается на список лиц, сделавших свадебные подарки мадмуазель де Мортемар, так как важность аристократического брака отодвинула в конец газеты сражения на суше и на море, герцогиня проявляла не только необычайную твердость характера, но и удовлетворенность самомнения, не упускавшего случая напомнить о себе. «Бабал, — говорила она, — уверяет, что мы с ним — два самых элегантных человека в Париже, потому что только он и я не отвечаем госпоже и мадмуазель Сван на поклон. Бабал положительно утверждает, что первый признак элегантности — это не знаться с госпожой Сван». И герцогиня

от души смеялась.

Но когда Сван умер, решение не принимать у себя его дочь перестало вызывать у герцогини Германтской чувств утоленного тщеславия, своей исключительности, обособленности, наслаждение тем, что она имеет право воздвигать на кого-нибудь опалу, — все, что когда-то так нравилось ей извлекать из своего решения и чему положило конец исчезновение человека, благодаря которому у нее рождалось упоительное ощущение — ощущение того, что он не сопротивляется, что ему не удается заставить ее отменить свое решение. Потом герцогиня приступила к обнародованию других решений, которые, относясь к живым людям, могли дать ей почувствовать, что она вольна поступать, как ей заблагорассудится. Она не думала о юной Сван, но когда при герцогине о ней говорили, у герцогини пробуждалось любопытство, как к новому месту, как к чему-то такому, что не будет больше скрывать от нее самой ее желание сопротивляться притязанию Свана. Сколько разных чувство может способствовать образованию того единственного, которое невозможно было бы выразить, если бы в этом любопытстве не содержалось чего-то нежного, связанного с именем Свана. Вне всякого

сомнения, — ведь на всех этажах общественной лестницы светская легкомысленная жизнь парализует чувствительность, лишает власти оживления мертвых, — герцогиня принадлежала к числу тех, кто нуждается в общении с человеком (как истинная представительница рода Германтов, она превосходно умела продлевать это общение), чтобы любить его по-настоящему, а также, — что случалось реже, — чтобы чуть-чуть ненавидеть. Часто ее хорошее отношение к людям, прерванное при их жизни раздражением, какое вызывали их поступки, возрождалось у нее после их кончины. Ей почти сейчас же хотелось помириться, потому что она представляла их себе весьма туманно. Только с их положительными чертами, свободными от страстишек, от мелких претензий, которые огорчали ее, когда эти люди были живы. Несмотря на легкомыслие герцогини Германтской, иногда это придавало ее поведению что-то благородное, хотя и с изрядной Долей низости. Три четверти смертных льстят живым и совершенно забывают усопших, а герцогиня Германтская часто после кончины тех, с кем она обходилась плохо при их жизни, поступала по отношению к ним так, как им хотелось бы, когда они были живы.

Все, кто любил Жильберту немного эгоистичной любовью, могли бы порадоваться изменению в отношении к ней герцогини, но только они держались того мнения, что Жильберта, высокомерно отвергая после двадцатипятилетних унижений попытки герцогини к сближению, могла бы, наконец, за эти удары по самолюбию отомстить. К несчастью, наши душевные движения не всегда соответствуют здравому смыслу. Такой-то после нечаянно вырвавшегося у него ругательства решил, что человек, который был ему дорог, от него отвернулся, а вышло наоборот. Жильберта, вообще довольно равнодушная к тем, кто был с ней любезен, по-прежнему восхищалась вызывающе герцогиней Германтской и постоянно задавала себе вопрос: где кроется причина ее поведения? Один раз даже (от этого сгорели бы со стыда все, кто питал к ней хоть немного дружеских чувств) она решила написать герцогине и спросить, что она имеет против девушки, не причинившей ей никакого зла. В ее глазах Германты выросли до таких размеров, какие их благородное происхождение было бы бессильно им придать. Жильберта ставила их выше не только всей знати, но даже всех семейств королевской крови.

Старые подруги Свана обращали на Жильберту большое внимание. Аристократам стало известно, что она теперь богатая наследница; начали замечать, как хорошо она воспитана и какой очаровательной женщиной она обещает быть. Утверждали, что родственница герцогини Германтской, принцесса Ньеврская, не прочь женить на ней своего сына. Герцогиня Германтская ненавидела принцессу Ньеврскую. И она всюду стала говорить, что это был бы скандальный брак. Принцесса Ньеврская испугалась и стала уверять, что у нее мыслей таких никогда не было. Как-то после обеда, в хорошую погоду, герцог Германтский собирался выехать вместе с женой. Герцогиня Германтская поправила перед зеркалом шляпку, взгляд ее голубых глаз смотрел внутрь нее самой или окидывал еще не тронутые сединой волосы. Камеристка держала перед ней зонтики для защиты от солнца, а госпожа выбирала наиболее удобный. Волны солнечного света вливались в окно, и супруги решили, воспользовавшись погожим днем, поехать с визитом в Сен-Клу. Герцог Германтский, уже совершенно готовый, в перчатках жемчужно-серого цвета, в цилиндре, говорил себе: «Ориана в самом деле еще удивительно хороша. Я нахожу, что она

просто очаровательна». Заметив, что его жена в хорошем настроении, он заговорил с ней: «А у меня к вам поручение от госпожи Вирле. Она хотела просить вас приехать в понедельник в Оперу. Но у нее юная Сван, поэтому она не осмелилась обратиться к вам с этой просьбой непосредственно и попросила меня позондировать почву. Я не высказываю никакого мнения, я просто передаю ее просьбу. Мне лично кажется, что мы могли бы…» — пробормотал он; он разделял расположение жены к юной Сван, возникло оно у них одновременно, он знал по себе, что враждебность его жены к мадмуазель Сван спала и что ей интересно было бы с ней познакомиться. Герцогиня Германтская поправила вуаль и выбрала зонтик. «Как вам угодно, мне все равно. Я не вижу ничего такого, что бы нам мешало познакомиться с этой девочкой Вы же знаете, что я никогда ничего не имела против *нее.* Мне только не хотелось, чтобы все думали, будто мы принимаем любовниц моих друзей. Вот и все». — «И вы были совершенно правы, — подхватил герцог. — Вы — воплощенная мудрость. А кроме того, вам так хорошо в этой шляпке!» — «Вы очень любезны», — сказала герцогиня Германтская, улыбаясь и направляясь к выходу. Но, прежде чем сесть в карету, она

решила кое-что разъяснить герцогу: «Теперь многие принимают ее мать. Кстати, она не лишена благоразумия, раз она болеет три четверти года. Кажется, девчурка очень мила. Все знают, что мы очень любим Свана. Это будет выглядеть естественно». Супруги поехали в Сен-Клу.

Через месяц юная Сван, которая еще не звалась Форшвиль, обедала у Германтов. Говорили обо всем на свете. В конце обеда Жильберта робко проговорила: «Я думаю, вы хорошо знали моего отца». — «Ну еще бы! — грустно отозвалась герцогиня Германтская, показывая, что она разделяет горе дочери, и деланно приподнятым тоном, словно ей хотелось скрыть, что она не вполне уверена в том, что хорошо помнит ее отца, заговорила: «Мы все хорошо его знали, я помню его прекрасно. (Она в самом деле могла его помнить: в течение двадцати пяти лет он приходил к ней почти ежедневно.) Я отлично знаю, какой это был человек. Я вам сейчас скажу, — снова заговорила она, словно ей хотелось растолковать девушке, какой у нее был отец, дать ей необходимые разъяснения. — Он был близким другом моей бабушки, был очень дружен с моим деверем Паламедом». — «Он бывал и здесь, даже обедал, — с показной скромностью приба-

вил герцог Германтский, желая быть точным до мелочей. — Помните, Ориана?.. Какой славный человек был ваш отец! Как чувствовалось в нем, что он из хорошей семьи! Я еще раньше приметил его родителей. Какие же они все были порядочные люди!»

В его тоне угадывалось, что если бы родители и сын были живы, то он, не задумываясь, порекомендовал бы их в садовники. Вот так Сен-Жерменское предместье разговаривает с любым буржуа о других буржуа — либо хваля собеседника или собеседницу в виде исключения, либо (что случается чаще) одновременно их унижая. Так антисемит, осыпая данного еврея любезностями, говорит вообще о евреях гадости — это позволяет наносить раны с милой улыбкой.

Но, королева Минуты, минуты, в течение которой герцогиня в самом деле умела обаять вас, в течение которой она все никак не могла вас отпустить, герцогиня Германтская была в то же самое время рабыней Минуты. Свану лишь изредка удавалось во время увлекательной беседы создать герцогине иллюзию, что она исполнена к нему дружеских чувств. «Он был очарователен», — молвила герцогиня с печальной улыбкой, на всякий случай ласково посмотрев на Жильберту

— на тот случай, если девушка окажется чувствительной: тогда улыбка герцогини покажет ей, что ее тут поняли и что герцогиня, останься она с ней наедине, если бы позволили обстоятельства, охотно раскрыла бы ей всю глубину своей чувствительности. Герцог Германтский, по-видимому, считал, что обстоятельства не способствуют откровенности, а быть может, он полагал, что преувеличение — это вообще свойство женщин, тогда как мужчины преувеличивают в другой области, за собой же он оставлял только кухню и вина, так как разбирался в них лучше герцогини, но только он пришел к заключению, что хорошо делает, что не вносит оживления в этот разговор, хотя и вмешивался в него, следил же он за ним с заметным нетерпением. Когда, наконец, у герцогини Германтской прошел приступ чувствительности, она со светским легкомыслием прибавила, обращаясь к Жильберте: «Послушайте, что я вам скажу: ваш отец был ба-а-а-аль-шой друг моего деверя Шарлю, а еще он был очень дружен с Вуазноном (замок принца Германтского)». Герцогиня преподносила факт знакомства Свана с де Шарлю и с принцем как дело случая, точно Свана связали с ее деверем я кузеном особые обстоятельства, тогда как Сван был связан со

всем этим обществом, и вместе с тем герцогине, видимо, хотелось дать понять Жильберте, кто такой был ее отек» «определить» его ей одной из характерных черт, при помощи которых, когда хотят объяснить, каким образом люди оказываются связанными с кем-либо, хотя раньше они не были с ним знакомы, или чтобы придать своему рассказу больше весу обычно ссылаются, как на поручителя, на известное лицо. А Жильберта была счастлива тем, что разговор иссякает, она сама пыталась сменить тему; она унаследовала от Свана изысканный такт и очаровательный ум, — герцог и герцогиня признали за ней эти качества и попросили ее почаще у них бывать. С пунктуальностью тех, чья жизнь бесцельна, они поочередно отыскивали у людей, с которыми им приходилось сталкиваться, — а зачастую у одного и того же человека, — качества самые обыкновенные и восхищались ими с очаровательной наивностью горожанина, любующегося в деревне былинкой или, напротив, преувеличивающего малейшие ее недостатки, словно рассматривая ее под микроскопом, и без конца комментирующего их. Праздную свою проницательность Германты упражняли сначала на том, что им понравилось в Жильберте. «Вы обратили

внимание на ее манеру произносить некоторые слова? — спросила своего мужа герцогиня. — Точно такая же манера была и у Свана Я как будто слышала его самого». — «Я хотел поделиться с вами, Ориана, таким же наблюдением». — «Она остроумна, это у нее тоже от отца». — «По-моему, она даже превзошла его. Помните, как хорошо она рассказала эту историю о морских купаньях? Свану не доставало блеска, а у нее он есть». — «Ну, Сван был тоже очень остроумен». — «Да я не говорю, что он не был остроумен. Я утверждаю, что ему не хватало блеска», — произнес герцог Германтский стонущим голосом, потому что его мучила подагра, — когда герцогу не перед кем было проявить раздражительность, он проявлял ее перед герцогиней. Но, не зная, откуда у него раздражительность, он предпочитал строить из себя непонятого.

Почувствовав расположение к Жильберте, герцог и герцогиня могли теперь сказать ей: «Ваш бедный отец», хотя необходимости в этом не было, потому что как раз в это время Форшвиль удочерил Жильберту. Жильберта называла Форшвиля отцом, очаровывала пожилых дам из высшего света благовоспитанностью и хорошими манерами, и все говорили, что если Форшвиль

держал себя с ней безукоризненно, то девочка, натура благородная, умеет быть признательной. Она могла и хотела держаться в высшей степени непринужденно, заставила и меня признать себя и как-то раз заговорила при мне о своем родном отце. Но это был исключительный случай, и при ней никто больше не осмеливался упоминать о Сване.

Войдя в гостиную, я увидел два рисунка Эльстира — прежде они были сосланы в один из верхних кабинетов, там я случайно их увидел. Эльстир был теперь в моде. Герцогиня Германтская кусала себе локти из-за того, что подарила столько его картин своей родственнице — не потому, что они были в моде, но потому, что теперь они ей нравились. Мода основана на том, что кого-то обожает группа лиц, представителями которой являются Германты. Герцогиня даже помыслить не могла о том, чтобы приобрести какие-нибудь картины Эльстира, — к ним не было приступа. Но ей хотелось иметь в своей гостиной хоть что-нибудь его кисти, — вот почему она велела перенести туда два его рисунка, заявив, что «предпочитает их его живописным полотнам». Жильберта узнала его руку. «Можно подумать, что это работы Эльстира», — сказала она. «Ну да, — подтвердила

ошеломленная герцогиня, — это как раз ваш… один из ваших друзей уговорил нас приобрести их. Чудесно! По-моему, это даже лучше его живописи». Не слыша этого диалога, я направился к рисункам. «А, да это же Эльстир, которого… — Тут я увидел, что герцогиня Германтская делает мне отчаянные знаки. — Конечно, Эльстир, тот самый, которым я любовался наверху. Ему гораздо лучше висеть тут, в проходе. Кстати об Эльстире: вчера я упомянул о нем в «Фигаро». Вы читали мою статью?» — «Вы напечатали статью в «Фигаро»? — вскричал герцог Германтский с таким жаром, с каким он воскликнул бы: «Это же моя кузина!» — «Да, во вчерашнем «Фигаро». — «В «Фигаро»? Вы уверены? Странно! Дело в том, что у каждого из нас свой «Фигаро», и если один пропустит, то другой непременно заметит. Ведь правда же, Ориана, там ничего не было об Эльстире?» Герцог послал за «Фигаро» и не стал спорить только против очевидности, словно до тех пор можно было еще сомневаться, что я перепутал название газеты, в которой я сотрудничал. «Что? Я не понимаю. Значит, ваша статья помещена в «Фигаро»? — спросила меня герцогиня, делая над собой усилие, чтобы говорить о том, что ее не интересовало. — Ну, хорошо, Базен, вы это

прочтете потом». — «Да нет, отчего же? — возразила Жильберта. — Герцог с длинной бородой, уткнувшийся в газету, просится на полотно. Я прочту статью, как только приеду домой». — «Да, он носит бороду теперь, когда все бреются, — заметила герцогиня. — Он не хочет быть, как все. Когда мы поженились, он брил не только бороду, но и усы. Крестьяне, которые его не знали, не верили, что он француз. Его называли тогда принц де Лом». — «А принц де Лом еще существует?» — спросила Жильберта, интересовавшаяся всем, что имело отношение к людям, так долго не желавшим замечать ее. «Да нет!» — нежно и печально произнесла герцогиня. «Такой красивый титул! Один из прекраснейших во Франции!» — воскликнула Жильберта: банальности одна за другой с неизбежностью боя часов исходят из уст некоторых умных людей. «Да, да, и мне жалко. Базену хотелось, чтобы сын его сестры восстановил титул, но это не одно и то же; откровенно говоря, это могло бы произойти, потому что это не непременно должен быть старший сын, от старшего титул переходит к младшему. Я вам говорила, что Базен был тогда гладко выбрит. Однажды, во время одного путешествия, — помните, милый?.. — обратилась она к мужу, — путешествия

в Паре-ле-Моньяль мой деверь Шарлю, любитель потолковать с крестьянами, спрашивал то одного, то другого: «Откуда ты родом?» — а так как он человек более или менее щедрый, то что-нибудь давал им, приглашал выпить. Высокомерным и в то же время простым умеет быть только Меме. Вот вы увидите: он считает для себя унизительным кланяться герцогине, в которой, по его мнению, мало от настоящей герцогини, и вместе с тем осыпает милостями псаря. Я сказала Базену: «Базен! Побеседуйте и вы с ними немножко». Мой муж не всегда бывает находчив…» — «Спасибо, Ориана, — сказал герцог, не отрываясь от моей статьи, в чтение которой он был погружен. — «Крестьянин это заметил и повторил ему слово в слово ответ на вопрос: «Откуда ты родом?» — «Я из Лома». — «Ты из Лома? Ну что ж, тогда, значит, я твой принц». Крестьянин посмотрел на безбородое лицо Базена и ответил так: «Неправда. Вы — англичанин». В бессодержательных рассказах герцогини известные, громкие титулы, такие, как принц де Лом, появлялись на своем, по праву ими занимаемом месте, с их прежним положением в обществе и с их местным колоритом, — так в некоторых молитвенниках сразу различаешь над толпой в костюмах эпохи шпильбургской

колокольни.

Выездной лакей принес визитные карточки, «Ничего не понимаю, мы же с ней не знакомы. Этим я обязана вам, Базен. Такой способ завязывать отношения — не по вашей части, мой милый друг, — сказала герцогиня и обратилась к Жильберте: — Я даже не сумела бы вам объяснить, кто это, вы, конечно, ее не знаете, ее зовут леди Руфус Израэль». Жильберта покраснела. «Мы с ней не знакомы, — сказала она (это была явная ложь: леди Израэль за два года до смерти Свана помирилась с ним и называла Жильберту по имени), — но по тому, что я слышала о ней от других, я сразу догадалась, о ком вы хотите поговорить».

Мне стало известно, что, когда одна девушка, то ли по злобе, то ли от чувства неловкости, спросила Жильберту, как зовут ее отца, не приемного, а родного, Жильберта в смущении, а также для того, чтобы несколько изменить то, что ей предстояло сказать, произнесла вместо Суан — Сван, — потом она заметила, что это отчасти уничижительное изменение, потому что оно превращало английскую фамилию в немецкую. И она прибавила, принимая себя, дабы возвыситься: «О моем происхождении существует много всяких рассказов, а мне самой о себе не дозволено

знать ничего». Как бы ни было стыдно Жильберте в иные минуты при мысли о родителях (а ведь г-жа Сван казалась ей и была на самом деле хорошей матерью), приходится, к сожалению, признать, что элементы подобного восприятия жизни были ею заимствованы у ее родителей — ведь не можем же мы целиком создать себя сами. К материнскому эгоизму присоединяется другой, присущий семье отца, что не всегда означает сложение, даже умножение, — рождается новый эгоизм, бесконечно более мощный и грозный. С тех пор, как существует мир, с тех пор, как семьи с подобным недостатком под той или иной личиной соединяются с другими семьями, у которых тот же недостаток проявляется в другой форме, в мировосприятии ребенка образуется отвратительное многообразие. Аккумулированный эгоизм (мы здесь говорим только об эгоизме) забрал бы такую власть, что все человечество было бы уничтожено, если бы внутри самого зла не создавались разумные пропорции, естественные ограничения, вроде тех, что препятствуют бесконечному размножению инфузорий, грозящему поглотить нашу планету, вроде тех, что препятствуют однополому оплодотворению растений, которое влечет за собой отмирание раститель-

ного мира и т д. Время от времени добродетель составляет с эгоизмом новую незаинтересованную силу. Комбинации, с помощью которых нравственная химия фиксирует и обезвреживает элементы, которые начинали представлять собой грозное явление, — эти комбинации бесконечны, истории семей могли бы благодаря им быть разнообразнее и увлекательнее. С аккумулированным эгоизмом, — как это, вероятно, имело место в случае Жильберты, — сосуществует очаровательная добродетель. Она одна в течение какого-то времени исполняет интермедию, вполне искренне играя свою трогательную роль. Вне всякого сомнения, Жильберта заходила далеко, только когда намекала, что, возможно, она внебрачная дочь какого-нибудь великого человека, но чаще всего скрывала свое происхождение. Может быть, просто ей было очень неприятно говорить о своем происхождении, и она предпочитала, чтобы об этом узнали из других источников. Может быть, она действительно надеялась скрыть свое происхождение, рассчитывала на зыбкую веру] которая, однако, не есть сомнение, которая таит в себе возможность для чаемого — для того, чему пример подает Мюссе, когда говорит о Надежде на Бога.

«Я с ней не знакома», — сказала Жильберта. Однако надеялась ли она, заставляя называть себя «мадмуазель де Форшвиль», что никто не узнает, что она — дочь Свана? Может быть, она сперва имела в виду отдельных лиц, а потом уже — всех. Ей не следовало особенно заблуждаться относительно их количества в настоящее время, и она, без сомнения, догадывалась, что многие шепчут: «Это дочь Свана». Но она знала об этом тем же знанием, что повествует нам о людях, умалчивающих о своей нищете в то время, как мы идем на бал, то есть знанием неточным и расплывчатым, которое мы не стремимся заменить знанием более определенным, исходящим от непосредственного впечатления. Поскольку отдаление уменьшает предметы, делает их менее отчетливыми, Жильберта предпочитала не находиться рядом с людьми в тот момент, когда они делали открытие, что она — дочь Свана[14]. И поскольку ты находишься среди таких людей, какими их себе представляешь, поскольку мож-

[14] Примечания: 14

Жильберта принадлежала или, во всяком случае, за последнее время стала принадлежать к самому распространенному виду человеко-страусов, тех, что прячут голову не в надежде остаться незамеченными, — это они считают маловероятным, — но в надежде не видеть, что их видят, а это для них уже много, и они рискуют положиться на удачу в остальном.

но представить себе людей читающими газету, Жильберта предпочитала, чтобы в газетах ее называли «мадмуазель де Форшвиль». Письма, за которые она несла особую ответственность, она одно время подписывала: «Ж.С. Форшвиль». Истинное лицемерие в такой подписи проявлялось в опущении гораздо меньшего количества букв в имени «Сван», чем букв в имени «Жильберта». Когда мадмуазель де Форшвиль сводила невинное имя к простому Ж., ей казалось, что она внушала своим друзьям, что подобная ампутация в имени Свана продиктована только мотивами аббревиатуры. Она даже придавала особое значение букве «С» и приделывала к ней нечто вроде длинного хвостика, перечеркивавшего «Ж», но чувствовалось, что это нечто преходящее и скоро исчезнет, как хвост, еще длинный у обезьяны, но уже не существующий у человека. Но в ее снобизме было и интеллигентное любопытство Свана. Я вспоминаю, что в тот вечер она спросила у герцогини Германтской, не знакома ли она с маркизом дю Ло, и, получив ответ, что он серьезно болен и не выходит, Жильберта спросила, каков он собой, потому что, — прибавила она, слегка покраснев, — она о нем много слышала. (Маркиз дю Ло был одним из самых близких

друзей Свана до его женитьбы, и, может быть, даже Жильберта мельком видела маркиза, но в ту пору, когда это общество ее не интересовало.) «Мне могут дать о нем представление граф Де Бреоте или принц Агригентский?» — спросила она. «Ни малейшего! — воскликнула герцогиня Германтская. Она остро чувствовала провинциальные оттенки и набрасывала строгие, но окрашенные ее золотистым, рокочущим голосом портреты под нежным цветеньем ее фиолетовых глаз. — Ни малейшего. Дю Ло — перигорский дворянин, очаровательный, с прекрасными манерами и провинциальной бесцеремонностью. Когда у Германтов принимали короля английского, с которым дю Ло был очень дружен, то после охоты устроили закуску — это был тот час, когда дю Ло имел обыкновение снимать башмаки и надевать грубые шерстяные носки. Присутствие короля Эдуарда и всех великих герцогов ничуть его не смутило: он спустился в большую гостиную Германтов в шерстяных носках. Он полагал, что ему, маркизу дю Ло д'Аллеман, нечего церемониться с королем английским. Его да еще этого прелестного Квазимодо де Брейтеля — вот кого я больше всех любила. Они были близкими друзьями… (она хотела сказать: „вашего отца“, но

запнулась). У них нет ничего общего ни с Гри-Гри, ни с Бреоте. Дю Ло — это настоящий перигорский крупный помещик. Меме часто приводит цитату из Сен-Симона о маркизе д'Аллеман — это прямо о Бреоте». Я привел первые слова Сен-Симона о маркизе д'Аллеман: «Маркиз д'Аллеман среди перигорской знати выделялся своею изысканностью, ученостью, заслуг у него было больше, чем у кого-либо, все соседи считали его главным судьей и всегда обращались к нему, ценя его честность, способности, обходительность, и, как деревенский петух…» — «Да, это в нем есть, — сказала герцогиня Германтская. — К тому же, дю Ло всегда был красен, как петух». — «Да, я помню, при мне цитировали этот портрет из Сен-Симона», — сказала Жильберта, утаив, что цитировал ее отец — большой поклонник Сен-Симона.

Жильберта любила поговорить о принце Агригентском и о графе де Бреоте еще и по другой причине. Принц Агригентский был таковым, поскольку он являлся наследником арагонского дома, но его сеньория — пуатвенская. А его замок, тот, где он жил, это был не родовой замок — это был замок первого мужа его матери, и расположен он был почти на равном расстоянии от Мартенвиля и от Германтов. Жильберта говорила

о принце и о графе де Бреоте как о деревенских соседях, напоминавших ей старую ее провинцию. В ее словах была доля неправды, потому что с графом де Бреоте, старинным другом ее отца, она познакомилась в Париже, через графиню Моле. Восторг, с каким она говорила об окрестностях Тансонвиля, мог быть неподдельным. Снобизм для иных подобен приятному на вкус питью, в которое они намешивают полезные вещества. Жильберту интересовала какая-нибудь элементная дама, потому что у нее были прекрасные книги и художественное плетенье — моя бывшая подружка вряд ли видела все это в Национальной библиотеке или в Лувре, и я предполагаю, что Тансонвиль, несмотря на его близость, оказался для Жильберты не таким привлекательным, как влияние г-жи Сазра, или влияние г-жи Гупиль на принца Агригентского.

«Бедный Бабал и бедный Гри-Гри! — проговорила герцогиня Германтская. — Болезнь у них еще тяжелее, чем у дю Ло, — боюсь, как бы это не затянулось и у того, и у другого».

Дочитав мою статью, герцог Германтский сказал мне несколько одобрительных слов, кстати сказать, весьма сдержанных. Ему не нравилась шаблонность моего слога, в котором он отметил

«высокопарность, излишнюю метафоричность, как в вышедшей из моды прозе Шатобриана». Зато он принялся безудержно расхваливать меня за то, что я «нашел себе занятие»: «Я люблю, когда человек что-то делает своими руками. Я не люблю людей бесполезных, — они напускают на себя важность или уж чересчур суетливы. Это порода людей неумных!»

Жильберта, молниеносно перенимавшая светские манеры, заявила о том, с какой гордостью она будет теперь говорить, что дружна с писателем: «Вы только представьте себе, как я буду говорить, что имею удовольствие, имею ч*есть* быть с вами знакомой!»

«Не хотите ли пойти с нами завтра в Комическую оперу?» — спросила меня герцогиня, и тут я подумал, что она, конечно, приглашает меня в тот самый бенуар, в котором я увидел ее впервые и который показался мне тогда столь же недоступным, как подводное царство нереид. Но я с грустью ответил: «Нет, я не хожу в театр. Я утратил подругу, которую я очень любил». Я произнес эти слова почти со слезами на глазах, и в то же время мне впервые доставляло что-то вроде удовольствия об этом говорить. С того дня я всем начал писать, что у меня большое горе, и с

тех же самых пор мое горе начало ослабевать.

Когда Жильберта уехала, герцогиня Германтская сказала мне: «Вы не поняли моих знаков — это чтоб вы не говорили о Сване». Я стал извиняться. «Да я отлично вас понимаю; у меня у самой чуть-чуть не сорвалось с языка его имя — я едва удержалась. Ужас! Какое счастье, что я вовремя остановилась! Вы знаете, Базен, это совсем не так легко», — сказала она мужу; чтобы исправить отчасти мою ошибку, она сделала вид, что поверила, будто я пал жертвой естественной, всем присущей слабости, пал жертвой искушения, против которого трудно устоять. «Как тут быть? — отозвался герцог. — Да вам стоит только приказать, чтобы эти рисунки опять отнесли наверх, потому что они напоминают о Сване. Если вы перестанете думать о Сване, то перестанете и говорить о нем».

На другой день я получил два крайне меня удививших поздравительных письма: одно — от г-жи Гупиль, дамы из Комбре, которую я не видел целый год и с которой даже в Комбре я разговаривал не более трех раз. В кабинете для чтения она наткнулась на «Фигаро». Если наш кругозор несколько расширяется и с нами что-то происходит, то когда вести приходят к нам от лю-

дей, с которыми мы уже утратили всякую связь, воспоминание о которых давно ушло во времена незапамятные, то нам представляется, что эти люди находятся на большом расстоянии от нас, на большой глубине. Забытая школьная дружба, у которой двадцать раз был повод напомнить о себе, внезапно подает признак жизни, кстати сказать, требуя ответа! Блок, мнение которого о моей статье было мне очень важно, не откликнулся. Он прочел мою статью, но признался мне в этом позднее, когда ему понадобился ответ от меня. Спустя несколько лет он поместил статью в «Фигаро» и сейчас же сообщил мне об этом событии. Он рассматривал мой ответ как свою неотъемлемую привилегию, он сделал вид, что моей статьи он не читал. О моей статье он сказал мне совсем не то, что ему хотелось услышать о своей статье от меня. «Я слыхал, что ты тоже написал статью, — сказал он. — Но я не считал нужным говорить тебе об этом; я боялся, что тебе это будет неприятно, люди не должны говорить с друзьями о том, что их унижает. А написать в газету о военных, о клерикальных кругах, о fave o clok, не забыть и кропильницу — это унижает». Характер Блока остался прежним, но мой стиль теперь был менее изысканным — так случается

с некоторыми писателями, утрачивающими манерность; они пишут уже не символические поэмы, а романы, печатающиеся в газетах фельетонами.

Чтобы вознаградить себя за молчание Блока, я перечитал письмо г-жи Гуппиль, но письмо было холодное. Аристократия располагает определенными словесными формулами, образующими частокол. Между ними, между «Милостивый государь!» в начале и «с наилучшими пожеланиями» в конце могут цвести клики радости и восторга, склоняя над частоколом, как цветущие кусты, свои душистые ветви. Но буржуазная условность оплетает самую сущность письма сетью таких выражений, как, например: «ваш заслуженный успех» или — тоном выше — «ваш неслыханный успех». Невестки, воспитанные в определенном духе и хранящие полученное воспитание за корсажем, полагают, что они изольют всю свою душу в изъявлении сочувствия или восторга, если напишут: «Мои лучшие мысли… мама присоединяется ко мне» — это такая превосходная степень, которая редко может испортить дело. Кроме письма от г-жи Гупиль, я получил письмо от некоего Санилона — мне это имя ничего не говорило. Почерк был как у человека, вышедшего

из народа, язык — прелестный. Я был в отчаянии оттого, что не мог определить, кто написал мне это письмо.

На другое утро меня обрадовало известие, что моя статья очень понравилась Берготу, который якобы прочел ее с завистью. Однако моя радость тут же улетучилась. В самом деле, ведь Бергот ничего же мне не написал. Я задавал себе вопрос, понравилась ли ему моя статья, я боялся, что не понравилась. И на этот вопрос г-жа де Форшвиль ответила мне, что Бергот от нее в полном восхищении; он утверждал, что это — творение великого писателя. Но г-жа де Форшвиль сказала мне это, когда я спал: это был сон. Почти все отвечают на заданные себе вопросы сложными драматизированными утверждениями, в которых участвует много действующих лиц, но у которых нет будущего.

А о мадмуазель де Форшвиль я не мог думать без душевной боли. Как же так? Почему Свану, их большому другу, которому так приятно было бы видеть ее у Германтов, они отказали в просьбе принять ее, а потом сами ее разыскали? Да ведь прошло время, в течение которого человек обновляется для нас, время взращивает другого человека, судя по рассказам о нем людей

не встречавшихся нам давно, — с тех пор, как мы изменили кожу и приобрели другие вкусы. Иногда Сван говорил своей дочери, обнимая ее и целуя: «Хорошо иметь такую славную дочку! Когда твоего бедного папы уже не будет, то если о нем кто-нибудь и вспомнит, то непременно вместе с тобой и благодаря тебе». Значит, он таил несмелую надежду, что будет продолжать жить в дочери, и при этом ошибался так же, как ошибается старый банкир, составивший завещание в пользу юной, безукоризненного поведения, танцовщицы, которую он содержит, и убеждающий себя, что он для нее только большой друг, но что она останется верна его памяти. И она держала себя безукоризненно, под столом накупая ножкой на ноги друзьям старого банкира, которые ей нравились, но — тайком, очаровывая всех своими отличными манерами, она будет носить траур по превосходному человеку, почувствует себя свободной от него, воспользуется не только его наличными деньгами, но и недвижимостью, автомобилями, которые он ей оставил, велит всюду стереть номера прежнего владельца, которого при его жизни она немножко стыдилась, и к радости получения дара у нее никогда не примешается сожаление. Иллюзии любви

родительской, может быть, ничуть не меньше иллюзий другой любви; многие дочери видят в своем отце только старика, оставляющего им свое состояние. Пребывание Жильберты в гостиной Германтов не послужило поводом к тому, чтобы хоть когда-нибудь поговорить об ее отце, наоборот, оно послужило препятствием к тому, чтобы воспользоваться случаем, а такие случаи становились все реже. Вошло даже в привычку по поводу слов, сказанных Сваном, подаренных им вещей имени не называть, и даже та, что могла бы освежить, если не увековечить, память о нем, поспешила предать его кончину забвению.

И не только Свана Жильберта постепенно предавала забвению: она ускорила во мне забвение Альбертины. Под влиянием желания, а следовательно и желания счастья, Жильберта за те несколько часов, когда я принимал ее за другую, освободила меня от многих страданий и мучительных забот: еще так недавно они удручали меня, а теперь они покинули меня, увлекая за собой, вероятно, давно распавшуюся цепь воспоминаний, относившихся к Альбертине. Множество связанных с ней воспоминаний поддерживало во мне скорбь ее утраты, а скорбь закрепила воспоминания. Изменение моего само-

чувствия, несомненно, подготовлявшееся втайне день ото дня непрерывными распадами памяти и вдруг все во мне перевернувшее, впервые в тот день, насколько я помню, дало мне ощутить пустоту, разрушение целого мира ассоциаций идей — он бывает разрушен у человека, у которого кровеносные сосуды мозга давно износились и в конце концов лопнули, у которого целая область памяти уничтожена или парализована[15].

Избавление от страдания и от всего, что было с ним связано, ужало меня, — так зачастую ужимает человека исцеление, оттого что болезнь занимает в нашей жизни большое место. Воспоминания покидают нас, любовь не вечна, жизнь — это постоянное обновление клеток. Но, смену воспоминаний все же задерживает внимание — оно приостанавливает, оно закрепляет то, чему суждено излечиться. Печаль, как и желание обладания женщиной, усиливается, чем больше об этом думаешь; чтобы сохранить целомудрие или чтобы развеять печаль, нужно чем-нибудь заняться.

---

[15] Примечания: 15

Я разлюбил Альбертину. Но выпадали дни, когда стояла такая погода, которая, изменяя, пробуждая нашу чувствительность, возвращает нас к реальности. Мне было больно думать о ней. Я страдал от несуществующей любви. Так при перемене погоды человек ощущает боль в отрезанной ноге.

Забвение неминуемо влечет за собой искажение понятия времени. Мы ошибаемся в нем так же, как ошибаемся в пространстве. Где-то глубоко жившее во мне стремление переделать, исправить время, изменить жизнь или, вернее, начать жить сызнова создавало иллюзию, будто я все так же молод. Однако воспоминание о событиях, происшедших в моей жизни и в моем сердце за последние месяцы, которые провела со мной Альбертина, растянуло их больше, чем на год, и теперь забвение стольких событий, разлучившее меня с совсем недавними, заставило меня смотреть на них как на нечто давно прошедшее, потому что я располагал, так сказать, «временем для того, чтобы позабыть»: это была интерполяция времени в моей памяти, отрывочная, нерегулярная, — густой слой пены на поверхности океана, уничтожающий точки отсчета, — интерполяция, которая нарушала, расчленяла мое чувство расстояния во времени; из-за этого мне казалось, что я то гораздо дальше от событий, то гораздо ближе к ним, но это мне только казалось. В новых, еще не преодоленных пространствах, которые простирались передо мной, не могло быть больше следов моей любви к Альбертине, чем раньше, во времена утрачен-

ные, которые я только что миновал, не могло быть больше, чем прежде, следов моей любви к бабушке. После перерыва ничто из того, на чем держался предыдущий период, не существовало в следующем, моя жизнь представлялась мне лишенной поддержки индивидуального, идентичного, постоянного «я», представлялась чем-то столь же бесполезным в будущем, сколь долгим в прошлом, чем-то таким, что смерть с одинаковой легкостью могла бы здесь или там оборвать, оборвать, но не завершить, — так прерывают курс французской истории, повинуясь прихоти составителя программы или преподавателя: на революции 1830 г., на революции 1848 г. или на конце Второй империи.

Быть может, тогда усталость и печаль овладели мной не столько потому, что я напрасно старался полюбить позабытое, сколько потому, что я уже находил удовольствие в общении с новыми живыми, настоящими светскими людьми — это были близкие друзья Германтов, сами по себе мало интересные. Быть может, мне легче было от сознания, что та, кого я любил, в течение некоторого времени существовала для меня лишь как неясное воспоминание, чем вновь обретая в себе тщетную активность, из-за которой мы тратим

время на то, чтобы обвить существование живой, но паразитической растительностью, которая, когда умрет, тоже превратится в ничто и которую, несмотря на всю ее чуждость знакомому нам миру, пытается обольстить наша болтливая старость, кокетливая и меланхоличная. Существо, которое прожило бы и без Альбертины, родилось во мне, потому что я мог говорить о ней у герцогини Германтской с грустью, но без глубокой скорби. Эти новые «я», которые должны были бы называться не так, как предыдущие, их возможное появление, из-за их безразличия к тому, что мне было дорого, всякий раз меня пугали: или в связи с Жильбертой, когда ее отец говорил мне, что если я поживу в Океании, то мне не захочется оттуда возвращаться, или совсем недавно, когда я с замиранием сердца прочел воспоминания одного посредственного писателя: жизнь разлучила его с женщиной, которую в молодые годы он обожал; когда же он состарился, то встречи с ней уже не радовали его, ему уже не хотелось еще раз с нею увидеться. От этого писателя я получал в дар вместе с забвением почти полное обезболивание, надежду на благоденствие, а благоденствие, существо страшное и в то же время благотворное, представляло собой не что

иное, как одно из запасных «я», которых судьба держит для нас в резерве и которыми, не слушая больше наших просьб, она, врач проницательный и самодержавный, заменяет вопреки нам, путем своевременного вмешательства, слишком тяжело раненные «я». Эта замена производится время от времени подобно тому, как заменяют изношенные ткани, но мы обращаем на это внимание только если в прежнем «я» заключалось страдание невыносимое, но теперь ставшее для нас чужим, страдание, которое мы, к своему удивлению, больше не обнаруживаем, в восторге оттого, что мы стали другими, оттого что предшествовавшее страдание — , это теперь для нас всего лишь страдание кого-то другого, страдание, о котором можно теперь поговорить сочувственно, потому что больше мы его не испытываем. Нам безразлично даже то, что мы столько выстрадали, — безразлично, так как наши переживания видятся нам неясно. По ночам нам могут сниться всякие ужасы. Но, пробудившись, мы являемся уже другими существами, озабоченными одною лишь мыслью, успело ли существо, которое мы сменили, убежать во сне от убийц.

Конечно, это «я» еще сохраняло связь с прежним — так друг, равнодушный к кончине друга,

говорит о ней, однако, с подобающей случаю грустью и время от времени возвращается в комнату, где вдовец, поручивший ему принимать вместо себя соболезнования, плачет навзрыд. Я рыдал, когда опять становился на время другом Альбертины. Но в новое действующее лицо я стремился воплотиться весь, без остатка, наша любовь к людям ослабевает не потому, что мертвы они, а потому, что умираем мы. Альбертине не в чем было упрекнуть своего друга. Тот, кто взял себе его имя, был всего-навсего его наследником. Можно быть верным только тому, о чем помнишь, а вспоминаешь только о том, что знал. Мое новое «я», когда оно росло под тенью прошлого «я», часто слышало, как это прошлое «я» говорит об Альбертине, и ему представлялось, что сквозь него, сквозь рассказы, которые то «я» подбирало, проступают черты Альбертины, и она была ему симпатична, оно ее любило, но то была любовь опосредствованная.

Другое лицо, в котором процесс забвения Альбертины, вероятно, происходил в это же время более стремительно, дало мне возможность чуть позднее осознать процесс, происшедший во мне (это и есть мое воспоминание о втором этапе перед окончательным забвением). Лицо это — Ан-

дре. Я в самом деле считаю если не единственной, если не главной причиной, то, во всяком случае, непременным условием забвения Альбертины второй разговор с Андре, состоявшийся около полугода спустя после приведенного мной разговора и резко от него отличавшийся. Помню, что это происходило в моей комнате, что в это время я ощутил позыв плоти: ведь вначале моя любовь к девушкам из стайки была нерасчленима и только в последние месяцы перед смертью Альбертины и в последовавшие за ней моя любовь сосредоточилась на Альбертине, а теперь она вновь распространилась на всю стайку в целом.

Мы сидели у меня в комнате; теперь я могу восстановить наш разговор с предельной точностью. Моя мать сомневалась, ехать ли ей к г-же Сазра, так как даже в Комбре г-жа Сазра умудрялась приглашать вас вместе со скучными людьми, то мама, уверенная, что у г-жи Сазра не повеселишься, решила, что если она вернется рано, то никакого удовольствия она себя не лишит. Она и правда вернулась скоро и без малейшего сожаления, потому что у г-жи Сазра собрались скучнейшие люди, которых к тому же леденил особый тембр голоса, который появлялся у г-жи Сазра при гостях — этот ее голос мама называла

«голосом но средам». Мама любила г-жу Сазра, жалела ее, потому что она была неудачница, — ее проказливого папеньку разорила герцогиня де Х., и она вынуждена была жить почти круглый год в Комбре и могла себе позволить недолго пожить у родственницы в Париже, да раз в десять лет совершить большое приятное путешествие.

Помнится, накануне, уступая моей просьбе, с которой я обращался к маме несколько месяцев подряд, мама съездила к принцессе Пармской, тем более что принцесса настойчиво звала ее к себе, а она сама ни к кому с визитами не ездила, между тем этикет не позволял приезжать к ней только для того, чтобы расписаться в книге для посетителей. Мама вернулась домой очень недовольная. «Ты поставил меня в неловкое положение, — сказала она мне, — принцесса Пармская еле со мной поздоровалась и, не обращая на меня никакого внимания, продолжала разговаривать с дамами, а со мной — ни звука, через десять минут я ушла, а она даже не попрощалась со мной за руку. Я была возмущена. Зато при выходе я встретилась с герцогиней Германтской — она была очень любезна и много говорила о тебе. Что за странная мысль взбрела тебе в голову — завести с ней разговор об Альбертине!

Ты сказал герцогине, что ее смерть явилась для тебя большим горем. (Я действительно говорил об этом с герцогиней, помню же наш разговор смутно. Но люди в высшей степени рассеянные часто обращают особое внимание на оброненные нами слова, которым мы-то не придаем значения, но которые сильно задевают их любопытство.) Я никогда больше не поеду к принцессе Пармской. Из-за тебя я сделала глупость».

И вот на другой день проведать меня пришла Андре. Времени у нее было в обрез — она должна была зайти за Жизелью, с которой ей очень хотелось вместе поужинать, «Я знаю ее недостатки, но все-таки это ближайшая моя подруга, я люблю ее больше всех на свете», — сказала она. Мне показалось, что она боится, как бы я не напросился на их совместный ужин. Она была жадна до встреч, и те, кто хорошо знал ее, вроде меня, мешали ее общению с другими, мешали ей насладиться ими вполне.

Когда они пришли, меня не было дома. Я хотел пройти к ней через свою маленькую гостиную, но вдруг услышал чей-то голос и решил, что ко мне еще кто-то пришел. Торопясь увидеть Андре, ожидавшую меня в моей комнате, не имея понятия, кто этот мужчина, который очевидно

ее не знал, потому что его проводили в другую комнату, я прислушался у двери в гостиную: мой гость говорил, — значит, он был не один, — и говорил с женщиной.

— «О дорогая моя, ты всегда в моем сердце!» — напевал он стихи Армана Сильвестра. — Да, ты — моя дорогая навеки, несмотря ни на что.

Во глубине земли усопшие почили –
Пусть так же мирно спит прах
радостей и мук!
Реликвии души – такая ж горстка пыли,
Святыне гибельно прикосновенье рук.

Это слегка устарело, но до чего же красиво! Я мог бы сказать тебе это в первый же день:

Дитя прекрасное, ты лить заставишь слезы…

Как! Неужели ты этого не знаешь?

Грядущих юношей, сегодняшних детей,
Чьи отроческие уже витают грезы
На кончиках ресниц невиннейших очей.

Я подумал, что и я мог бы себе сказать:

В тот вечер, когда он сюда пришел ко мне,

Негордою была я с ним наедине.

Ему сказала я: «Полюбишь ты меня

И долго будешь мой – хватило бы огня!»

С тех пор все ночи – с ним, и без него – ни дня.

Сгорая от любопытства, на какую женщину изливался этот поток стихов, я решил немного задержаться и вместо того, чтобы немедленно пройти к Андре, отворил дверь. Стихи читал де Шарлю военному: в котором я сейчас узнал Мореля. Он должен был на две недели уехать. Отношения его с де Шарлю испортились, но все-таки он время от времени с ним встречался и о чем-нибудь его просил. У де Шарлю, стремившегося к тому, чтобы в его чувстве главенствовало мужское начало, были, однако, свои слабости. В детстве, чтобы понять и прочувствовать стихи, ему надо было предположить, что они посвящены не неверной прелестнице, а молодому человеку. Я поспешил с ними расстаться, хотя мне было ясно, что являться куда-нибудь с Морелем было для де Шарлю большим удовольствием, так как

на время это создавало ему иллюзию, что он снова женат. В нем сочетался снобизм королев со снобизмом прислуги.

Память об Альбертине стала для меня отрывочной и Уже не причиняла мне боли, то был всего лишь переход к новым желаниям — так аккорд подготавливает переход в другой лад. Более того: я был далек от мысли о мимолетной чувственной прихоти, — ведь я же еще оставался верен памяти Альбертины, — но мне было отраднее общение с Андре, чем с Альбертиной, если б я ее вновь каким-нибудь чудом обрел. Андре могла мне рассказать об Альбертине много такого, чего не рассказала бы сама Альбертина. Итак, думы об Альбертине все еще не оставляли меня, тогда как мое чувство к ней, и физическое и душевное, исчезло. Желание узнать как можно больше об ее жизни было теперь сильнее, чем потребность в общении с ней. Если Альбертина находилась с какой-то женщиной в определенных отношениях, то это не вызывало у меня желания вступить с нею в связь. Лаская Андре, я ей в этом признался. Нимало не заботясь о том, чтобы ее слова не противоречили всему, что она говорила мне несколько месяцев назад, Андре сказала с полуулыбкой: «Ах, да ведь вы мужчина! У нас

с вами не может быть таких отношений, какие были у меня с Альбертиной. — То ли в надежде что это разожжет мое желание (рассчитывая вызвать ее на откровенность, я еще раньше ей сознавался, что мне хотелось бы вступить в связь с какой-нибудь другой женщиной после связи с Альбертиной), или в надежде, что мне станет еще тоскливей, или, быть может, что это вырвет у меня с корнем всякую мысль о превосходстве над ней, Андре, — превосходстве, которое, как она могла предполагать, возникло оттого, что только я был в близких отношениях с Альбертиной, она продолжала: — Мы чудесно проводили время! Альбертина была такая ласковая, такая страстная! Но она не только со мной любила получать удовольствие. У госпожи Вердюрен она встретила симпатичного юношу Мореля. Раскусили они друг друга моментально. Он вот чем занимался: ему нравились неопытные девочки, и как только он их совращал, так сейчас же бросал их. Он имел успех у молодых рыбачек на дальнем пляже, у молодых прачек, влюблявшихся в мальчишку, но не ответил бы на чувство благородной девушки. Стоило девчонке подпасть под его влияние, как он назначал ей свидание в надежном месте и там передавал ее Альбертине. Боясь потерять Мореля,

который потом к ним присоединялся, девчушка ему повиновалась. Кстати сказать, в конце концов она все-таки его теряла, потому что, боясь последствий, а также потому, что одного или двух раз ему бывало довольно, он оставлял неверный адрес и удирал. Он оказался таким ловкачом, что однажды привел одну из них в куливильский дом терпимости (он водил туда и Альбертину), и там не то четверо, не то пятеро имели ее то ли вместе, то ли поочередно. Это была любимая забава и его, и Альбертины. Но у Альбертины бывали потом страшные угрызения совести. Мне думается, что, живя у вас, она обуздала свою страсть и со дня на день откладывала момент, когда она сможет ей отдаться. И она была с вами так дружна, что потом ее мучила совесть. Но вот если бы она с вами рассталась, то у нее все пошло бы по-старому. Вот только я думаю, что если бы, расставшись с вами, она опять взялась за прежнее, то ее еще сильнее мучила бы совесть. Она надеялась, что вы ее спасете, что вы на ней женитесь. В глубине души она чувствовала, что это какое-то преступное сумасшествие, и я часто задавала себе вопрос: почему она покончила с собой? Не было ли у нее в семье чего-нибудь похожего, что в конце концов привело к самоубийству? Должна сознаться,

что в самом начале пребывания у вас она не прекратила игр со мной, бывали дни, когда она никак не могла без них обойтись. Однажды ей так просто было заняться этим где-нибудь еще, но она, прежде чем со мной распрощаться, усадила меня рядом с собой. Нам не повезло, нас едва не застали врасплох. Она воспользовалась тем, что Франсуаза собирается идти за покупками, а вы еще не вернулись. Она везде погасила свет для того, чтобы, когда вы отопрете дверь своим ключом, то не сразу нащупаете выключатель, и она не затворила дверь в свою комнату. Когда мы услышали, как вы поднимаетесь, я успела наскоро привести себя в порядок. Я напрасно спешила, потому что совершенно случайно вы забыли свой ключ, и вам пришлось позвонить. И все-таки мы потеряли голову. Чтобы скрыть свое смущение, мы, не сговариваясь, решили притвориться, что нам неприятен запах жасмина, а на самом деле мы обе его обожали. Вы принесли большую ветку жасмина, и, чтобы скрыть смущение, мы отвернулись. Но я сглупила: я сказала вам, что Франсуаза, вероятно, уже вернулась и могла бы вам отворить, а между тем я только что вам солгала: якобы мы с Альбертиной только что пришли, а Франсуаза еще не успела уйти (и

вот это была правда). Но беда наша заключалась вот в чем: мы думали, что ваш ключ у вас, вы увидите, что свет зажегся, — мы из-за этого очень волновались. Альбертина три ночи подряд не смыкала глаз: ей не давала покоя мысль, как бы вы чего-нибудь не заподозрили и не спросили Франсуазу, почему она перед уходом не зажгла свет. Альбертина очень вас боялась, время от времени уверяла меня, что вы — коварный, злой и в глубине души ее ненавидите. Через три дня она по вашей невозмутимости поняла, что вы и не думали расспрашивать Франсуазу, и тогда сон к ней вернулся. Но отношений со мной она так и не возобновила — то ли от страха, то ли ее мучила совесть: она уверяла, что влюблена то ли в вас, то ли в кого-то еще. Во всяком случае, с тех пор при ней нельзя было говорить о жасмине: на щеках у нее тотчас вспыхивал румянец, и она, надеясь смахнуть его, проводила рукой по лицу».

Как и счастье, горе порой приходит слишком поздно: оно не оказывает того действия, какое могло бы оказать раньше. Таким горем явилась для меня ужасная тайна которую открыл мне рассказ Андре. Бывает так, что даже когда дурные вести должны бы нас опечалить, несчастье, — из-за того, что мы отвлекаемся, оттого что разговор

идет своим мирным ходом, — пролетает перед нами без остановки, и мы, обдумывая ответы на многое множество вопросов, мы, измененные, превращенные, желая понравиться присутствующим, в кого-нибудь другого, защищенные на несколько мгновений в этой новой фазе от привязанностей, от страданий, от которых мы отрешились, чтобы войти в эту фазу, мы их вновь обретем, как только исчезнет непродолжительное очарование. С некоторых пор все, что касалось Альбертины, подобно испарившемуся яду, утратило токсическое действие. Расстояние было уже слишком велико. Подобно гулящему, который под вечер видит в облачном небе лунный серп, я говорил себе: «Так что же? Истина, которую я так искал и которой я так боялся, это всего-навсего несколько сказанных в разговоре слов, которые даже нельзя как следует обдумать, потому что ты не наедине с самим собой».

Всю эту бесполезную правду о жизни нашей любовницы, которой больше нет, — если только это действительно правда, — мы узнаём, когда уже ничего нельзя поделать. Думая о другой, которую мы любим теперь и к которой мы тоже можем охладеть, — ведь о той, забытой, мы уже не тревожимся, — мы приходим в отчаяние. Мы

говорим себе: «Что, если бы ныне здравствующая поняла все это, и, когда она умрет, я проник бы во все ее тайны!» Если бы я был властен оживить Альбертину, я приложил бы все усилия к тому, чтобы Андре ничего мне не открывала.

Что касается молодого человека, спортсмена, племянника Вердюренов, с которым я виделся во время и первого и второго моего посещения Бальбека, то, забегая вперед, я должен сказать, что некоторое время спустя после прихода Андре, к которому я еще вернусь, в его жизни произошло событие, произведшее на меня довольно сильное впечатление. Этот молодой человек (возможно, в память Альбертины, которую, — о чем мне было известно, — он любил) сошелся с Андре, чем причинил горе Рахили, но ему было на это наплевать. Андре не сказала, что он — ничтожество, это вырвалось у нее позднее, только потому, что она была от него без ума, а он, как ей казалось, был к ней равнодушен. Другой факт был еще удивительнее. Молодой человек выступил со скетчами, для которых сам выполнил эскизы декораций и костюмов к скетчам; костюмы и декорации произвели в современном искусстве революцию, во всяком случае не менее грандиозную, чем та, какую произвел русский балет. Самые автори-

тетные судьи высоко оценили его творчество, нашли, что оно почти гениально (кстати сказать, я с ними согласен), и таким образом, к вящему моему изумлению, разделили мнение Рахили. Кто встречался с ним в Бальбеке, кто следил за тем, достаточно ли элегантно одеваются его знакомые, кому было известно, что он проводит все время за игорным столом, на бегах, за игрой в гольф или в поло, кто знал, что учился он плохо и его, к огорчению родителей, исключили из лицея, что он прожил два месяца в том самом публичном доме, где де Шарлю надеялся застать Мореля, те предполагали, что, может быть, это произведения Андре, которая из любви к молодому человеку хотела, чтобы вся слава досталась ему, а кое-кто высказывал более вероятное предположение: будто бы он из своего огромного состояния, которое его безумные траты поубавили не намного, платит нуждающемуся гению. В представлении богачей, которых не обтесала дружба с аристократами, артист — это актер, декламирующий монологи на свадьбе их дочерей, за что они ему тайком, в соседней комнате, сейчас же суют в руки конверт, а художник — это тот, кому они заставляют позировать свою дочь сразу после свадьбы, до рождения детей, пока она еще не

утратила привлекательности; им не трудно внушить, что все светские люди, якобы сочиняющие или рисующие, кого-нибудь нанимают за деньги ради того, чтобы прослыть творцами или ради депутатского кресла. Но это была напраслина: молодой человек был действительно автором прелестных скетчей. Когда я обо всем этом услышал, то невольно засомневался и не знал, чему верить. То ли, правда, в течение ряда лет его не сумели распознать, и только какое-нибудь потрясение пробудило в нем, как Спящую красавицу, дремавший гений; то ли в период его бурного красноречия провалов на экзаменах, крупных проигрышей в Бальбеке, страха, как бы не сесть на трамвай вместе с «верными» его тетушки — г-жи Вердюрен по той причине, что он был плохо одет, он уже был гением, но только оставил ключ от своей гениальности под дверью, которая вела туда, где бушевали юношеские его страсти; или даже, сознавая свою гениальность, он так плохо учился потому, что, когда преподаватель изрекал банальности о Цицероне, он в это самое время читал Рембо или Гете. Когда я встретил его в Бальбеке, где, как мне казалось, он был занят только починкой упряжек или приготовлением коктейлей, то опровергнуть эти гипотезы было

бы не легко. И все же их нельзя было считать непререкаемыми. Он мог быть очень тщеславным, а тщеславие сочетается с гениальностью, он мог пытаться блеснуть так, как он считал наиболее подходящим для ослепления того мира, в котором он жил, а блеснуть в нем можно было отнюдь не глубоким знанием «Сродства душ», а уж скорее искусством править четверкой лошадей. Между прочим, я не уверен, что даже когда он стал известен как автор прекрасных, оригинальных произведений — не в театрах, где все его знали, — ему было приятно сказать «Здравствуйте» кому-нибудь, кто был не в смокинге (такое чувство испытывают принявшие какое-либо вероисповедание), что свидетельствовало бы не о том, что он глуп, а о том, что он тщеславен и даже об его жизненном опыте, об его знании людей, благодаря которому это его тщеславие импонировало глупцам, чьим мнением о себе он дорожил и для кого смокинг сверкает, вероятно, ярче, нежели взгляд мыслителя. Как знать? Не произвел ли бы человек одаренный или даже бездарный, но живущий интенсивной духовной жизнью, — к примеру, я, — на человека, который встретился бы с ним в Ривбеле, в бальбекской гостинице, на бальбекской набережной, впечат-

ление претенциознейшей личности? Не говоря о том, что для Октава искусство было, вероятно, чем-то столь, интимным, жившим в самых-самых глубоких тайниках его души, что ему и в голову не пришло бы о нем рассуждать, как рассуждал бы, например, Сен-Лу, для которого искусство заключало в себе столько же очарования, сколько упряжки для Октава. И еще: он мог быть страстным игроком, и, говорят, таким и остался. Тем не менее, если любовь к искусству, оживившая никому не известное творение Вентейля, зародилась в монжувенском смешанном обществе, то, быть может, самые изумительные шедевры нашего времени обязаны своим происхождением не Всеобщему конкурсу, не образцовой постановке дела в высших учебных заведениях (в духе Бройля), а частым посещениям ипподромов и многолюдных баров. Во всяком случае, тогда в Бальбеке причины, вследствие которых мне хотелось с ним познакомиться, Альбертине же и ее подругам не хотелось, чтобы я с ним познакомился, не соответствовали его значению и могли бы только послужить явным доказательством взаимонепонимания, искони существующего между интеллигентом (в данном случае — мной) и светскими людьми (в данном

случае — небольшой компании) с одной стороны и каким-нибудь одним представителем светского общества — с другой (в данном случае — юным игроком в гольф).

Возвращаюсь к приходу Андре. Сделав признание о своих отношениях с Альбертиной, она прибавила, что Альбертина ушла от меня из-за того, что могли подумать ее подружки, но были и другие причины: например, ее жизнь у молодого человека, с которым она не состоит в браке. «Мне известно, что это было неприятно вашей матушке. Это бы еще ничего. Но вы не представляете себе, что такое весь этот мир девушек, что они друг от дружки скрывают, как они боятся того, что про них будут говорить. Мне приходилось наблюдать, как сурово обходились они с молодыми людьми только потому, что они были знакомы с их подружками, и тех же самых девушек мне случайно, помимо их воли, довелось увидеть совсем другими». За несколько месяцев до этого разговора сведения, которыми, по-видимому, располагала Андре относительно того, чем руководствуются в своих поступках девушки из стайки, показались бы мне наиболее драгоценными. Быть может, их было достаточно для того, чтобы понять, почему Альбертина,

отдавшаяся мне в Париже, потом отдалилась от меня в Бальбеке, где я постоянно виделся с ее подружками, тогда как я имел глупость считать это своим преимуществом, залогом наилучших отношений с ней. Может быть, она подозревала, что Андре пользуется у меня особым доверием, со страхом думала: вдруг я имел неосторожность проговориться Андре, что она будет ночевать в Гранд-отеле, а в результате она, за час до этого собиравшаяся доставить мне удовольствие и смотревшая на это как на нечто самое обыкновенное, неожиданно изменила своему решению и даже грозилась позвонить лифтеру. Но тогда она, вероятно, была доступна многим другим. Эта мысль пробудила во мне ревность; я задал Андре вопрос: «Вы занимались этим в нежилой квартире вашей бабушки?» — «О нет, никогда, там нам бы мешали». — «Разве? А я думал, мне казалось...» — «Альбертина любила заниматься этим за городом». — «Где же?» — «Прежде, когда у нее не было времени ездить далеко, мы ездили на Бют-Шомон — она знала там один дом, или под деревьями, или в Малом Трианоне». — «Теперь вы сами видите, как можно вам верить. Вы же меньше года тому назад клялись мне, что на Бют-Шомон у вас ничего не было». — «Мне не хотелось

вас огорчать». Много позднее я понял, что во время второй нашей встречи, в день признаний, Андре пыталась меня огорчить. Я бы подумал об этом сейчас же, когда она мне рассказывала, если бы мне хотелось испытать сильную душевную боль, если бы я любил Альбертину по-прежнему. Я уже не верил в ее невиновность потому, что у меня не было страстного желания в нее верить. Веру порождает желание, и обычно мы не отдаем себе в этом отчета только потому, что почти все желания, порождающие веру, умирают (желание, которое вселило в меня убеждение в невиновности Альбертины — это исключение) вместе с нами. Стольким доказательствам, которые подкрепляли мою первую версию, я по неразумию предпочел голословные утверждения Альбертины! Зачем я ей верил? Ложь — основная черта человека. По всей вероятности, она играет такую же большую роль, как стремление к наслаждению, и — замечу кстати — именно этим стремлением порождена. Люди лгут, чтобы оградить свое наслаждение, свою честь если молва о получаемом нами наслаждении ее задевает. Люди лгут всю жизнь, лгут даже, лгут в особенности, а быть может, только тем, кто их любит. Только эти последние действительно заставляют

нас бояться за наше наслаждение и вызывают у нас желание заслужить их уважение. Вначале я счел Альбертину виновной, но мое желание поверить ей, истощив в сомнениях все силы моего интеллекта, в конце концов сбило меня с толку. Быть может, нас окружают электрические, сейсмические указатели, и нам нужно лишь честно истолковывать их данные, чтобы знать правду о характере того или иного человека. Как ни опечалили меня рассказы Андре, я предпочитал, чтобы реальность оправдала, наконец, мои первоначальные инстинктивные предчувствия, а не дешевый мой оптимизм, под иго которого я впоследствии подпал из трусости. Мне хотелось, чтобы жизнь была на высоте моих предчувствий. В сущности, это были те же самые предчувствия, какие я испытал в первый день на пляже, когда решил, что эти девушки — воплощение исступленного сладострастия, воплощение порока, а равно и вечером, когда увидел, что наставница Альбертины требует, чтобы эта страстная девушка вернулась на небольшую виллу, — так загоняют в клетку хищника, которого ничто уже не сможет одомашнить. «Когда вы заходили за ней, вы потом отправлялись на Бют-Шомон?» — спросил я Андре. «О нет! После ее возвращения из

Бальбека вместе с вами, — если не считать того, о чем я вам рассказывала, — она больше никогда ничем таким со мной не занималась. Она даже не позволяла мне заводить об этом разговор». — «Андре, дорогая, ну зачем вы опять говорите мне неправду? Благодаря счастливому случаю, благодаря тому, что я никогда не пытаюсь что-либо узнавать, мне стало известно до мельчайших подробностей о такого рода развлечениях Альбертины. Я могу вам точно сказать, что это было у нее на берегу реки с прачкой за несколько дней до ее кончины». — «Ну, может быть, после того как она от вас уехала, — этого я не знаю. Она чувствовала, что не смогла и больше никогда не сможет заслужить ваше доверие». Эти слова Андре действовали на меня удручающе. Потом я снова вспомнил о вечере с веткой жасмина, вспомнил, что приблизительно через две недели, в течение которых я ревновал Альбертину то к одной, то к другой, я спросил Альбертину, не было ли у нее интимных отношений с Андре и она мне ответила: «Нет, никогда. Я обожаю Андре, я люблю ее нежно, но только как сестру, и если бы даже за мной и водился грех, в котором вы меня подозреваете, то последней, о ком бы я подумала в этой связи, была бы Андре. Могу поклясться

всем, чем хотите: здоровьем моей тети, могилой моей дорогой мамы». Я ей поверил. Но даже если во мне не породило подозрения противоречие между ее прежними полупризнаниями в том, что она начала отрицать, как только увидела, что мне это небезразлично, я все-таки должен был бы вспомнить Свана, убежденного в платоническом характере дружеских привязанностей де Шарлю и отстаивавшего свою правоту в беседе со мной вечером того дня, когда я видел жилетника и барона во дворе; я должен был бы призадуматься над противостоянием двух миров: в одном лучшие, наиболее искренние существа говорят, а в другом те же существа действуют, и когда замужняя женщина говорит вам о молодом человеке: «Это истинная правда: я испытываю к нему глубокое дружеское чувство, но. чувство совершенно безгрешное, чистое, я могла бы в этом поклясться памятью моих родителей», нам следовало бы без малейших колебаний поклясться самим себе, что эта дама, наверно, только что вышла из туалетной комнаты, куда она после каждого свидания с этим молодым человеком направляется, чтобы не забеременеть. Однажды Альбертина сказала мне, что была в авиалагере, что она была дружна с авиатором (конечно, она говорила это, чтобы

рассеять мои подозрения насчет женщины, — она была уверена, что к мужчинам моя ревность слабее). Еще она сказала, что было забавно смотреть, как Андре без памяти влюбилась в этого авиатора, как она завидовала почестям, которые он оказывал Альбертине, и даже попросила его полетать с ней на аэроплане. И все это было от начала до конца выдумано, Андре никогда в этом лагере не была и т д.

Когда Андре уехала, пора было ужинать. «Тебе ни за что не догадаться, кто был у меня с визитом часа три тому назад, — сказала мама. — По-моему, часа три, а может быть, и больше. Явилась она почти в одно время с первой визитершей, госпожой Котар, смотрела, не шевелясь, как входят и уходят разные гости, — а у меня их перебывало сегодня больше тридцати, — и ушла только четверть часа назад. Если б у тебя не было твоей подружки Андре, я бы велела тебя позвать». — «Да кто же это?» — «Дама, которая никогда не наносит визитов». — «Принцесса Пармская?» — «Положительно мой сын умнее, чем я думала. Ни малейшего удовольствия нет в том, чтобы просить тебя угадать, кто это, — ты мигом догадываешься». — «Она не извинилась за свою вчерашнюю холодность?» — «Нет, это было

бы неумно, ее извинением был визит. Твоей бедной бабушке это очень понравилось бы. Кажется, около двух часов она послала своего выездного лакея узнать, принимаю ли я сегодня. Ему ответили, что как раз сегодня мой приемный день, и тогда она поднялась ко мне». Моя первая мысль, которой я не осмелился поделиться с матерью, заключалась в том, что принцессу Пармскую, накануне окруженную блестящими людьми, с которыми она была тесно связана и с которыми она любила беседовать, при виде моей матери взяла досада, и эту досаду она и не пыталась скрыть. Это совершенно в духе великосветских немок, который в конце концов восприняли Германты, — восприняли эту надменность, которую, как им кажется, уравновешивает их доходящая до мелочности любезность. Но моя мать, — а вслед за ней и я, — вообразила, что принцесса Пармская просто ее не узнала, и потому не сочла себя обязанной обращать на нее внимание, что только после отъезда моей матери — то ли от герцогини Германтской, которую моя мать встретила внизу, то ли из книги для посетителей, у которых швейцары спрашивают, как их зовут, чтобы записать потом в книгу, — принцесса Пармская узнала, кто эта дама. Она сочла неучти-

вым передать моей матери или сказать ей: «Я вас не узнала». Но так же соответствовала понятиям немецких придворных кругов о вежливости и правилам поведения Германтов мысль принцессы Пармской, что визит принцессы крови, да еще многочасовой визит, должен показаться моей матери чем-то из ряда вон выходящим, что это — не менее убедительное объяснение, и моя мать именно так это и поняла.

Я написал Андре, что хочу ее видеть. Она приехала только через неделю. Я почти сейчас же задал ей вопрос: «Вы меня уверяете, что, когда Альбертина жила здесь, она больше этим не занималась, — стало быть, она уехала от меня, чтобы заниматься этим на свободе, но ради какой из подружек?» — «Нет, это не так, совсем не ради этого». — «Тогда, значит, я был ей очень неприятен?» — «Не думаю. По-моему, ее заставила уехать от вас тетка — она мечтала выдать ее за эту каналью — ну, вы знаете, за того молодого человека, которого вы прозвали «Я дал маху», того молодого человека, который был влюблен в Альбертину и просил ее руки. Видя, что вы не собираетесь на ней жениться, они обе испугались, как бы шокирующее затягивающееся пребывание у вас не помешало этому браку. Молодой человек наседал

на госпожу Бонтан, и она вызвала Альбертину. Альбертина нуждалась в дядюшке и тетушке, и когда перед ней поставили вопрос ребром, она вас покинула». Ослепленный ревностью, я до этого не додумывался. Я помешался на страсти Альбертины к женщинам и на слежке за ней. Я упустил из вида одно обстоятельство: по прошествии некоторого времени г-же Бонтан могло показаться странным то, что шокировало мою мать с самого начала. Во всяком случае, она могла опасаться, как бы это не шокировало жениха, которого она держала про запас на тот случай, если бы я не женился на Альбертине. Вопреки мнению матери Андре, Альбертина могла бы составить себе более или менее приличную буржуазную партию. И когда Альбертина решила повидаться с г-жой Вердюрен, когда она с ней поговорила по секрету, когда она была так зла на меня за то, что я ушел на вечер, не предупредив ее, то цель заговора ее и г-жи Вердюрен заключалась уже в том, чтобы свести ее не с мадмуазель Вентейль, а с влюбленным в Альбертину племянником г-жи Вердюрен. А я забыл и думать об этом самом племяннике, который, быть может, давал ей первые уроки и благодаря которому она в первый раз меня поцеловала. Словом, представление,

какое я себе создал о волнениях Альбертины, приходилось или заменять другим или наложить одно на другое, потому что, может быть, одно другого не исключало: влечение к женщинам не препятствовало замужеству. В самом ли деле причиной отъезда Альбертины было замужество и она только из самолюбия, чтобы я не подумал, что она зависит от тетки, что она хочет женить меня на себе, ничего мне об этом не сказала?..

В общем, я по-прежнему так же плохо понимал, почему Альбертина меня покинула. Если лицо женщины не охватить взглядом, бессильным прильнуть ко всей этой движущейся поверхности, не охватить губами и уж, во всяком случае, памятью, если ее лицо меняется в зависимости от занимаемого ею общественного положения, от высоты, на которой находишься ты сам, то какой же плотный занавес отделяет ее поступки от ее побуждений! Побуждения скрываются так глубоко, что они нам не видны, и порождают незнакомые нам поступки, часто идущие вразрез с теми, которые нам известны. В какие времена не бывало государственного деятеля, которого друзья почитали святым и который вошел в историю как человек двуличный, обкрадывавший государство, предававший родину? Сколько раз

крупного землевладельца обворовывали управляющие, которых землевладельцы воспитали, за которых они поручились бы как за честных людей и которые, быть может, когда-то такими и были! Насколько же занавес, скрывающий побуждения женщины, более непроницаем, если мы эту женщину любим! Он затемняет наше представление о ней и ее поступки, она же, чувствуя, что ее любят, вдруг как будто бы перестает придавать значение богатству. Быть может, она притворяется равнодушной к богатству именно потому, что надеется достичь его. Материальные соображения могут примешиваться решительно ко всему.

«Дорогая Андре! Вы опять говорите неправду. Помните (вы сами мне в этом сознались, накануне я звонил вам по телефону, помните?), как хотелось Альбертине, скрыв это от меня, как нечто такое, чего хотелось Альбертине, скрыв это от меня, как нечто такое, чего я не должен знать, побывать на утреннем приеме у Вердюренов, куда собиралась приехать мадмуазель Вентейль?» — «Да, но Альбертина понятия не имела, что там будет мадмуазель Вентейль». — «То есть как? Вы же сами мне сказали, что за несколько дней до этого она встретилась с мадмуазель Вентейль.

Андре! Для нас с вами обманывать друг друга — напрасный труд. Как-то раз, утром, я нашел в комнате Альбертины записку от госпожи Вердюрен, и в этой записке она просила Альбертину не опоздать на утренний чай». Я показал Альбертине эту записку; за несколько дней до отъезда Альбертины Франсуаза нарочно положила эту записку так, чтобы я ее увидел, не вещи Альбертины, и, теперь я с ужасом думал, что положила она ее там для того, чтобы Альбертина вообразила, будто я роюсь в ее вещах, во всяком случае, чтобы дать ей понять, что я эту записку видел. И я часто спрашивал себя: не этой ли хитрости Франсуазы я был в немалой степени обязан отъездом Альбертины, убедившейся, что она ничего больше не может он меня скрыть, пришедшей в отчаяние, чувствовавшей себя побежденной? Я показал Андре записку: *«Я не испытываю ни малейших угрызений совести — меня оправдывает это привычное чувство...»* «Вы отлично знаете, Андре, что она всегда говорила о подруге мадмуазель Вентейль как о своей матери, как о своей сестре». — «Да вы не так поняли эту записку! Госпожа Вердюрен намеревалась свести Альбертину у себя дома вовсе не с подругой мадмуазель Вентейль, это был жених „Я дал маху“, „привыч-

ное чувство“ — это чувство, которое госпожа Вердюрен питала к этому негодяю, а негодяй действительно ее племянник». Но мне все-таки казалось, что потом Андре узнала, что должна прийти мадмуазель Вентейль; г-жа Вердюрен могла сообщить ей об этом дополнительно. «Разумеется, мысль о том, что она опять встретится со своей подругой, доставляла Альбертине удовольствие, напомнила ей о милом прошлом, вот как вы были бы довольны, если бы должны были пойти туда, где, как вам было бы известно, будет Эльстир, но не более, даже не в равной мере. Нет, если Альбертина не сказала вам, почему ей хочется поехать к госпоже Вердюрен, то единственно потому, что у госпожи Вердюрен была назначена репетиция, на которую она позвала немногих и, между прочим, своего племянника, которого вы видели в Бальбеке и с которым Альбертине хотелось поговорить. Это был тот самый каналья… Да и потом, к чему подыскивать столько объяснений? — добавила Андре. — Один Бог знает, как я любила Альбертину и какое это было прелестное создание. Особенно я полюбила ее с тех пор, как она переболела тифоидной горячкой (за год до того, как вы со всеми нами познакомились). Ее болезнь — это было чистое безумие. Вдруг у нее

вызывало отвращение все, что бы она ни делала, надо было все менять, и, конечно, в ту минуту она не могла бы дать себе отчет, почему ей так все отвратительно. Вы помните тот год, когда вы в первый раз приехали в Бальбек, тот год, когда вы с нами познакомились? В один прекрасный день она велела прислать ей телеграмму, вызывавшую ее в Париж, — едва успели тогда собрать ее вещи. А ведь У нее не было никаких поводов для отъезда. Все предлоги, какие она приискивала, были ложными предлогами. Ведь в Париже ее ожидала скучища. Мы все еще жили в Бальбеке. Гольф все еще процветал. Даже соревнования, — а ей так хотелось получить большой кубок, — еще не закончились. И она бы его, конечно, тогда завоевала. Надо было остаться в Бальбеке только на неделю. И что же? Она умчалась. Я потом часто с ней об этом заговаривала. Она уверяла, что и сама не знает, почему она уехала, — может быть, стосковалась по городу (подумайте: ну можно ли стосковаться по такому городу, как Париж?), может быть, ей надоел Бальбек, ей казалось, что там над ней посмеиваются». После я уже не задумывался над объяснениями Андре и говорил себе: «Как трудно в жизни постичь правду!»

Когда я узнал, что мадмуазель Вентейль должна

была приехать к г-же Вердюрен, то мне показалось, что это открытие объясняет все, тем более что Альбертина тогда же, не дожидаясь моих вопросов, сама мне об этом сказала. И позднее разве она не отказалась поклясться мне, что присутствие мадмуазель Вентейль не доставляет ей ни малейшего удовольствия? Но по поводу этого молодого человека я вспомнил то, о чем успел позабыть. В то время когда Альбертина жила у меня, я его встретил, и он был совсем другой, чем в Бальбеке: изысканно любезный, даже почтительный, умолял позволить ему навестить меня, но я по многим причинам от его визита уклонился. И только теперь я понял, что, осведомленный о том, что Альбертина живет у меня, он хотел со мной подружиться, чтобы ее похитить, и пришел к заключению, что он — ничтожество. Когда я увидел первые произведения молодого человека, я продолжал думать, что ему так хотелось ко мне прийти только из-за Альбертины и, находя его образ действий бесчестным, вспомнил, что я уезжал в Донсьер под предлогом, что мне хочется повидаться с Сен-Лу, на самом же деле потому, что я любил герцогиню Германтскую. Правда, там было совсем другое дело: Сен-Лу не любил герцогиню Германтскую, так что с моей стороны

это было своего рода двоедушие, но отнюдь не коварство. Если у человека крадут его сокровище, то это еще можно понять. Но если притом испытывают сатанинскую потребность сначала уверить его в своих дружеских чувствах, то это уже высшая степень подлости и извращенности. Да нет, тут не было наслаждения своей извращенностью, как не было даже чистой лжи.

Псевдожениху Альбертины, выказавшему мне в тот день такое благорасположение, можно найти оправдание еще вот в чем: оно было вызвано не только влюбленностью в Альбертину. Он совсем недавно стал смотреть на себя как на творческую личность и стремился к тому, чтобы все видели в нем создателя духовных ценностей. Спорт, разгульная жизнь уступили место другим интересам. Когда он узнал, что меня уважали Эльстир и Бергот, — да к тому же еще Альбертина, быть может, передавала ему мои мнения о писателях, из которых она делала вывод, что я тоже мог бы писать, — то я стал для него (для нового человека, каким он сам себя теперь считал) представлять особый интерес, ему хотелось поближе со мной познакомиться, посоветоваться относительно своих творческих планов, может быть, он мечтал и о том, чтобы я познакомил

его с Берготом. Следовательно, он был искренен, напрашиваясь ко мне в гости, расписываясь в симпатии ко мне, в которой его творческие интересы озарялись светом, падавшим от Альбертины. Но, разумеется, *не только* ради творческих интересов он так стремился попасть ко мне в дом, хотя бы из-за этого ему надо было все на свете бросить. Если же взять Альбертину, то ведь и ее потянуло на репетицию к г-же Вердюрен вполне пристойное удовольствие, какое ей сулила встреча с подругами детства, с которыми ей хотелось поговорить, которым ей хотелось одним своим присутствием у Вердюренов показать, что бедную девочку, какой они ее знали когда-то, теперь приглашают в знаменитый салон, и, может быть, удовольствие послушать музыку Вентейля. Если все это обстояло именно так, значит, краска, выступившая на лице Альбертины, когда я с ней заговорил о мадмуазель Вентейль, объяснялась тем, что она хотела скрыть от меня утренний прием у г-жи Вердюрен и проект вступления в брак, о котором я тоже ничего не должен был знать. Отказ Альбертины поклясться в том, что ей не доставила бы удовольствия встреча на этом приеме с мадмуазель Вентейль, тогда усилил мою душевную боль, укрепил меня в моих подо-

зрениях, но теперь, оглядываясь назад, я должен был признать, что Альбертине хотелось быть искренней — хотелось именно потому, что это было нечто невинное. Оставался, однако, рассказ Андре об ее отношениях с Альбертиной. Даже если б я заключил, что Андре придумала все, что было у нее с Альбертиной, — для того, чтобы я был несчастлив, чтобы я в ней нуждался, — то все-таки разве я не мог предположить, что Андре несколько преувеличила то, что было у нее с Альбертиной, но зато Альбертина в силу своей ограниченности преуменьшала то, что было у нее с Андре, иезуитски пользуясь некоторыми определениями, которым я придал совершенно неверный смысл, полагая, что ее отношения с Андре — не такие, в каких ей надо было сознаться, и что она, отрицая их, не лгала? Да и зачем думать, что лгала, по всей вероятности, она, а не Андре? Правда и жизнь трудны, я их так и не разгадал, и в конце концов у меня осталось от всего этого впечатление, в котором душевная усталость, быть может, брала верх над горем.

Перед моей третьей встречей с Андре я уже был равнодушен к Альбертине. Но должно было пройти еще много времени, прежде чем я почувствовал полное к ней равнодушие, и отдал я себе

в этом отчет в Венеции.

Увезла меня туда на месяц с лишним моя мать, и — так как красота может заключаться и в драгоценных и в простых предметах — на меня там нахлынули впечатления, какие на меня часто производил Комбре, но только гораздо более яркие. Когда, в десять часов утра, в моей комнате отворяли ставни, я видел, как пылает на черном мраморе, в который превращалась сияющая черепичная крыша св. Илария, золотой Ангел на колокольне св. Марка. Через полчаса, когда я был на Пьяцетте, Ангел, ослепительно, так что больно становилось глазам, сверкая на солнце своими широко распустившимися крыльями, предвозвещал мне более близкую радость, чем та, какую он некогда призван был возвестить людям, взыскующим добра. Когда я лежал, я видел только его, но мир — это не более, чем огромные солнечные часы, на которых один-единственный освещенный участок указывает время. И в первое же утро я вспомнил комбрейские лавчонки на Церковной площади, которые, когда я шел к воскресной службе, должны были с минуты на минуту закрыться, а на рынке уже сильно пахло нагретой соломой. Но на другое утро, когда я встал с постели, я уже вспоминал свой первый

выход в Венеции, где повседневность была не менее реальна, чем в Комбре. В Комбре хорошо было пройтись воскресным утром по праздничной улице, но здесь улица, освежаемая теплым дуновением ветра, вся сияла лазурью, и лазурь эта была так прочна, что мой усталый взгляд мог на ней покоиться, не боясь, что она померкнет под его тяжестью. Так же, как в Комбре, добрые люди с Птичьей улицы, здесь, в этом новом для меня городе, жители выходили из домов, вытянувшихся в ряд на длинной улице, но только в Венеции были не домики, отбрасывавшие короткую тень, а дворцы из порфира и яшмы.

Солнце стояло высоко, когда мы с мамой направлялись к Пьяцетте. Мы подзывали гондолу. «Какое сильное впечатление произвела бы на твою бабушку эта величественная простота! — сказала мама, указывая на герцогский дворец, смотревший на море с задумчивым видом, который придал ему зодчий и который он сохранил до сих пор, молча ожидая исчезнувших дожей. — Ей бы даже понравилась нежность этих розовых тонов, потому что она не слащава. Как твоя бабушка полюбила бы Венецию!» Вид на дома, расположенные по обеим сторонам Канале Гранде, напоминал картину, созданную природой,

но только такой природой, которая обладала бы человеческим воображением.

Многие дворцы на Канале Гранде были превращены в отели — то ли из любви к переменам, то ли из любезности по отношению к г-же Сазра, которую мы случайно встретили (одна из тех непредвиденных и несвоевременных встреч, без которых не обходится ни одно путешествие). Мама пригласила ее к нам, и однажды вечером мы решили поужинать не в своем отеле, а в другом, где, как нам говорили, готовили лучше. Расплатившись с гондольером, моя мать вместе с г-жой Сазра вошла в отдельный кабинет, который она заказала заранее, а мне захотелось поглядеть на общую залу ресторана, украшением которой были мраморные колонны с давно не реставрировавшейся росписью. Два официанта разговаривали друг с другом по-итальянски. Привожу их разговор в переводе:

«Старики будут ужинать у себя в номере?» — «Да они хоть бы раз предупредили! Просто безобразие! Никогда не знаешь, оставлять для них столик или не оставлять. А ведь что поднимется, если они войдут и увидят, что их столик занят! И зачем только в шикарном отеле сдают номера

всяким *forestieri*[16]*!* Им здесь не место».

Официант презирал этих постояльцев, которым он прислуживал, а все-таки ему хотелось выяснить, как быть со столиком, и он уже собрался послать к ним лифтера, но, прежде чем он успел привести свое намерение в исполнение, ответ ему был дан: он увидел, что в залу входит дама почтенного возраста. Несмотря на печальное и усталое выражение ее лица, какое появляется у людей, согнувшихся под бременем лет, на уродовавшую ее экзему, несмотря на ее чепец, на ее черную юбку, которая была сшита у дорогой портнихи, но которая в глазах профанов придавала ей сходство со старой привратницей, мне нетрудно было узнать в ней маркизу де Вильпаризи. Совершенно случайно я рассматривал то, что осталось от фрески на прекрасной мраморной колонне, как раз за тем столиком, за который села маркиза де Вильпаризи.

«Стало быть, сейчас явится господин де Вильпаризи, — заметил официант. — Они живут здесь уже целый месяц и ни разу не кушали порознь».

Я пытался догадаться, кто этот ее родственник, с которым она путешествует и которого здесь

---

[16] Примечания: 16
Иностранцам (итал).

называют господином де Вильпаризи, как вдруг увидел, что к столику подходит и садится рядом с маркизой ее старый любовник, Маркиз де Норпуа.

Преклонный возраст ослабил звучность его голоса, но зато расширил его словарный состав, тогда как прежде он был скуп на слова. Может быть, тут играло роль его честолюбие. Он чувствовал, что ему уже не утолить его, и от этого честолюбивый его пыл, его стремительность только усиливались. Может быть, отстраненный от политики, в которую ему страстно хотелось вернуться, он по своей наивности верил, что беспощадная критика, какой он подверг тех, кто пришел ему на смену, вынудит их подать в отставку. Политические деятели обычно бывают уверены в том, что кабинет, в который они не входят, не продержится и трех дней. Однако сказать, что маркиз де Норпуа совсем разучился говорить на языке дипломатов, — это было бы преувеличением. Когда речь заходила о «важных делах», он, как это сейчас увидит читатель, сразу становился таким, каким мы его знали прежде. Но если речь шла о других предметах, он проявлял старческую болтливость; старичкам это свойственно: сознавая, что никак иначе они не

способны увлечь женщин, они их заговаривают.

Маркиза де Вильпаризи некоторое время молчала — она устала от жизни, и ей труден был переход от воспоминаний о прошлом к настоящему. Даже в том, как они оба говорили о чем-нибудь чисто практическом, угадывалось продолжение взаимной любви.

— Вы заходили к Сальвиати?

— Да.

— Они пришлют завтра?

— Выкройку я принес. Я вам ее покажу после ужина. Давайте посмотрим меню.

— Вы отдали распоряжение на бирже относительно моих суэцких акций?

— Нет. Внимание биржи в данное время поглощено ценами на нефть. Торопиться не к чему — на рынке дела обстоят хорошо. Вот меню. Есть барабулька. Не заказать ли?

— Мне-то ее можно, а вам нельзя. Закажите лучше ризотто. Впрочем, они не умеют его готовить.

— Ничего, ничего. Гарсон! Принесите барабульку для мадам, а для меня — ризотто.

И опять долгое молчание.

— Да, кстати, я купил для вас газеты: «Коррьере делла Сьера», «Газета ди Пополо». Сейчас, надо вам сказать, обсуждается вопрос о перемещении

дипломатов. Первым козлом отпущения будет Палеолог, как видно, не справившийся со своими обязанностями в Сербии. По всей вероятности, на его место назначат Лозе, а его переведут в Константинополь. Но, — с ехидным видом продолжал маркиз де Норпуа, — возглавлять такое важное посольство, — да еще если иметь в виду, что Великобритания всегда, при любых обстоятельствах, будет занимать за круглым столом первое место, — должен опытный дипломат, который умеет обходить все ловушки, расставляемые нашей британской союзнице, а не новичок, который по своему простодушию сразу попадет впросак.

Язвительность, с какой маркиз де Норпуа произнес последние слова, объяснялась, главным образом, тем, что газеты вместо того, чтобы называть его имя, как это он им рекомендовал, указывали как на наиболее достойного претендента на молодого полномочного министра.

Ко мне подошел официант и сказал, что меня зовет моя мать. Я пошел к ней и, извинившись перед г-жой Сазра, признался, что мне любопытно было понаблюдать за маркизой де Вильпаризи. Стоило мне произнести это имя, как г-жа Сазра побледнела и едва не лишилась чувств. Взяв себя

в руки, она спросила:

— Маркиза де Вильпаризи, в девичестве мадмуазель де Буйон?

— Да.

— Нельзя ли мне только взглянуть на нее? Это мечта моей жизни.

— В таком случае не теряйте времени — она сейчас кончит ужинать, Но почему она вас так интересует?

— Да ведь маркиза де Вильпаризи, по первому мужу — герцогиня д'Эвре, была прекрасна, как ангел, и зла, как демон. Она свела с ума моего отца, разорила его, а потом сейчас же бросила. Из-за того, что она поступила с ним, как продажная тварь, мне и моим ближайшим родственникам пришлось вести скромную жизнь в Комбре. Но теперь, когда моего отца нет в живых, утешением мне служит то, что он любил первую красавицу своего времени. Я никогда раньше ее не видела, и теперь мне все-таки будет приятно на нее посмотреть…

Я проводил дрожавшую от волнения г-жу Сазра в общую залу и показал ей маркизу де Вильпаризи.

Но, как слепые, которые смотрят не туда, куда надо, г-жа Сазра, не остановив взгляда на столике,

за которым ужинала маркиза де Вильпаризи, стала искать глазами в другой стороне залы.

— Должно быть, она уже ушла — я не вижу ее там, куда вы показываете.

И она продолжала обводить взглядом ресторан в поисках ненавистного и боготворимого видения, с давних пор жившего в ее воображении.

— Да вон же она, сидит за вторым столиком!

— Должно быть, мы с вами отсчитываем поразному. За вторым столиком сидит со стариком маленькая горбунья, краснолицая, ужасная.

— Это она!

Иной раз, возвращаясь под вечер в отель, я чувствовал что незримая Альбертина заключена внутри меня, и только чистая случайность сдвигала тугую крышку, под которой таилось связанное с Альбертиной прошлое.

Но однажды вечером мне показалось, что моей любви суждено возродиться. Когда наша гондола остановилась против отеля, портье подал мне телеграмму, которую посыльный приносил мне уже три раза, потому что фамилия получателя была написана неправильно (несмотря на искажения, допущенные итальянскими телеграфистами, я понял, что это моя фамилия), и посыльного просили точно установить, в самом

ли деле телеграмма адресована мне. Придя к себе в номер, я развернул телеграмму и хотя с трудом, но все-таки разобрал: «Друг мой, вы думаете, что я умерла, но нет, простите, я полна жизни. Мне бы хотелось повидаться с вами, поговорить о нашей свадьбе. Когда вы вернетесь? Любящая вас Альбертина». Когда я узнал, что моя бабушка умерла, то это известие меня нисколько не огорчило. Ее смерть заставила меня страдать, как только ее оживили для меня воспоминания. Когда я свыкся с мыслью о смерти Альбертины, весть о том, что она жива, не обрадовала меня, как этого можно было бы ожидать. Об умершей Альбертине я думал как о живой; когда же мои мысли приняли другое направление, Альбертина физически для меня не воскресла. Осознав, что меня не обрадовало известие о том, что она жива, осознав, что я разлюбил ее, я должен был бы огорчиться больше, нежели человек, который, посмотрев на себя в зеркало после того, как он несколько месяцев пропутешествовал или проболел, замечает, что он поседел и что у него теперь другое лицо: лицо человека зрелых лет или старика. Это огорчает: значит, того человека, каким я был, молодого блондина, больше не существует, значит, теперь я — другой. Морщинистое лицо, седые волосы

— не есть ли это такое же глубокое изменение, полное уничтожения моего «я», уничтожение того, каким был я, и возникновение нового «я» на месте прежнего?

В тот день, когда моя мать решила уехать из Венеции и наши вещи были уже отправлены в гондоле на вокзал, я прочитал в книге, куда заносились фамилии иностранцев, ожидаемых в отеле: «Баронесса Пютбю со свитой». Тотчас же ощущение наслаждения, которого наш отъезд меня лишал, подняло желание, жившее во мне всегда, на высоту чувства. Я попросил мать отложить отъезд на несколько дней. Тот вид, с каким она не приняла во внимание, не приняла всерьез моей просьбы, пробудил в моем и без того взвихренном внутреннем мире мое давнее сопротивление воображаемому заговору против меня моих родителей, уверенных, что я буду вынужден подчиниться, пробудил стремление к борьбе, которое в былые времена подстрекало меня противопоставлять свою волю тем, кого я любил больше всех на свете, и заставлять их идти мне на уступки. Я сказал матери, что не поеду, но она, полагая, что лучше не подавать виду, что я говорю серьезно, даже не ответила мне. Я сказал, что сейчас она увидит, серьезно я говорю иди нет.

Портье принес три письма: два — ей, одно — мне. Я положил его в бумажник вместе с другими письмами, даже не взглянув на конверт. Когда письмо ушло вместе со всеми моими вещами на вокзал, я приказал подать стакан напитка на террасу, против канала, и, заняв место, начал смотреть на закат, а в это время на барке, остановившейся против отеля, певец пел «Sole mio»[17].

Солнце заходило. Моя мать была теперь, вероятно, недалеко от вокзала, а я останусь в Венеции один и мне будет тяжело от того, что огорчил мою мать, от того, что ее нет рядом со мной и что утешить меня некому. Час отъезда близился. Мое безысходное одиночество нависало надо мной, и мне казалось, будто это круглое одиночество уже началось. В одиночестве я чувствовал, что все предметы вокруг меня чужие. Город перестал быть для меня Венецией. Его облик, его название представлялись мне фикциями. Дворцы распадались на части, — теперь это было просто определенное количество мрамора, — они казались мне похожими на любые другие, а воду я представлял себе смесью водорода и азота, смесью вечной, слепой, которая существовала еще

[17] Примечания: 17
«О мое солнце» (итал.).

до возникновения Венеции и будет существовать после нее, не знающей Дворца дожей и Тернера. И вместе с тем эти места были мне не знакомы, это были места, куда вы приходите, а вас здесь еще не знают, места, которые вы когда-то покинули и которые вас уже забыли. Мне было нечего больше сказать им о себе, я не Мог оставить здесь ничего своего, они сжимали меня, я представлял собою теперь лишь бьющееся сердце и внимание, напряженно следовавшее за развитием темы «Sole mio». Напрасно в отчаянии я пытался зацепиться взглядом за своеобразный, прекрасный выгиб Риальто — он представая моему взору во всей посредственности своей очевидности; этот мост не только был хуже — он разрушал представление о том, что передо мной актер, хотя, несмотря на его светлый парик и темную одежду, я знал, что это вовсе не Гамлет. Дворцы, Канале, Риальто утратили идею, составлявшую их индивидуальность, и распались на простые материальные элементы. Если я все-таки еще хотел догнать маму и сесть с ней в вагон, мне, конечно, надо было перестать слушать певца и, не теряя ни секунды, решить что я еду. Но именно этого-то я и не мог; я сидел неподвижно; я был не способен не только на то, чтобы встать, но

даже на то, чтобы решиться встать. Моя мысль, дабы не приходить к решению, следовала за чередованием музыкальных фраз «Sole mio», беззвучно подпевала певцу, предвидела взлет фразы, следовала за ней, а потом вместе с ней падала. Конечно, это неважное пение, которое я уже слышал сто раз, нисколько меня не интересовало. Я не доставлял удовольствия никому, — в том числе самому себе, — благоговейно слушая его до конца. Ни одна из знакомых мне фраз этого пошлого романса не могла подсказать мне решение, в котором я нуждался; более того: каждая фраза становилась препятствием для принятия разумного решения; вернее, она толкала меня на решение противоположное — не уезжать: ведь я упускал время из-за нее. Вот почему от этого не доставлявшего ни малейшего удовольствия занятия — слушать «Sole mio» — мне было так тяжело на сердце, вот почему я был близок к отчаянию. Я отдавал себе отчет, что, в сущности, раз я сидел неподвижно, то это и было решение — не уезжать. Но сказать себе прямо: «Я не уезжаю» — это было свыше моих сил; мне легче было выразить это же при помощи других слов: «Сейчас я услышу еще одну фразу из «Sole mio». Это было возможно, но крайне болезненно, потому

что практическое значение этого символического языка не ускользало от меня, и, продолжая твердить себе: «Ведь я всего-навсего слушаю еще одну музыкальную фразу», я понимал, что это обозначает: «Я остаюсь в Венеции один». И, быть может, тоска, напоминающая сковывающий холод, составляла очарование, — очарование мучительное, но и обворажающее, — этого пения. Каждая нота, которую брал певец, казалось, употребляя для этого силу мускулов, которыми он как бы играл, пронзала мне сердце. Когда голос певца затихал и казалось, что пенье кончилось, певец не унимался и опять начинал петь, но уже громко, словно ему нужно было еще раз объявить о моем одиночестве и отчаянии. Моя мать, наверно, уже на вокзале. Скоро она уедет. А передо мной расстилается Венеция, где мне придется жить одному.

Я все еще сидел неподвижно, с надломленной волей, не принимая определенного решения. Конечно, в эти мгновенья оно уже было принято. Наши друзья во многих случаях могут его предвидеть, мы же сами не можем, а от каких страданий это предвидение нас бы избавило!

Наконец, благодаря укоренившейся привычке, благодаря скрытым силам, которые она неожи-

данно, внезапно, в последний момент, бросает в бой, я преодолел свою нерешительность: я прибежал, когда окна были уже закрыты, но маму я еще застал; от волнения по ее лицу разлилась краска; она чуть не плакала, так как была уверена, что я уже не приду. «Ты знаешь, — сказала она, — твоя бедная бабушка говорила: «Любопытное явление: нет на свете такого невыносимого и такого милого создания, как наш малыш». Поезд отошел, и мы увидели Падую, потом Верону, встречавших наш поезд, провожавших нас почти до самого вокзала, и когда мы удалялись, они, никуда не уезжавшие, начинали жить своею прежней жизнью и возвращались одна — к своим полям, другая — на свой холм. Время шло. Моя мать не спешила прочитать письма — она только распечатала конверты и, видимо, опасалась, как бы я не вытащил свой бумажник и не достал письмо, которое передал мне портье. Она по-прежнему боялась, что путешествие покажется мне слишком долгим, чересчур утомительным, и, чтобы занять меня перед приездом, медлила распаковывать сваренные вкрутую яйца, передавать мне газеты, развязывать пакет с книгами, которые она купила втайне от меня. Я посмотрел на мать — она с удивлением читала письмо, потом

подняла голову, и ее взгляд словно вперился в совершенно отчетливые, разнородные воспоминания, которые ей не удавалось сблизить. На своем конверте я узнал почерк Жильберты. Я распечатал конверт. Жильберта сообщала мне, что выходит замуж за Робера де Сен-Лу. Она писала, что телеграфировала мне об этом в Венецию, но ответа не получила. Я вспомнил разговор о том, что телеграф в Венеции работает плохо. Я так и не получил телеграммы от Жильберты. Быть может, она этому не верила. Внезапно в моем мозгу обозначился факт, который жил там в виде воспоминания, но потом уступил место другому. Недавно я получил телеграмму и считал, что это от Альбертины, но телеграмма была от Жильберты.

«Потрясающе! — воскликнула мать. — В моем возрасте уже ничему не удивляются, но уверяю тебя, что нет ничего более неожиданного, чем новость, о которой мне сообщают в этом письме». — «Выслушай меня внимательно, — сказал я. — Мне не известно содержание письма к тебе, но удивительнее письма ко мне оно быть не может.

Это о браке. Робер де Сен-Лу женится на Жильберте Сван». — «Ах, тогда, значит, это то, о чем

мне сообщают в другом письме, — заметила моя мать, — в том, которое я еще не распечатала, — я узнала почерк твоего друга». И тут моя мать улыбнулась мне с тем легким волнением, которое, после того, как скончалась ее мать, вызывало у нее всякое событие, даже самое незначительное, как у всех людей, способных испытывать душевную боль, способных хранить воспоминания, у всех, у кою есть свои покойники. Итак, мать улыбнулась мне и заговорила тихо, словно боясь, что, взглянув легкомысленно на этот брак, она недооценит то, что может пробудить грусть у дочери и у вдовы Свана, у матери Робера, расстающейся со своим сыном, у тех, кого моя мать по своей доброте, из чувства благодарности за их доброе отношение ко мне, наделяла своей собственной привязчивостью, дочерней, супружеской и материнской. «Ну не прав ли я был, предупредив тебя, что нет ничего более удивительного, чем то, о чем говорится в письме ко мне?» — спросил я. «Да нет же! — возразила мать. — Это я могу сообщить тебе самую поразительную новость. Мне пишут о том, что женится юный Говожо». — «Вот как? — равнодушно отозвался я. — На ком же? Во всяком случае, личность жениха уже лишает этот брак какой бы то ни было сенсационности. А кто его

невеста?» — «Если я тебе ее назову — это будет неинтересно. Попробуй — это будет неинтересно. Попробуй угадать», — сказала мама; так как до Турина было еще далеко, она положила мне на столик хлеба и, чтобы у меня не пересохло в горле, сливу. «Почем же я знаю? Какая-нибудь знаменитость? Если Легранден и его сестра довольны, то мы можем быть уверены, что это блестящая партия». — «Относительно Леграндена мне ничего не известно, а вот о маркизе де Говожо тот, кто мне об этом пишет, утверждает, что он польщен. Не знаю, покажется ли тебе это блестящей партией. Мне это напоминает времена, когда король женился на пастушке, да еще из самой бедной семьи, но зато на пастушке очаровательной. Твою бабушку это привело бы в изумление, но она была бы не против». — «Да кто же, наконец, невеста?» — «Мадмуазель д'Олорон». — «По-моему, пастушек с такими фамилиями нет, я не представляю себе, кто бы это мог быть. Скорее всего, родня Германтов». — «Совершенно верно. Де Шарлю, удочеряя племянницу Жюпьена, дал ей эту фамилию. Она-то и выходит замуж за юного Говожо». — «Племянница Жюпьена? Быть того не может!» — «Это вознаграждение за добродетель. Это брак, которым заканчиваются романы Жорж

Санд», — заметила моя мать. «Это вознаграждение за порок, это брак, которым заканчиваются романы Бальзака», — подумал я. «В сущности говоря, это вполне естественно, — поразмыслив, сказал я матери. — Ведь и Говожо укрепились в клане Германтов, а прежде им и во сне не снилось раскинуть там свою палатку. Кроме того, у девчурки, удочеренной бароном де Шарлю, будет много денег, а Говожо, с тех пор как они расстроили свое состояние, деньги нужны. И в конце концов она — приемная и незаконная дочь какого-нибудь, по их мнению, принца крови. Породниться с незаконнорожденным отпрыском королевского дома — это и у французской, и у иностранной знати всегда считалось лестным. Не будем забираться особенно высоко, к Люсенж, но ведь ты же помнишь, что полгода назад, не позднее, друг Робера женился на девушке только потому, что ее считали, — ошибочно или нет, — незаконной дочерью великого князя, и только это давало ей право бывать в высшем обществе». Моя мать, проникнутая кастовым духом Комбре, в силу которого моя бабушка, казалось бы, должна была быть шокирована этим браком, прежде всего сочла нужным стать на точку зрения бабушки. «Помимо всего прочего, — добавила она, — дев-

чурка прелестна. Твоя милая бабушка, даже если бы она была не так безгранично добра и не так бесконечно снисходительна, все-таки одобрила бы выбор юного Говожо. Помнишь, какой благовоспитанной показалась ей эта девчушка довольно давно, в тот день, когда она приходила в заведение Жюпьена, чтобы перешить себе юбку? Тогда это еще был ребенок. А теперь, когда она на возрасте, из нее выросла прекрасная женщина. Твоей бабушке это было ясно с первого взгляда. Она нашла, что юная племянница жилетника благороднее герцога Германтского». И все же моей матери было отрадно сознавать, что бабушка ушла из такого мира. Это было высшим проявлением ее любви к бабушке, стремлением уберечь ее от последнего разочарования. «А все же как ты полагаешь, — спросила моя мать, — мог ли отец Свана, которого ты, впрочем, не знал, подумать, что в жилах его правнука или правнучки будет течь кровь матушки Мозер, которая говорила: «Сдрасдвуй-де, каспата», — и кровь герцога Гиза?» — «Ты даже не представляешь себе, мама, до какой степени это поразительно. Сваны были люди очень приличные; их сын и дочь, с их положением в свете, если бы они сделали хорошую партию, могли бы достичь многого. Но все

мигом рухнуло, потому что он женился на кокотке». — «Ах, кокотка! Ты знаешь, может быть, это слишком зло, я ведь не всему верила». — «Да, кокотка. Как-нибудь в другой раз я вам разоблачу… семейные тайны». — «Дочь женщины, с которой твой отец никогда не позволил бы мне поздороваться, — в глубоком раздумье заговорила моя мать, — выходит замуж за племянника маркизы де Вильпаризи, у которой твой отец вначале не разрешал мне бывать — он считал, что это слишком блестящее для меня общество!» И — после некоторого молчания: «Сын маркизы де Говожо, с которым Легранден долго боялся нас знакомить, — он считал нас недостаточно шикарными, — женится на племяннице человека, который осмелился бы подняться к нам только по черной лестнице!.. Все-таки твоя бедная бабушка была права. Помнишь, она говорила, что аристократия позволяет себе то, что шокировало бы мелких буржуа, и что королева Мария-Амелия скомпрометировала себя авансами, которые она делала любовнице принца Конде, чтобы та убедила его оставить завещание в пользу герцога Омальского? Помнишь, как она была шокирована тем, что на протяжении столетий девушки из рода де Грамон, девушки святой жизни, назывались

Коризандами в память о связи одной из их прародительниц с Генрихом Четвертым? Такие случаи, быть может, происходят и у буржуазии, но их тщательнее скрывают. Тебе не кажется, что это могло бы позабавить твою бедную бабушку? — с грустью продолжала мама. — Нам было больно, что бабушка лишена самых простых житейских удовольствий: услышать новость, посмотреть пьесу, даже какую-нибудь «переделку», лишена всего, что могло бы ее развлечь. Ты думаешь, она была бы изумлена? Я все-таки уверена, что эти браки шокировали бы твою бабушку, ей было бы неприятно о них услышать. Лучше, что она о них не узнала». Что бы ни случилось, маме доставляло удовольствие думать, что на мою бабушку то или иное событие произвело бы совершенно особенное впечатление, которое объяснялось чудесными свойствами ее натуры, и что это имело бы большое значение. Если происходило какое-нибудь печальное событие, которое можно было предвидеть: напасть у нашего старого друга, его разорение, государственная катастрофа, эпидемия, война, революция, моя мать говорила себе, что, может быть, бабушке лучше было ничего этого не видеть, что она пережила бы это слишком тяжело, что, может быть, ока бы этого не

вынесла. Когда случалось что-нибудь подобное, моя мать, в противоположность злым людям, которым доставляет удовольствие вообразить, что те, кого они не любят, выстрадали даже больше, чем можно было предполагать, из любви к бабушке гнала от себя мысль, что с ней могло бы произойти что-нибудь печальное, уничижительное. Она полагала, что бабушка выше всякого зла, утверждала, что, возможно, ей лучше было умереть, что смерть уберегла от страшного зрелища, какое представляет собой нынешнее время, эту в высшей степени благородную натуру, которая бы с ним не смирилась. Оптимизм — это философия прошлого. Происшедшие события причинили зло, которое представляется нам неизбежным, а за крупицы добра, которые они вынуждены были принести с собой, мы отдаем им должное и воображаем, что без этих крупиц события не произошли бы. Она пыталась угадать, что испытала бы моя бабушка, узнав о событиях, и уверяла себя, что наши менее глубокие умы ничего бы не предвидели. «Ты только подумай, как твоя бедная бабушка была бы изумлена!» — сказала мне вначале мама. И я чувствовал, что ей тяжело от того, что она ничего не может сообщить бабушке, что ей жаль, что бабушка так ничего и не узна-

ет, что ей представляется несправедливым, что бабушка уже не может поверить в истинность происшествий, оставаясь с ложным и не полным знанием людей и человеческого общества, ибо бракосочетание девчурки Жюпьен с племянником Леграндена изменили бы понятия бабушки в не меньшей степени, чем если бы моя мать сумела бы довести до ее сведения, что наконец удалось разрешить проблемы, которые бабушка считала неразрешимыми: проблемы воздухоплавания и беспроволочного телеграфа. Но желание мамы поделиться с бабушкой благодетельными открытиями науки вскоре показалось ей еще более эгоистичным.

Женитьба Сен-Лу вызвала оживленные толки в самых разных кругах общества.

Многие подруги моей матери пришли к ней в ее приемный день навести справки, был ли жених моим другом. Некоторые утверждали, что речь идет о другом браке, не касающемся Говожо-Легранденов. Эти сведения были почерпнуты из достоверного источника, потому что маркиза, урожденная Легранден, это отрицала накануне того дня, когда было объявлено о свадьбе. Я задавал себе вопрос: нечему де Шарлю и Сен-Лу, которые могли бы незадолго до свадьбы поста-

вить меня об этом в известность, сообщали мне о планах совместных путешествий, осуществление которых должно было исключить возможность свадебных церемоний, но о свадьбе не обмолвились ни словом? Из этого я заключил, не приняв в расчет, что такие события держат в тайне до самого конца, что я был для них не таким близким другом, в чем я был до сих пор уверен, и, что касается Сен-Лу, это меня огорчало. Но почему меня это удивило? Ведь я же знал, что в аристократической среде любезность по отношению не к «своему брату» — всего-навсего комедия, В этом доме терпимости, где раздобывали по большей части мужчин, где де Шарлю застал Мореля, где «экономка», постоянная читательница «Голуаза», комментировавшая светские новости, беседовала с толстым господином, который часто являлся к ней с молодыми людьми пить шампанское, потому что, будучи уже толстяком, он хотел еще потучнеть, чтобы быть уверенным, что, если начнется война, его «не возьмут», объявила: «Кажется, юный Сен-Лу — «такой», и юный Говожо тоже. Бедные невесты! Во всяком случае, если вы знаете женихов, надо будет прислать их к нам, они найдут здесь все, что им угодно, и заработать на них можно будет немало». На это толстый

господин, отчасти и сам «такой», возразил, что он часто встречался с Говожо и Сен-Лу у его родственников д'Ардонвилье, что они большие охотники до женского пола и что ничего от «этого» в них нет. «Ах!» — скептически произнесла «экономка», но никакими доказательствами она не располагала, она была лишь убеждена в том, что в наш век порча нравов могла бы поспорить с надуманной нелепостью канканов. Кое-кто спрашивал меня в письмах, — в таких выражениях, как если бы речь шла о высоте дамских шляп в театрах или о психологическом романе, — «что я думаю» об этих двух браках. Я не решался отвечать на такие письма. Об этих двух браках я ничего не думал, я только испытывал глубокую грусть, какую испытываешь, когда две части твоего прошлого, на которых ты ежедневно основывал, — может быть, без особого душевного пыла, — какую-нибудь тайную надежду, удаляются от тебя навсегда, как два корабля, с радостным потрескиваньем огней, ради неведомых целей. Что касается заинтересованных лиц, то у них сложилось к их бракам вполне естественное отношение, поскольку речь шла не о других, а о них самих. «Счастливые» браки, основанные на тайном пороке, неизменно вызывали у них насмешку. Даже Говожо,

которые принадлежали к древнему роду, но у которых были самые скромные претензии, первые забыли бы Жюпьена и помнили бы только о необыкновенном величии дома д'Орлон, если бы не исключение, которое представляла собой та, кто всех более должна была бы быть польщена: маркиза де Говожо-Легранден. Злая от природы, она получала удовольствие от унижения своих — лишь бы прославиться самой. Не любя сына, заранее настроившая себя против своей будущей невестки, она объявила, что для представителя рода Говожо сочетаться браком с девицей неизвестного происхождения, с кривыми зубами, — это несчастье. Юного Говожо, которого всегда влекло к литераторам, как, например, к Берготу или даже к Блоку, такой блестящий брачный союз не сделал большим снобом, но, считая себя теперь наследником герцогов Ольрнских, «великих князей», как их называли в газетах, он был настолько убежден в своем величии, что мог себе позволить поддерживать знакомство с кем угодно. И в те дни, которые он посвящал «их высочествам», он пренебрегал мелкой знатью ради умной буржуазии. Заметки в газетах, касавшиеся Сен-Лу, чьи предки королевского рода там перечислялись, придавали особое величие

моему другу, но от этого мне только становилось тяжелее на душе, будто он внезапно переродился, сделался потомком Робера Ле Фор, а не моим другом, который еще так недавно садился в машине рядом с шофером, чтобы мне удобнее было ехать сзади; мне было грустно от того, что я не предугадал его женитьбу на Жильберте, что они представились мне в письме совсем другими, чем накануне, хотя мне следовало принять во внимание, что он человек занятой и что браки часто совершаются именно так, вдруг, вместо брака не состоявшегося. И эта печаль, такая же неотвязная, как при переезде на новую квартиру, горькая, как ревность, которую вызвали во мне своею неожиданностью, своим совпадением эти браки, была так глубока, что впоследствии мне о ней напомнили, глупейшим образом приписав мне, в противовес тому, что происходило со мной тогда, двойное, тройное, четверное предчувствие.

Люди светские, которые прежде не обращали на Жильберту никакого внимания, теперь говорили мне с любопытством: «Ах, так это она выходит замуж за маркиза де Сен-Лу!» — и пристально смотрели на нее, как смотрят люди, которых интересуют не только события парижской жизни, которые стремятся что-то достичь и которые

верят в проницательность своего взгляда. Те же, кто знал только Жильберту, крайне внимательно рассматривали Сен-Лу, просили меня (часто это были люди, почти мне не известные) представить их ему и, познакомившись с женихом, подходили ко мне в восторге. «Он очень хороший человек», — говорили они. Жильберта была убеждена, что имя маркиза де Сен-Лу в тысячу раз громче имени герцога Орлеанского, но так как она прежде всего принадлежала к своему духовному поколению, то ей не хотелось быть глупее других, и она стала говорить *matersemita,* а чтобы произвести впечатление очень умной, добавляла: «Зато для меня это мой *pater».*

«Должно быть, брак юного Говожо устроила принцесса Пармская», — в разговоре со мной заметила мама. И это была истинная правда. Принцесса Пармская давно составила себе представление о Леграндене по его произведениям как о человеке изысканном; знала она и маркизу де Говожо, менявшую тему разговора, когда принцесса спрашивала ее, сестра ли она Леграндена. Принцесса знала, как тяжело переживает маркиза де Говожо то, что она осталась за дверью высшего общества, где никто ее не принимал. Когда принцесса Пармская, взявшая на себя труд

подобрать партию для мадмуазель д'Олорон, спросила де Шарлю, знает ли он милого образованного человека Легранден де Мезеглиз (так называл себя теперь Легранден), барон сначала ответил, что не знает, потом ему вдруг пришел на память путешественник, с которым он однажды ночью познакомился в вагоне и который оставил ему свою визитную карточку. Барон загадочно улыбнулся. «Возможно, это он и был», — подумал барон. Поняв, что речь идет о сыне сестры Легранден, он сказал: «Послушайте, это было бы отлично! Если он похож на своего дядюшку, то это меня не насторожило бы — я всегда говорил, что из них выходят отличные мужья». — «Из кого это — из них?» — спросила принцесса. «Мадам! Я бы вам все объяснил, если бы мы с вами виделись чаще. С вами приятно поговорить. Вы так умны!..» — сказал де Шарлю; ему захотелось пооткровенничать, но дальше этого дело не пошло. Фамилия Говожо ему понравилась; родителей он не жаловал, но ему было известно, что в Бретани это одна из четырех семей баронов, и лучшее, на что он мог надеяться для своей приемной дочери, это — старинное, всеми уважаемое имя, с прочными связями в своей провинции. Принц был бы невозможен, да и нежелателен. А это

было как раз то, что нужно. Принцесса послала за Легранденом. С некоторых пор он изменился внешне, и к лучшему. Некоторые женщины не обращают внимания на свое лицо., следят только за стройностью талии и не выезжают из Мариенбада. Легранден напустил на себя развязность кавалерийского офицера. Де Шарлю толстел и становился все медлительнее, а Легранден становился все более стройным и подвижным — противоположные следствия одной и той же причины. У стремительности Леграндена была еще и причина психологическая. Он имел обыкновение посещать дурные места и не любил, чтобы кто-нибудь видел, как он входит, выходит, — он там исчезал. Когда принцесса Пармская заговорила с ним о Германтах, о Сен-Лу, он сказал, что всех их знает с давних пор, но спутал: Германтов он знал *понаслышке,* а *встречал* у моей тети Свана, отца будущей г-жи де Сен-Лу, ни вдову, ни дочь которого он, кстати сказать, не желал посещать в Комбре. «Я даже недавно путешествовал с братом герцога Германтского, де Шарлю. Он неожиданно завязал со мной беседу, а это добрый знак: это доказывает, что он не чопорный дурак, что он не претенциозен. О, я знаю все, что про него говорят! Но я этому не верю. Кстати, лич-

ная жизнь чужих людей меня не интересует. Он произвел на меня впечатление человека добросердечного, прекрасно воспитанного». Принцесса Пармская заговорила о мадмуазель д'Олорон. Германтов умиляли доброта де Шарлю, то, что он, человек, всегда проявлявший отзывчивость, теперь составляет счастье бедной, прелестной девушки. Герцог Германтский, страдая от того, что у его брата такая репутация, давал понять, что, как бы красиво это ни выглядело, однако это вполне естественно. «Не знаю, правильно ли меня поймут, но тут все естественно», — говорил он как будто бы сбивчиво, но именно эта сбивчивость придавала тому, что он говорил, убедительность. Его целью было доказать, что девушка — дочь его брата, которого он признавал. В то же время благодаря этому становился ясен Жюпьен. Принцесса Пармская поддерживала эту версию, чтобы убедить Леграндена, что юный Говожо женится на ком-то вроде мадмуазель де Нант, которыми не гнушались ни герцог Орлеанский, ни принц Конти.

Эти два брака, которые мы с матерью обсуждали в поезде по дороге в Париж, произвели на героев нашего рассказа довольно сильное впечатление. Наиболее поразительное изменение

наблюдалось у Жильберты, отличное от того, какое произошло в женатом Сване. В первые месяцы Жильберта была счастлива принимать у себя сливки общества. Конечно, только из-за наследства приглашали близких друзей, которыми дорожила ее мать, но приглашали их только в определенные дни и только их одних, не смешивая с людьми из высшего света, точно соединение г-жи де Бонтан или г-жи Котар с принцессой Германтской, как соединение двух порошков, может послужить причиной непоправимого бедствия. Бонтаны, Котары и другие, хотя и были недовольны тем, что ужинают в своем узком кругу, однако гордились тем, что могут сказать: «Мы ужинали у маркизы де Сен-Лу», тем более что иногда удавалось зазвать виконтессу де Марсант, у которой, с ее черепаховым веером с перьями, был действительно вид великосветской дамы, а она была заинтересована в наследстве. Она лишь изредка принималась расхваливать скромных людей, которых замечаешь, только когда подаешь им знак, когда изящнейшим и высокомерным кивком желаешь привлечь внимание таких прекрасных слушателей, как Котар или Бонтан. Может быть, из-за моей бальбекской подружки, может быть, из-за тети, с которой я

любил встречаться в этом кругу, мне хотелось числиться в этом разряде людей. Но Жильберта, для которой я был теперь прежде всего другом ее мужа и Германтов, считала, что эти вечера не достойны того, чтобы я их посещал. «Я была очень рада вас видеть, — когда я уходил, говорила она, — но приходите лучше послезавтра — вы увидите мою тетю Германт, госпожу де Пуа; сегодня были мамины подруги — чтобы доставить ей удовольствие». Но продолжалось это недолго, очень скоро все резко изменилось. Произошло ли это потому, что общественная жизнь Жильберты должна была изобиловать теми же контрастами, что и жизнь Свана? Во всяком случае, Жильберта совсем недавно стала маркизой де Сен-Лу (а немного погодя — герцогиней Германтской), и, достигнув всего самого блестящего и трудного, она полагала, что имя Германт к ней пристало, как темнокоричневая эмаль, что, кого бы она ни посещала, она будет для всех герцогиней Германтской (но это было заблуждение, потому что цена титула, как и цена кошелька, поднимается, когда на него спрос, и опускается, когда его предлагают). Словом, присоединяясь к мнению того опереточного персонажа, который заявлял: «Полагаю, что мое имя избавляет меня от того,

чтобы о нем распространяться», Жильберта начала открыто выказывать презрение к тому, чего она так добивалась, заявляла, что все обитатели Сен-Жерменского предместья — идиоты, у которых невозможно бывать, и, перейдя от слов к делу, перестала к ним ездить. Те, что познакомились с ней в этот период, слышали, как эта герцогиня Германтская остроумно, всласть потешается над герцогами, и наблюдали нечто более показательное: то, что ее поступки не расходились с ее насмешками. Они не допытывались, благодаря какой случайности мадмуазель Сван превратилась в мадмуазель де Форшвиль, мадмуазель де Форшвиль — в маркизу де Сен-Лу, а потом и в герцогиню Германтскую. Быть может, они не задумывались и над тем, что результаты этой случайности в не меньшей степени, чем причины, помогают объяснить дальнейшее поведение Жильберты, почему визиты разночинцев воспринимаются не так, как в то время, когда Жильберту называли еще «мадмуазель Сван», а иначе, когда она стала дамой, которой все говорят: «ваша светлость», опостылевшие же ей герцогини называют ее «кузиной». Люди охотно пренебрегают целью, которой им не удалось достичь, или же целью, которая достигнута. Вско-

ре гостиная новоявленной маркизы де Сен-Лу приняла свой окончательный вид (во всяком случае, с точки зрения светской; мы еще увидим, какие бури будут там свирепствовать). Вид этой гостиной удивлял вот чем. Все еще помнили, что самые торжественные, самые изысканные приемы в Париже, не уступавшие приемам у принцессы Германтской, были приемы у виконтессы де Марсант, матери Сен-Лу. В последнее время гостиная Одетты, не пользовавшаяся такой славой, тем не менее была столь же ослепительна, роскошна и элегантна. Сен-Лу, счастливый тем, что, благодаря большому состоянию жены, у него теперь есть все, чего только можно пожелать для своего благоденствия, думал лишь о том, чтобы спокойно провести вечер после хорошего ужина, на который приходили музыканты услаждать его слух прекрасной музыкой. Этот молодой человек, одно время казавшийся таким гордым, таким честолюбивым, приглашал побыть среди всей этой роскоши своих приятелей, которых не приняла бы его мать. Жильберта претворяла в жизнь слова Свана: «Качество не имеет для меня большого значения — я опасаюсь количества». Сен-Лу, благоговевший перед женой и потому, что он ее любил, и потому, что этой

необычайной роскошью он был обязан ей, ни в чем ей не противоречил, тем более что их вкусы сходились. У них были самые красивые лошади, самая красивая яхта, но хозяева брали с собой только двух гостей. В Париже к ним ежевечерне приходили поужинать трое-четверо друзей, но не больше. Таким образом, в силу непредвиденного и, однако, естественного упадка, каждая из двух огромных материнских вольер была заменена тихим гнездом.

Эти два союза меньше, чем кому-либо еще, доставили удовольствие мадмуазель д'Олорон: заболев брюшным тифом, она в день венчания с трудом добралась до храма и через месяц с лишним скончалась.

Благорасположение де Шарлю после замужества его приемной дочери перешло на юного маркиза де Говожо. Сходство вкусов маркиза и барона, раз оно не помешало де Шарлю одобрить его женитьбу на мадмуазель д'Олорон, естественно, оказало влияние на то, чтобы барон еще больше его оценил после того, как он стал вдовцом. Нельзя сказать, чтобы маркиз был лишен другого свойства, благодаря которому он мог быть другом-приятелем де Шарлю.

Это качество не мешало вводить его в узкий

круг и делало его особенно удобным для игры в вист. Юный маркиз был необыкновенно умен; о нем говорили в Фетерне, где он был еще мальчиком, что он «весь пошел в бабушкину родню»: такой же восторженный, такой же музыкальный. Он воссоздавал некоторые особенности бабушки, но тут уж скорее действовало желание подражать ей, как подражала ей вся ее семья, чем атавизм. Некоторое время спустя после смерти его жены, получив письмо, подписанное именем, которого я не помнил: «Леонор», я понял, от кого письмо, только когда прочел в конце: «С искренней симпатией». Слово «искренней» прибавляло к имени «Леонор» фамилию «Говожо».

Поезд прибыл на парижский вокзал, а мы с матерью все еще продолжали обсуждать две новости. Чтобы я не устал от дороги, мать приберегла их на вторую половину пути и сообщила их мне только после Милана. Мать довольно скоро вернулась к точке зрения, которая в самом деле была для нее единственной, как и для моей бабушки. Мать сперва сказала себе, что бабушка была бы удивлена, потом — что она огорчилась бы, но это означало, что моя мать не могла допустить, что это необыкновенное событие не доставило бы моей бабушке удовольствия, и

потому предпочитала думать, что все к лучшему. Но когда мы приехали домой, мать уже находила слишком эгоистичным сожаление о невозможности заставить бабушку участвовать во всех неожиданных происшествиях, которыми полна жизнь. Ей приятнее было бы предполагать, что для бабушки это не явилось бы неожиданностью, что бабушка все предугадывала. Ей хотелось уловить в происшедших событиях подтверждение дальновидности бабушки, доказательство того, что бабушкин ум был еще более проницательным, ясновидящим, острым, чем мы думали. «Кто знает, не одобрила ли бы твоя бабушка? — сказала мать. — Она была так снисходительна! И потом, знаешь, положение в обществе для нее ничего не значило, для нее это было естественное различие. Ты только вспомни, вспомни, это любопытно: ведь ей же обе понравились. Помнишь ее первый визит к маркизе де Вильпаризи? Она вернулась и сказала, что, по ее мнению, герцог Германтский — человек заурядный, зато как ей понравились Жюпьены! Ну а малышка Сван? Бабушка говорила: «Она очаровательна, и замуж она выйдет удачно, вот увидите». Бедная мама! Если б она могла убедиться, как верно она предсказана! Даже теперь, когда ее нет в живых, она будет давать

нам уроки ясновидения, доброты, трезвой оценки вещей». Нам тяжело было сознавать, что бабушка лишена скромных, простых радостей жизни: выразительной интонации актера, любимого блюда, нового романа любимого писателя. Моя мать говорила: «Как бы это ее удивило, как бы это ее позабавило! Каким прелестным письмом она бы ответила! Как ты думаешь, — продолжала мама, — бедный Сван, которому так хотелось, чтобы Жильберту принимали у Германтов, был ли бы он теперь счастлив, что его дочь стала Германт? Под другой фамилией, не под своей, подведена к алтарю как мадмуазель де Форшвиль? Ты убежден, что он был бы счастлив?» — «Да, верно, мне это не пришло в голову». — «Вот почему я не могу радоваться за эту злючку. Как она могла расстаться с именем отца, который так любил ее?» — «Да, ты права. В конце концов лучше, что он об этом не узнал». — «Никогда не угадаешь, мертв или жив человек, обрадуется он или огорчится». — «Кажется, чета Сен-Лу поселится в Тансонвиле. Отцу Свана так хотелось показать свой пруд твоему бедному дедушке! Мог ли он предположить, что его часто будет видеть герцог Германтский, если б он узнал о позорном браке своего сына? Ты много рассказывал Сен-Лу о тансонвильском

розовом терновнике, о сирени, об ирисах, тебя он лучше поймет. Он будет их владельцем».

Старинные приятельницы моей матери, так или иначе связанные с Комбре, пришли к ней потолковать о свадьбе Жильберты, от которой они были отнюдь не в восторге. «Вы знаете, кто такая мадмуазель де Форшвиль? Это всего-навсего мадмуазель Сван. А свидетель на свадьбе — «барон» де Шарлю, как он себя величает. Это старик, содержавший ее мать на глазах у Свана, которому это было выгодно». — «Да что вы! Прежде всего Сван был очень богат», — возразила моя мать. «По-видимому, не так уж, раз нуждался в чужих деньгах. Но что же, однако, это за женщина, которая так крепко держит своих бывших любовников? Сумела женить на себе первого, потом — третьего и поднимает из могилы второго, чтобы он был свидетелем у своей дочери, которого она родила от первого или еще от какого-нибудь, — тут можно запутаться в счете. Она теперь сама не разберет. Я говорю: третий, а надо бы сказать: трехсотый. То, что она — такая же Форшвиль, как вы и как я, то это сойдет с незнатным мужем. Только авантюрист может сочетаться браком с этой девицей. Как его? Не то Дюпон, не то Дюран. Если бы в Комбре не было сейчас мэра-радикала,

который даже не здоровается со священником, я бы узнала всю подноготную. Понимаете, при оглашении надо было сообщить настоящее имя. Называться маркизом де Сен-Лу — это очень приятно для издателей газет и для того, кто рассылает уведомительные письма. Это никому не досаждает, и если это может доставить удовольствие славным людям, то я не стану им мешать, мне-то что? Я не пойду с визитом к дочери женщины, о которой ходили разные слухи, она может сколько угодно быть маркизой для своих слуг. Но акты гражданского состояния — это уже совсем другое дело. Ах, если бы мой родственник Сазра был еще и теперь товарищем мэра! Я бы ему написала, и он бы мне ответил, на чью фамилию он давал публикацию».

Кстати сказать, я в это время часто виделся с Жильбертой — мы с ней опять подружились. Продолжительность наших привязанностей на протяжении нашей жизни не одинакова. Проходит время, и ты видишь, что между теми же людьми вновь возникают после долгого перерыва (как в политике — бывшие кабинеты министров, как в театре — забытые пьесы) былые дружеские отношения, и завязываются они к обоюдному удовольствию. Через десять лет один

уже не испытывает слишком пылкого чувства, а другой не страдает от слишком требовательного деспотизма, проявлявшегося у первого. Остается только согласие. Все, в чем Жильберта отказала бы мне прежде, теперь она предоставляла мне с легкостью — конечно, потому, что я этого больше не добивался. Раньше многое было для нее невозможно, невыносимо, а теперь, даже не обсуждая со мной, почему в ней произошла такая перемена, она всегда была готова прийти ко мне, никогда не спешила уйти. Дело в том, что исчезло препятствие: моя любовь.

Я собирался немного позднее поехать на несколько дней в Тансонвиль. Принял я это решение, узнав, что Жильберта несчастна, что Робер обманул ее, но не так, как думали все, как, может быть, предполагала она сама, как, во всяком случае, она об этом рассказывала. В ней говорили самолюбие, желание обмануть других, обмануть самое себя, свойственная обманутым уверенность в том, что им известны все формы предательств, — хотя им известны далеко не все, — тем более что Робер, как настоящий племянник де Шарлю, афишировал свою близость с женщинами, которых он компрометировал и которых все, не исключая Жильберты, считали

его любовницами… В свете поговаривали, что он не очень-то церемонится: на вечерах не отходит от какой-нибудь дамы, а потом уводит, предоставляя маркизе де Сен-Лу добираться до дому, как ей заблагорассудится. Того, кто стал бы утверждать, что другая женщина, которую он таким образом компрометировал, на самом деле не его любовница, сочли бы за наивного человека, не видящего дальше своего носа. Но я, к несчастью, был близок к истине, — к истине, причинившей мне острую боль, — благодаря нескольким словам, вырвавшимся у Жюпьена. Как же я был потрясен, когда, за несколько месяцев до отъезда в Тансонвиль, я поехал проведать де Шарлю, *у* которого обнаружилась внушавшая тревогу сердечная болезнь, и, разговаривая с Жюпьеном, которого я застал одного, увидел любовное послание, адресованное Роберу, подписанное *Бобетта* и перехваченное маркизой де Сен-Лу! От прежнего фактотума барона я узнал, что лицо, подписывающееся Бобеттой, есть не кто иной, как скрипач-хроникер, который оставил глубокий след в жизни де Шарлю. Жюпьен говорил мне с возмущением: «Этот мальчишка волен поступать, как ему вздумается, он свободен. Но есть область, которой ему не следовало

касаться, — это область племянника барона. Тем более что барон любит племянника как родного сына. Скрипач пытался развести супругов. Как ему не стыдно! Бросить барона, как бросил его ничтожный музыкантишка, — это, можно сказать, подло, хотя это дело его совести Но перекинуться на племянника! Так не поступают». Жюпьен бал искренен в своем негодовании; у людей, именуемых аморальными, вспышки гнева на почве морали бывают такими же сильными, как и у других людей, слегка меняется только объект. Кроме того, люди, чье сердце не затронуто, эти люди, осуждая нежелательные связи, неудачные браки, — как будто мы свободны в выборе, — не принимают во внимание совершаемого любовью чудесного превращения, благодаря которому существо, в которое ты влюблен, преображается так цельно и так неповторимо, что «глупость», какую делает человек, женясь на кухарке или же на любовнице своего лучшего друга, является, по существу, единственным поэтичным поступком из всех, какие он совершит за всю свою жизнь.

Мне стало ясно, что между Робером и его женой едва не произошло разрыва (хотя даже Жильберта хорошенько не поняла, в чем тут дело), и только виконтесса де Марсант, любящая мать, тще-

славная, философски смотревшая на вещи, все уладила и восстановила мир. Она принадлежала к тем кругам, где беспрерывно учащающееся смешение кровей и обеднение поместий способствуют в области страстей, равно как и в области материальных интересов, процветанию пороков и компромиссов. Она с прежней горячностью защищала г-жу Сван, брак дочери Жюпьена, с прежней энергией устроила брак своего сына с Жильбертой. Может быть, сметанный ею на живую нитку брак Робера с Жильбертой причинил ей меньше горя и стоил ей не таких горьких слез, как заставить его порвать с Рахилью: она боялась, как бы он не связался с другой кокоткой, — а может быть, и с той же, потому что Робер долго не мог забыть Рахиль, — хотя эта новая связь могла стать для него спасением. Теперь я понял, что Робер хотел мне сказать у принцессы Германтской: «Жаль, что у твоей бальбекской подружки нет такого состояния, которое нужно моей матери. Я думаю, мы бы с ней поладили». Он хотел сказать, что она — из Гоморры, а он — из Содома, или, может быть, если он еще и не был из Содома, то ему уже тогда нравились только такие женщины, которые были связаны с другими.

ПОСЛЕСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА

Русский восемнадцатый век завещал девятнадцатому закон не буквальной, не дословной, а художественной точности перевода.

Александр Сумароков сформулировал этот закон в нескольких строках:

…скажу, какой похвален перевод:
Имеет в слоге всяк различие народ.
Что очень хорошо на языке французском,
То может в точности быть скаредно на русском.
Девятнадцатый век этот же закон завещал двадцатому

Пастернак говорил мне:

— Я в своих переводах читателя на саночках прокатил.

Это вовсе не значит, что он облегчал переводимых авторов. Его переводы свободны от ребусов, порождаемых переводом дословным. Читатель должен вживаться, вглядываться и вдумываться в трудности подлинника, но ему ни к чему за-

думываться над трудностями, привносимыми переводчиком, над загадочными картинками, которые неизбежно возникают в переводе буквальном.

Такое воспитание получил как переводчик художественной литературы и я. Мои учителя внушали мне: «Добивайтесь в искусстве перевода предельной точности, но так, чтобы мысли автора при всей своей глубине были ясны, чтобы его образы вырисовывались перед читателем во всей своей отчетливости».

По-видимому, это учение, которое я впоследствии излагал на лекциях и семинарах моим молодым слушателям, пошло мне впрок. Один из виднейших русских прозаиков двадцатого века Борис Константинович Зайцев в статье «Похвала книге» признается, что только после того, как он прочел «Дон Кихота» в моем переводе, образ странствующего рыцаря стал ему понятен, близок и дорог. Михаил Михайлович Бахтин так отозвался о моем переводе «Гаргантюа и Пантагрюеля» Рабле: в своей книге «Творчество Франсуа Рабле»:

«…благодаря изумительному, почти предельно адекватному переводу Н.М. Любимова Рабле заговорил по-русски, заговорил со всею своею не-

повторимой раблезианской фамильярностью и непринужденностью, со всею неисчерпаемостью и глубиной своей смеховой образности».

Вениамин Александрович Каверин в «Вечернем дне» пишет:

«Любимов переводит так, что за книгой видна его личность. Нужно быть немного сродни самому Рабле, чтобы за книгой мы увидели автора, его смех и горечь, его душевный размах, его иронию, его веру в человека».

Но — нет правил без исключений. Приступив к переводу «Беглянки» Пруста, я понял, что ключом, каким я отмыкал другие замки, этот замок не отомкнешь. Дело в том, что это — собственно не роман, а черновик романа, черновик, который автор не успел превратить в полноценное художественное произведение. Торопясь дописать его до конца, он не додумывал своих мыслей, и над ними до сих пор тщетно ломают голову специалисты, не дописывал фраз, не дорисовывал портретов и пейзажей или окутывал их непроницаемым туманом.

Представим себе, что мы с художественной точностью взялись бы за перевод какого-либо романа Достоевского на иностранный язык по черновому варианту. Что бы у нас вышло? Мы

бы сами запутались и запутали бы читателя. И я, скрепя сердце, избрал доселе не хоженный мною путь: в прошлом веке его называли «вольным переводом». Это не значит, что я что-то дописывал за Пруста, что я прибегал к отсебятине. Упаси Бог! Я лишь опускал то, что мне и комментаторам Пруста так и осталось недопонятым, я отсекал засохшие ветви, без листьев и плодов, я не сходил с прямой дороги на тропинки, которые ведут «в никуда», с которых автор, больной, предчувствовавший свой конец, через одну-две фразы второпях сворачивал сам.

Заботясь об интересах читателя, ты заботишься об интересах автора. Это еще один закон искусства художественного перевода. Вот почему я в первый раз за всю свою более чем полувековую переводческую жизнь прибегнул к тому виду перевода, к какому в иных местах, во имя архитектонической стройности, во имя удобозримости и удобопонятности, обращались великие мастера — Жуковский, Гнедич, Лермонтов, Тютчев.

Н. Любимов

О ПЕРЕВОДЧИКЕ НИКОЛАЕ МИХАЙЛОВИЧЕ ЛЮБИМОВЕ

Труднее всего писать о заслугах человека, которого знал лично. Невольно представляешь себе, как покоробила бы его всякая дежурная фальшь или помпа — особенно, если человек этот был так феноменально чуток к слову, как Николай Михайлович Любимов (1912 — 1992).

Я пришел к нему в день, когда он сломал ногу и когда жить ему оставалось всего несколько месяцев. Погрустневший, бледный как полотно, он лежал, вытянувшись в струну и всем обликом своим — и остроносым профилем, и распахом детских наивных глаз, сразу загоравшихся, едва речь заходила о высоком, о литературе, походил на своего любимого Дон Кихота. Это был человек, целиком сотканный из любви, нежной, деятельной, благодарной, — любви ко всевышнему, к православному церковному пению, к мировой культуре, к русскому слову. Он словно светился восторгом перед красотой творчества и творения и как мало кто в нашей скудно-обыденной жизни умел заразить этим восторгом окружающих. И

помочь всем, кто в этом нуждался. Десятки начинающих переводчиков пользовались временем и вниманием этого величайшего мастера, в котором ничего не было от преуспевающего «мэтра», он потому так щедро и раздавал всего себя, что меньше всего думал о себе, ибо весь растворялся в любви и служении — тому, что над ним и над всеми нами.

Его место в современной русской культуре огромно. Как и всякого мастера, сумевшего подняться в своем деле выше всех остальных. А Николаю Михайловичу Любимову принадлежит бесспорное первенство среди тех, кто сумел превратить перевод художественной литературы в высокое и подлинное искусство слова.

Сам Николай Михайлович не раз писал о том, что оригинальный писатель и переводчик работают сходным образом, постоянно пополняя свой речевой запас не только из книг, но и на улице — со вниманием прислушиваясь как к словесной музыке веков, так и к шуму собственного времени. Недаром лучшие переводы и принадлежат, как правило, выдающимся писателям. Особенно это верно применительно к двадцатому веку. Собственно, совершенно выдающееся качество справедливо прославленной «советской перевод-

ческой школы» во многом и определилось тем, что в переводе искали спасения от идеологического надзора многие лучшие прозаики и поэты — Цветаева, Ахматова, Пастернак, Мандельштам, Заболоцкий. Но нет худа без добра: произошли мощные культурные накопления, выросли умельцы высочайшего класса, роль которых в нашей литературе трудно переоценить. Во времена запретов и слежки именно художественный перевод аккумулировал в себе энергию подлинной культуры. Подобное происходило и в другие эпохи, и в других странах. Как переведший Библию Лютер считается лучшим немецким писателем шестнадцатого века, так и в наши дни трудно превзойти вклад в русскую литературу, который сделал Любимов своими переводами Рабле, Боккаччо, Сервантеса, Мольера, Бомарше, Шиллера, Мериме, Стендаля, Флобера, Мопассана, Доде, Костера, Метерлинка, Пруста. Грандиознейший список! Дать равноценную жизнь в русском слове таким мастерам и таким шедеврам мог только большой писатель. Да Любимов и был таковым — писателем уровня Пришвина или Шмелева. В этом легко убедиться, прочитав хотя бы его мемуары — житейские, церковные, театральные, даже «лингвистические», то есть посвященные собира-

тельству им слов и речений, этого необходимого всякому литератору подспорья. Эти мемуары появляются в последнее время в разных журналах («Москва», «Дружба народов») и отдельных изданиях, являя удивительный в наше время пример *благородной* прозы, классически прозрачной и чистой. После Набокова ни у кого из русских авторов не было ни такого зрения писательского, ни такого слуха. Даже забывать стали, какое это чудо — послушный мастеру русский язык.

Вклад Любимова, как это ни может показаться странным вполне сопоставим с вкладом другого выдающегося писателя, его современника, — Солженицына. Вот две ветви, два органических продолжения великой русской классики. Один вобрал в себя весь тираноборческий пафос ее и пророческий дух, другой словно унаследовал все богатства «великого и могучего» русского языка, его вряд ли в каком другом языке возможных экспрессивных достоинств.

Такие вещи однако не наследуют механически, их обретают подвижническим трудом, помноженным на дар и призвание. Не случайно только Солженицын и Любимов из всех современных русских писателей занялись составлением словарей, призванных противостоять катастро-

фическому обмелению некогда полноводного потока русской речи. Экология слова — это, может быть, наиважнейшая часть общей защиты жизни, вмененной в задание истинному писателю сегодня.

В древности труженика пера любили сравнивать с пчелой, неустанно собирающей с книг предшественников словесный нектар. Николай Михайлович и был таким собирателем, такой неутомимой филологической пчелой. Берясь за перевод очередного иноязычного мастера, он первым делом подыскивал ему русский аналог. Его Рабле никогда не возник бы без помощи русских «Заветных сказок», Сервантес — без Гоголя, Бокаччо — без куртуазных повестей восемнадцатого века от Карамзина и Шаликова до Богдановича и Чулкова, Флобер — без Гончарова и Тургенева, Мопассан — без Чехова, Метерлинк — без Сологуба и Блока. Пруст? Пруст — без Бунина, конечно, недаром автор «Жизни Арсеньева» вынужден был оправдываться, что написал свой роман еще до знакомства с лирической эпопеей француза.

При этом переводчик Любимов ничего не «крал», по его слову, у русских авторов — но учился приемам: ладу и строю периода, реплики, фразы, синтаксису, благозвучию, меткости, изя-

ществу, лихости, плавности, озорству.

На эту школу ложилась другая — литературоведческая: в отличие от многих неучей, уверенных, что в литературе всего можно достичь одним «нутром» и потому самонадеянно презирающих «всякую там науку», Николай Михайлович со студенческих лет (а он окончил переводческий факультет института иностранных языков) и до конца жизни сохранил глубокое уважение к культуре, к знанию. И к его носителям — о Грифцове или Томашевском, своих учителях, он неизменно отзывался с таким же уважительным признанием и благородностью, как, например, Ахматова о других, петербургских профессорах — Берковском и Жирмунском. Собственно, перевод и есть практический синтез художества и интерпретации, комментария, точного знания — науки. Обширность познаний Николая Михайловича была такова, что он без труда мог бы защитить диссертацию, случись у него такая прихоть или нужда. Вот пример того, что выдающийся переводчик должен соединить в себе выдающегося писателя и выдающегося ученого. Недаром же принято говорить о «переводческой школе».

Впрочем, единой «советской переводческой

школы» никогда не было. Ибо что общего у Ланна и Кашкина, Франковского и Любимова? Так что таких школ было по меньшей мере две — буквалистская и истинно художественная или органическая, представителем и крупнейшим мастером которой и был Николай Михайлович Любимов.

Разницу легко почувствовать, сличив старый и новый переводы Пруста «Старый» — это вышедшие в тридцатые годы первые четыре тома эпопеи. Первый и третий тома («В сторону Свана», «Германт») вышли в переводах Франковского, третий и четвертый («Под сенью девушек в цвету», «Содом и Гоморра») — столь же известного ленинградского переводчика и теоретика перевода Федорова.

О принципах их работы недавно поведал А.А. Федоров: «Мы считали невозможным упрощать, сглаживать, облегчать стиль Пруста, делать его более «приятным», чем он есть, и, прежде всего, старались нигде не нарушать единства больших по объему и сложных по сочетанию частей, предложений.» Ясно, что в этих признаниях сквозит слегка обиженная полемическая направленность против Любимова, именно поэтому в них — ключ к пониманию расхождений.

Франковский и Федоров (а также Ланн, Лозинский, большинство переводчиков до Кашкина и Любимова) сосредоточены на формально-материальных признаках переводимого текста, им важно перевести так, чтобы дать почувствовать строение чужого языка. В их переводах многое торчит (начать хотя бы с ужасного названия всей эпопеи — «В поисках за утраченным временем») — торчит временами намеренно, ибо они сознательно осуществляют «перевод с иностранного». Понятно что тут дело не в одних переводческих принципах, за таким подходом стоит определенная поэтика, целое литературное мировоззрение. Отсюда — прямой ход к «формальному методу в литературоведении», столь модному во времена молодости Франковского и Федорова, или к будущему структурализму. Отсюда же прямая связь с модными в тридцатые годы «обериутами», ставящами слово торчком, чтобы подчеркнуть его самоценность и материальность, чтобы соскрести с него хрестоматийный глянец, то есть бездумный шаблон. Полезна ли такая работа со словом? Как эксперимент — безусловно. И остроумнейшие находки Хармса, Олейникова или Введенского навсегда останутся в нашей литературе. Но лишь так, как остались в ней

«Плоды раздумий» Козьмы Пруткова, то есть как любопытные маргиналии. Никакому здравомыслящему человеку никогда не придет в голову ставить Хармса или Введенского на одну доску с Ахматовой или Мандельштамом, как никто никогда не равнял творцов Пруткова с Некрасовым или Фетом. Точно так же полезны и поучительны иной раз экспериментально стилизованные, «торчащие» переводы буквалистов — например записки Бенвенуто Челлини, таким образом переведенные Лозинским.

И все-таки магистральная дорога отечественного переводческого искусства иная. И одним из первых вывел нас на нее Николай Михайлович Любимов.

За его методом тоже целая философия — но совершенно иная. Это традиционно русская — разумеется, религиозно окрашенная — философия всеединства, органической связи создателя и создания, при безусловном первенстве животворящего духа. Что толковать о сложном синтаксисе оригинала, если его восприятие французским сознанием заведомо иное? Разве не плодотворнее средствами, присущими именно русской речи и внятными именно русскому сознанию, вызвать в нем те же представления и ощущения, каких

добивается в совершенно иной языковой стихии французский автор? Речь идет не о «сглаживании», но лишь о естественной подгонке чужого к своему, о приспособлении материальных средств к достижению духовной цели. Отсюда тоже прямая связь — но к русским православным святым и Владимиру Соловьеву, к софиологии Сергия Булгакова и интуитивной диалектике Лосева.

Как человек глубоко православный Николай Михайлович Любимов был заворожен чудом этого живого знания всеобщности, всеединства, вырастающего из богодуховенного корня жизни. Вот почему в специальной, казалось бы работе «Перевод — искусство» он вместо ожидаемого трактата предлагает воспоминание о детстве, о моментах вхождения в его душу — на первоначальном сломе мыслей и чувств — пейзажей родины и ее обрядных привычек, русских обыкновений и русского слова. Мало кто в русской литературе с такой проникновенностью поведал об этих удивительных секундах зарождения поэтического чувства в душе ребенка — разве у Толстого найдем подобные страницы, а в нашем веке в той же «Жизни Арсеньева», да еще в «Даре» Набокова. Вот и выходит, по Любимову, что художественный перевод — это не копание

в словарях, не калькуляция, а труд души по приобщению к божественной тайне. «Не позволяй душе лениться!» — этот девиз Заболоцкого объясняет главное в «методе» Любимова — методе его работы, тождественном методу жизни.

Выпишу, кстати, из упомянутой переводческой исповеди Любимова места, относящиеся к Прусту, — чтобы поощрить интерес внимательного читателя к этой великолепной прощальной работе великого мастера.

«У Пруста я столкнулся с новообразованиями не шутливыми или издевательскими, а поэтичными, обладающими звуковой и цветовой изобразительной силой.»

«Описание картины Эльстира из третьей части эпопеи Пруста («У Германтов») далось мне сравнительно легко. Когда же я уяснил себе причину этой относительной легкости, то опять помянул добром мой родной городок и его обитателей. Двери в мир русской поэзии XX века отворил мне мой учитель естествознания. Еще один друг нашего дома указал мне на «Чертухинского балакиря» Сергея Клычкова А маслобойщик и огородник, чей заслонившийся полушубок до того приторно пахнул постным маслом, что, когда я стоял рядом с ним, у меня мгновенно пересыхало нёбо, точно

я объелся сладкого, указал местной интеллигенции на роман Сергеева-Ценского «Обреченные на гибель». В романе подробно описана картина художника Сыромолотова. Роман я перечитываю постоянно. И описание картины Сыромолотова все время звучало во мне, пока я переводил описание картины Эльстира. В сюжетах и в композиции этих картин ничего общего нет. Общее — в ритме, в смене глагольных форм, соответствующей смене мотивов в картинах.»

«В романе Пруста «Под сенью девушек в цвету» художник Эльстир часто мыслит вслух о своем искусстве. При воспроизведении его мыслей я обращался к трудам искусствоведов, главным образом — М.В. Алпатову, к «Давним дням» Нестерова, к воспоминаниями Константина Коровина, к воспоминаниям и статьям Рериха».

«Пруст был человеком всесторонне образованным: когда ему нужно было подобрать сравнение, он часто заглядывал в область математики. Тут выручал доктор физико-математических наук В.А. Успенский.»

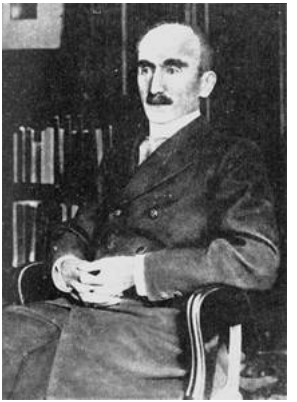
«Иные здания, выстраиваемые Прустом, сочетают в себе грандиозность с изяществом. Одна из целей, к которым я стремился как переводчик Пруста, — сохранить это сочетание.»

Сочетание далековатого, сопряжение миров, равное по выразительности оригиналу. Тут нужна мера, точный воспитанный вкус. Тут нельзя впасть ни в буквализм, ни в «отсебятину» по типу приснопамятного Иринарха Введенского. Тут нужна строгость. «Строгий мастер» — так назвал Любимова Бахтин, восхищенный переводом Рабле. С его, казалось бы, безудержным буйством фантазии. Но половодье чувств всегда вобрано у Любимова в четко очерченные берега. В этом и есть секрет искусства.

Юрий Архипов



Альфред Агостинелли. 1900-е гг. Фотография



Анри Бергсон. 1900-е гг. Фотография



Портрет Робера де Монтескью. Рисунок



Дж.Больдини. Портрет Анны де Ноай